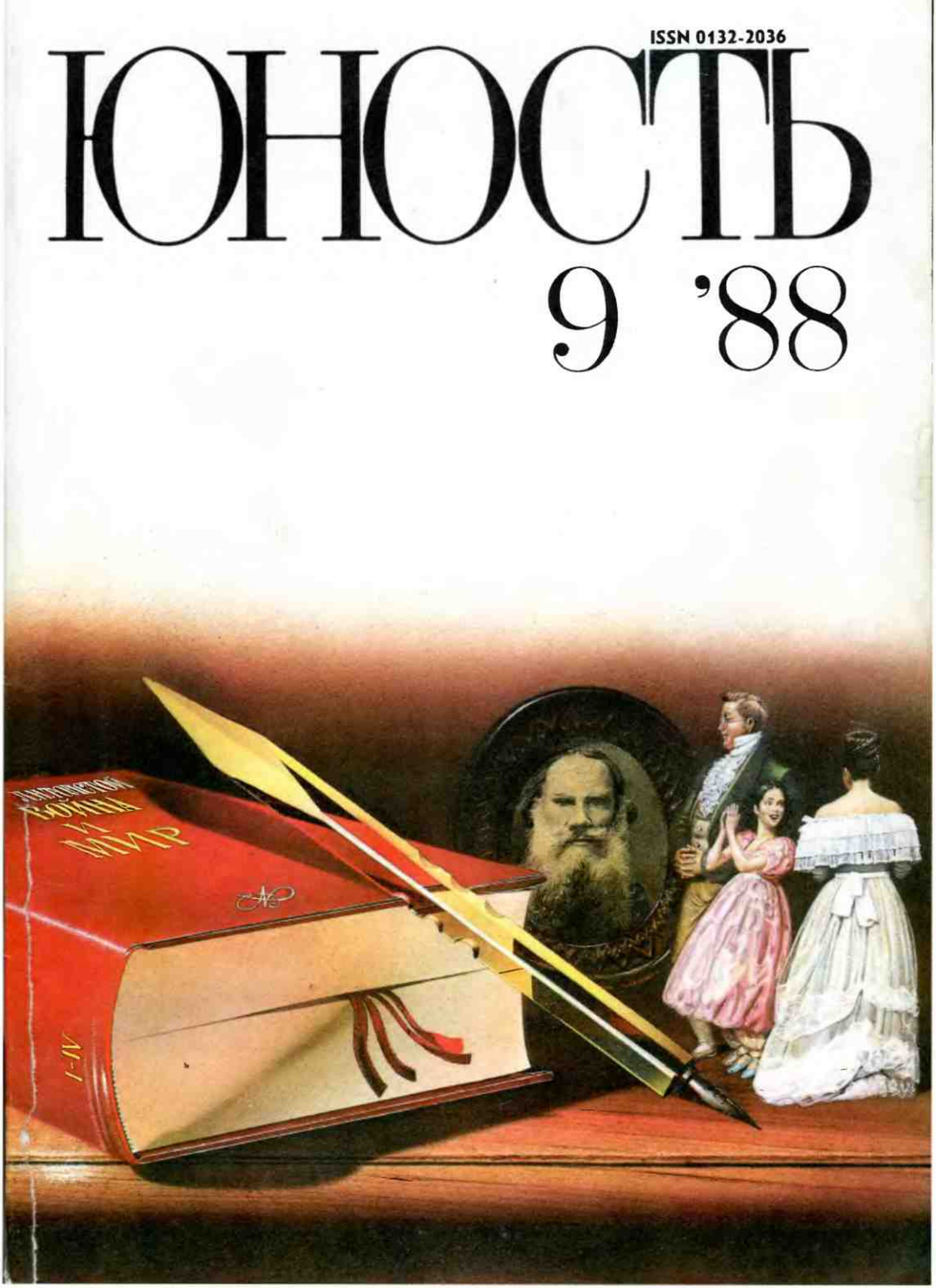
ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

9 '88



Л. Н. ТОЛСТОЙ. 1907 г.
Фото В. Г. Черткова

ЮНОСТЬ

9 (400) '88

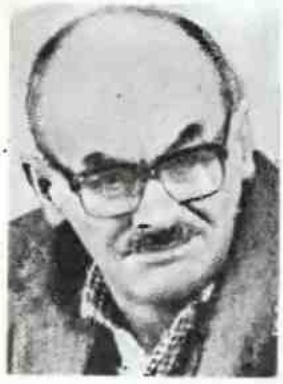
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва



Булат ОКУДЖАВА

Мое поколенье

Ю. Карякину

Всего на одно лишь мгновенье
раскрылись две створки ворот,
и вышло мое поколенье
в свой самый последний поход.

Да, вышло мое поколенье,
усталые сдвоив ряды.
Непросто, наверно, движенье
в преддверии новой беды.

Да, это мое поколенье,
и знамени скромен наряд,
но риск и любовь, и терпенье
на наших погонах горят.

Гудят небеса грозовые,
сливаются слезы и смех...
Все — маршалы, все — рядовые,
и общая участь на всех.

Детство

Я еду Тифлисом в пролетке.
Октябрь стоит золотой.
Осенние нарды и четки
повсюду стучат вразнобой.

Сапожник согнулся над хромом,
лудильщик ударил в котел,
и с уличным гамом и громом
по городу праздник пошел.

Уже за спиной Ортачала.
Кура пролегла стороной.
Мне только лишь три отстучало,
а что еще будет со мной!

Пустячное жизни мгновенье,
едва лишь запомнишь его,
но всюду царит вдохновенье,
и это превыше всего.

В застолье, в любви и коварстве,
от той и до этой стены,
и в воздухе, как в государстве,
все страсти в одну сведены.

Я еду Тифлисом в пролетке
и вижу, как осень кружит,
и локоть родной моей тетки
на белой подушке дрожит.

Проводы у военкомата

Б. Биргеру

Вот оркестр духовой. Звук медовый.
И пронзителен он так, что — ах...
Вот и я, молодой и бедовый,
с черным чубчиком, с болью в глазах.

Машут ручки нелепо и споро,
крики скорбные тянутся вслед,
и безумцем из черного хора
нарисован грядущий сюжет.

Жизнь музыкой бравурной объята —
все о том, что судьба пополам,
и о том, что не будет возврата
ни к любви и ни к прочим делам.

Раскаляются медные трубы —
превращаются в пламя и дым...
Но в улыбке растянутся губы,
чтоб запомнился я молодым.

☆☆☆

На Сретенке ночной надежды голос слышен.
Он слаб и одинок, но сладок и возвышен.
Уже который раз он разрывает тьму...
И хочется верить ему.

Когда пройдет нужда за жизнь свою бояться,
тогда мои друзья с прогулки возвратятся,
и расцветет Москва от погребов до крыш...
Тогда опустеет Париж.

А если все не так, а все как прежде будет,
пусть бог меня простит, пусть сын меня осудит,
что зря я распахнул напрасные крыла...
Что ж делать? Надежда была.

☆☆☆

Как наш двор ни обижали — он в классической поре.
С ним теперь уже не справиться, хоть он и безоружен.
Там Володя во дворе,
его струны в серебре,
его пальцы золотые, голос его нужен.

Как с гитарой ни боролись — распалялся струнный звон.
Как вино стихов ни портили — все крепче становилось.
Кто сначала вышел вон,
кто потом украл вагон —
все теперь перемешалось, все объединилось.

Может, нынче кто и снова хрипоте его не рад,
может, кто намеревается подлить в стихи елея...
Ведь и песни не горят,
они в воздухе парят,
чем им делают больнее — тем они сильнее.

Что ж печалиться напрасно: нынче слезы лей-не лей,
но запомним хорошенечко и повод, и причину...
Мы воспели королей
от Таганки до Филей,
пусть они теперь поэту воздают по чину.

☆☆☆

Все влюбленные склонны к побегу
по ковровой дорожке, по снегу,
по камням, по волнам, по шоссе,
на такси, на одном колесе,
босиком, в кандалах, в башмаках
с красной розою в слабых руках.

Романс

Стали чаще и чаще являться ко мне
с видом пасмурным и обреченным
одна дама на белом, на белом коне,
а другая на черном, на черном.

И у той, что на белом, такие глаза,
будто белому свету не рады,
будто жизни осталось на четверть часа,
а потом — всё утраты, утраты.

И у той, что на черном, такие глаза,
будто это — вместилище муки,
будто жизни осталось на четверть часа,
а потом — всё разлуки, разлуки.

Ах, когда б вы ко мне заглянули в глаза,
ах, когда б вы в мои поглядели,—
будто жизни осталось на четверть часа,
а потом — всё потери, потери.

☆☆☆

Поэтов травили, ловили
на слове, им сети плели;
куражась, корнали им крылья,
бывало, и к стенке вели.

Наверное, от сотворенья,
от самой седой старины
они, как козлы отпущенья,
в скрижалях земных учтены.

В почете, и все ж на учете.
И признаны, но до поры...
Вот вы с ними рядом живете,
а были вы с ними добры?

В трагическом их государстве
случалось и празднествам быть,
и все же бунтарство с мытарством
попробуй от них отделить.

Им разные тракты клубили,
и все ж в переделке любой
глядели они голубыми
за свой горизонт голубой.

И слова рожденного сладость
была им превыше, чем злость.
А празднества — это лишь слабость
минутная. Так повелось.

Я вовсе их не прославляю.
Я радуюсь, что они есть.
О, как им смешны, представляю,
посмертные тосты в их честь!

☆☆☆

По какой реке твой корабль плывет
до последних дней из последних сил?
Когда главный час мою жизнь прервет,
вы же спросите: для чего я жил?

Буду я стоять перед тем судом —
голова в огне, и душа в дыму.
Моя родина — мой последний дом,
все твои грехи на себя приму.

Средь стерни и роз, среди войн и слез
все твои грехи на себе я нес.
Может, жизнь моя и была смешна,
но кому-нибудь и она нужна.

☆☆☆

Ф. Искандеру

Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет.
Что назначено судьбою — обязательно случится:
то ли самое прекрасное в окошко постучится,
то ли самое напрасное в объятья упадет.

Ах, не делайте запасов из любви и доброты,
и про черный день грядущий не копите милосердье:
пропадет ни за понюшку ваше горькое усердье,
лягут ранние морщины от напрасной суеты.

Жаль, что молодость мелькнула,
жаль, что старость коротка.
Все теперь как на ладони: лоб в поту, душа в ушибах...
Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок —
только ровная дорога до последнего звонка.

* * *

А. Володину

Что-то знает Шура Лифшиц:
понапрасну слез не льет.
В петербургский смог зарывшись,
зерна истины клюет.

Так, устроившись удобно
среди каменных громад,
впитывает он подробно
этих зерен аромат.

Он вонзает ноги прочно
в почвы лета и зимы,
потому что знает точно
то, о чем тоскуем мы.

Жар души не иссякает.
Расслабляться не пора...
Слышно: времечко стекает
с кончика его пера.

☆☆☆

Шарманка старая крутилась,
катилось жизни колесо.
Я пил вино за вашу милость
и за минувшее за всё.

За то, что в прошлом не случилось
на бранном поле помереть,
а что разбилось, то разбилось,
зачем осколками звенеть?

Шарманщик был в пальто потертом,
он где-то в музыке витал.
Моим ладоням, к вам простертым,
значенья он не придавал.

Я вас любил, но клялся прошлым,
а он шарманку обнимал,
моим словам, земным и пошлым,
с тоской рассеянной внимал.

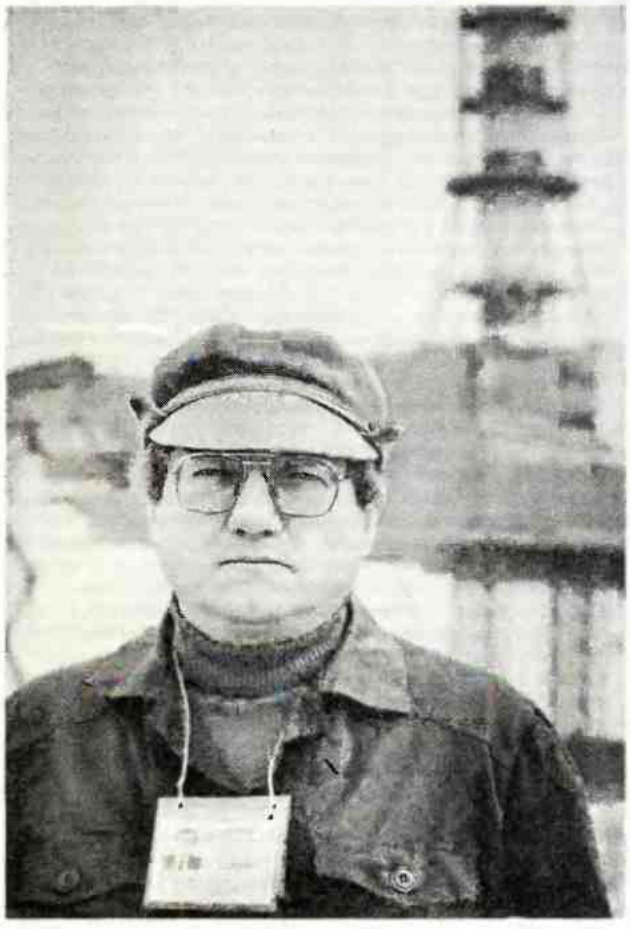
Текла та песня, как дорога,
последних лет не торопя.
Все звуки были в ней от бога —
ни жалкой нотки от себя.

Но падали слова убого,
живую музыку губя:
там было лишь одно от бога,
все остальные — от себя.

суббота, 26 апреля 1986 г. 01 час. 23 мин. 48 сек.

«...стали говорить про то, какой будет скоро матерьяльный прогресс, как — электричество и т. п. И мне жалко их стало, и я им стал говорить, что я жду и мечтаю, и не только мечтаю, но и стараюсь о другом единственно важном прогрессе — не электричества и летанья по воздуху, а о прогрессе братства, единения, любви...»

Л. Н. Толстой, «Дневник», 25 апреля 1895 г.



Юрий ЩЕРБАК

ЧЕРНОБЫЛЬ

Документальная повесть

КНИГА ВТОРАЯ

25 апреля 1987 года. Холодный, хмурый день, низкие тучи залегли над Чернобыльской АЭС. Через несколько часов исполнится год со времени аварии, вошедшей в историю XX века. Мы стоим в десяти метрах от того места, где год назад прозвучали взрывы, разрушившие ядерный реактор. Наша слепая вера «в науку», «в технику» рухнула здесь вместе с бетонными перекрытиями четвертого блока.

Отсюда, с огромной высоты (находимся на 65-й отметке), открывается вид на окрестные поля, еще не тронутые весенней зеленью (в 1986 году здесь все было уже зелено), на безжизненные белые дома Припяти, окруженные колючей проволокой. Стоим невдалеке от того места, откуда берет свое начало бело-красная полосатая труба — вертикаль, прочерченная между третьим и четвертым блоками ЧАЭС, тревожный ориентир для вертолетчиков, летавших сюда весной 1986 года на «бомбежку» реактора песком и свинцом. Рядом с открытой дверью, ведущей на крышу саркофага, виднеются в стене отверстия. Теперь они заделаны свинцом. Словно амбразуры дзота, уже не нужные для стрельбы. Еще несколько месяцев тому назад эти амбразуры были очень нужны: отсюда можно было взглянуть в развал четвертого блока, произвести торопливые замеры. На все это отводились считанные секунды. Сегодня можно выходить на крышу саркофага, работать. И, хотя и сейчас небольшой красный дозиметр в моей руке неумолчно пищит, мой спутник, киевский физик Юрий Николаевич Козырев, только иронически улыбается, произнося небрежно: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». Потому что сегодняшний уровень — детский лепет по сравнению с тем, что здесь было еще осенью 1986 года. Козырев шутит, предлагает выдать мне справку, удостоверяющую, что я — первый в мире писатель, достигший столь знаменательной точки Чернобыльской АЭС. Он спрашивает: не желаю ли я пройтись по крыше саркофага? Но я вспоминаю, как Фил Донахью, ведущий телемоста СССР — США, вежливо отказался от прогулки по АЭС, сославшись на обещание, данное жене. Я тоже обещал. Но все же не удержался, выглянул наружу из дверей. Страшно стало от высоты и радиации...

В первой книге «Чернобыль», опубликованной в 6-м и 7-м номерах «Юности» за 1987 год, я интуитивно нащупывал наиболее приемлемую и точную форму повествования: в свидетельствах людей реальных, невыдуманных, в их рассказах — взволнованных, субъективных, быть может, не всегда скрупулезно точных, порою противоречивых, не всегда рационально взвешенных, но всегда искренних — увидел я живой источник народной правды — неприглаженной, не прошедшей через фильтры казенного оптимизма. Отдавая повесть в печать, я верил, что читатели поймут и поддержат меня в этих поисках истины.

И действительно, сразу же после опубликования первой книги в редакцию стали поступать письма. Много писем.

Но начну с самого нетипичного, единственного в своем роде, резко отличающегося и по тону, и по содержанию от всего, что пришлось потом прочитать. Начну с опровержения, поспешившего из Киева, едва я начал печатать свой «Чернобыль». Автор его — тогдашний заместитель Председателя Совета Министров УССР Н. Николаев (осенью 1987 г. он был освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию). В чем он только не обвиняет меня: и в чрезмерном тщеславии, и в стремлении к сомнительной популярности...

Приведу лишь две цитаты:

«Автор повести возмущается тем, что с момента аварии никто не кричал об угрожающей здоровью людей радиации. Верно, такого крика не было. Не было потому, что радиационная обстановка в городе 26 апреля не представляла, по заключению специалистов, такой угрозы, а чрезмерные эмоции в оценке ситуации могли привести лишь к панике».

«Столь же бездоказательны, но тенденциозны и некоторые другие приводимые в повести заявления. Ни Ю. Щербак, ни авторы цитируемого им письма не называют фамилий тех «высоких руководителей», которые якобы отправили своих детей в крымские санатории уже 1 мая. Такое

«свидетельство» нельзя оценить иначе, как попытку опорочить в глазах общественности руководителей республиканских и местных органов. Спрашивается: зачем? Кому на руку такие огульные обвинения?»

Процитирую теперь другое письмо — от бывшей жительницы Припяти Розы Тимофеевны Поповой:

«У меня к вам большая просьба: помогите найти т. Добренко из вашей повести «Чернобыль». На стр. 61 («Юность» № 6 за 1987 г.) он говорит о том, что им пришлось захоронить человека из морга. Мне очень необходимо узнать подробности, т. к. наш отец тоже умер в ночь с 26 на 27 апреля и мы до сих пор точно не знаем, где он захоронен».

Попова рассказывает, что ее отец был тяжело болен, и в ту ночь, пока она составляла в своем жэке списки для эвакуации, отца не стало. Вывезти тело ей не удалось — не нашлось машины, оставила его в морге. В начале мая в Киев съехались из других городов ее братья и сестры, но разрешения на въезд в Припять они не получили, передоверили захоронение отца местным властям, которые обязались уведомить, где и когда состоялись похороны. Шло время, однако им никто и ничего не сообщал...

«Приехав из длительной командировки, я вынуждена была обратиться в облисполком, они дали задание ОВД. Из ОВД ответили, что, со слов работников жку, отец захоронен на Чистогаловском кладбище 1 мая. Припятский исполком ответил, что на Припятском кладбище 6 июня. Так вот меня интересует: где была в то время та четкая организация на высоком уровне, о которой так часто приходится слышать?»

Может быть, т. Николаев сможет ответить на этот вопрос?

Предчувствия и предупреждения

«Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.

Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки».

(Откровения св. Иоанна Богослова, 10, 11)

Тексту этому, именуемому Апокалипсисом, почти две тысячи лет. Из каких глубин человеческой тревоги и смятения явился он, откуда эта темная поэтическая сила слов, несущих грозные и неясные предзнаменования? Уже через несколько дней после аварии пошел гулять по киевской земле слух о некоей таинственной связи между Апокалипсисом, его полынной, чернобыльной символикой * и разрушением четвертого энергоблока, между небесной метафизикой черных ангелов и ядерной физикой — творением умов и рук людских.

Как сама церковь, потрясенная чернобыльской бедой, относится к данному предсказанию? С этим вопросом пришел я в мае 1986 г. в особняк на улице Пушкинской в Киеве — в резиденцию главы украинского экзархата, митрополита Киевского и Галицкого Филарета. На стенах зала приемов — картины Васнецова, Айвазовского, Нестерова. Горит лампада. Из боковых дверей выходит седобородый человек в черной монашеской рясе, приглашает в свой служебный кабинет. Это митрополит Филарет. В кабинете — массивный письменный стол, кресло, над столом — портрет патриарха Пимена. Две большие иконы в серебряных окладах, на столике под иконами — телефон и часы с зеленым свечением электронного табло.

— Ваше Высокопреосвященство, как Вы относитесь к утверждениям о том, что в Откровениях святого Иоанна Богослова имеется будто бы прямое указание на аварию Чернобыльской АЭС как на возможный конец света?

— Человеку не дано знать сроков, предначертанных в Апокалипсисе. Христос сказал так: о дне и часе этого не знает ни сын человеческий, ни ангелы, только Отец, то есть Бог. Апокалипсис применим к разным временам, и в течение двух тысяч лет было достаточно ситуаций, совпадающих с Откровениями Иоанна Богослова. И тогда люди говорили: «Вот уже пришло это время». Но мы видим, что кончается второе тысячелетие, а это время не наступило. Мало того, что человеку не дано этого знать. От самого человека зависит, приблизить или удалить это время. Сейчас мы являемся свидетелями того, что человечество имеет силу, могущую уничтожить самое себя. Есть атомное оружие, причем в таком количестве, что можно взорвать нашу Землю. Но добрая человеческая воля может ядерное оружие уничтожить. Все зависит от морального состояния человечества в целом. Если человечество в нравственном отношении будет находиться на должном уровне, то оно не только не применит ядерное оружие, но и уничтожит его, и таким образом то, что написано в Апокалипсисе,— время это — будет отодвинуто на неопределенное расстояние. Бог не хочет, чтобы человек погиб, чтобы он себя уничтожил.

Вскоре по приглашению митрополита Филарета я пришел во Владимирский собор, где состоялось богослужение за упокой души тех, кто отдал свои жизни в Чернобыле, во здравие тех, кто вышел на ликвидацию аварии. Торжественны были росписи собора; золотом сияли розовые, желтые и оранжевые ризы священнослужителей; скорбно и прочувствованно звучали голоса певчих; пожилые женщины в платочках истово крестились, внимая словам митрополита.

А через год я познакомился в Чернобыле с человеком, носившим в душе своей собственный Апокалипсис. В отличие от туманно-абстрактных Откровений Иоанна Богослова, его предвидение было предельно конкретно...

Александр Григорьевич Красин, инженер, мастер цеха Чернобыльской АЭС:

«Я сам дважды слышал, как академик Анатолий Петрович Александров говорил: «Атомные реакторы системы РБМК абсолютно безопасны. Никаких больших аварий здесь быть не может. Это просто исключено. Сама конструкция, технология эту аварию исключают». Ну, и мы были под каким-то гипнозом. Мол, у нас ничего быть и не может. Ну, порвет трубопровод. Ну и что? Закрыли, заварили. Задвижка где-то выйдет из строя — заменим. Клапан оборвет — ну и черт с ним! Проблем никаких нет. Производство есть производство. Все так думали. И я тоже.

Но мне снятся иногда вещие сны, которые потом сбываются. И в июле 1984 года я увидел совершенно потрясающий сон: видится мне, что я нахожусь у себя в комнате в Припяти и как бы вижу оттуда станцию, хотя из этого окна я видеть станцию не мог, она развернута в другом направлении. И вижу, как взрывается четвертый блок, как разлетается верхняя часть четвертого реактора. Летят плиты в разные стороны. И я своим домочадцам во сне даю команду: все вниз, потому что может и до нас достать, словно летит к нам ударная волна.

— А почему вы знали, что это именно четвертый блок?

— Да как же не знать... Увидел реально станцию, трубу, ажурные ее крепления, третий блок. А с четвертого блока плиты летят... Хотел пойти даже к руководителям станции и рассказать им: я «видел» то-то и то-то. Но представил встречу с директором станции. Приходит к нему серьезный человек — я тогда руководил базой оборудования на станции, у нас на базе было на 200—300 миллионов рублей оборудования,— коммунист, и говорит: «Я вот видел сон, станция взорвется».

И представил, как Виктор Петрович Брюханов скажет: «Ладно, мы подумаем». Я уйду, а он нажмет на кнопку: «Тут приходил один больной, вы его возьмите на контроль». Думаю — хорошо. Пойду к главному инженеру, Николаю Максимовичу Фомину. Моя дочь и его дочь учились в одном классе. Мы с ним как бы одноклассники. Ну, думаю, скажу ему: «Николай Максимович, такие-то дела. Взрыв скоро будет». А он — я считаю — руководитель даже в большей степени, чем Виктор Петрович Брюханов. Брюханов — человек добрый, у него душа мягкая, ему при коммунизме только работать, когда высочайшая сознательность будет. С ангелами. А Николай Максимович — тот мог и потребовать и, если понадобится, мог, как говорится, и кобеля спустить. И человек достаточно грамотный. Я представил, как он на меня посмотрит... И не пошел.

Все свои соображения по этому поводу я теперь послал в Москву. Я считаю, что необходимо создать комиссию, которая бы посмотрела на Чернобыль в историческом и психологическом плане. Старушки в наших краях жили, они говорили: «Идет время, когда БУДЕТ ЗЕЛЕНО, НО НЕ БУДЕТ ВЕСЕЛО». Я, когда вдумываюсь в эту информацию, потрясаюсь ее краткости. Зелено, но не весело. Вы представляете? Теперь из другого села информация, от других стариков: «Придет время, когда будет все, но не будет никого». И когда я летом и осенью 1986 года ходил по

---

* чернобыль — полынь обыкновенная (укр.).

Чернобылю, когда все было — вы знаете это — и дома стояли, и сады, думал: это самая краткая информация, короче быть не может. БУДЕТ ВСЕ, НО НЕ БУДЕТ НИКОГО.

Мы, современные люди, исписали на тему чернобыльской аварии сотни тонн бумаги, информация по ЧАЭС занимает первое место в мире в 1986 году, это признали все, а тут вся информация вмещается в нескольких словах. Начало аварии: «Зелено, но не весело». Второй этап: «Все есть, и никого нет».

Говорят, когда татары сожгли Киев, они направились вверх по Днепру. Хотели взять какой-то северный город. Ну, и вроде у хана Батыя была гадалка, ее звали «Черная ворона». И она сказала: «На север не ходи. Пойдешь — погубишь войско». Он не послушал, пошел. И они дошли до Чернобыля, взяли Чернобыль и пошли дальше, вдоль Припяти. Так вот, будто бы в наших местах, где сейчас находится атомная станция, были тогда болота. И их конница стала в болотах тонуть. И вот в народе с тех пор, из поколения в поколение, передается легенда: мол, эти места, где у нас Копачи, Нагорцы, там были болота, и их когда-то называли «Кричалй». Потому что степняки страшно кричали, когда их конница тонула. А наши предки, древляне, которые отступили, спрятались в этих лесах и болотах, слышали эти крики...

Мне кажется, надо поглубже покопаться в исторических источниках, летописях, легенды посмотреть. Может, действительно есть такие места, которые к беде ведут? Может, существуют какие-то, еще неизвестные нам, магнитные, силовые линии? Наверно, и это надо учитывать, когда строят такую махину, как атомная электростанция. Ведь когда в старину храмы строили — были такие люди, которые обладали божьим даром и выбирали место такое, где все чувствовали себя наиболее благоприятно.

Поэтому я и предлагаю — создать специальную комиссию, включить в нее историков, врачей, психологов, специалистов по парапсихологии, по неясным явлениям. Могут быть и другие ученые. Явление существует, его надо изучать».

Мы можем сколько угодно смеяться над вещими снами и предсказаниями, объявлять их чушью собачьей, мистикой, чем угодно. Представим себе, что в XVI веке был бы показан действующий телевизор: как бы к нему отнеслись тогдашние серьезные ученые, церковники, политики? Поэтому не будем спешить с отрицанием. Быть может, только лет через сто ученые расшифруют природу биополя и тех непонятных сигналов, что зарождаются в нашем подсознании, докажут их вполне материальное, квантовое или иное, происхождение — и тогда приводимые здесь свидетельства станут еще одним доказательством существования Прорыва-в-Будущее, о чем толкуют сегодня фантасты.

А может, ничего не докажут, и природа неясных предчувствий так и останется неразгаданной.

Но ведь, кроме подобных сигналов приближающейся грозы, были предсказания, к которым просто ОБЯЗАНЫ были прислушаться те, кто отвечал за атомную энергетику. Были люди, которые трезво и рационально предсказывали приход ядерного Апокалипсиса. И не где-нибудь, а именно на Чернобыльской АЭС.

Из письма **Валентина Александровича Жильцова,** начальника лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций:

«В 1984 г. работавший тогда на ЧАЭС т. Поляков В. Г. (старший инженер управления реактором — СИУР) направил непосредственно академику А. П. Александрову письмо со своими соображениями по поводу улучшения отдельных конструктивных решений по системам контроля и управления реактором, на которое он получил просто отписку. Уже после аварии он обратился в ЦК КПСС, Совет Министров и Госатомэнергонадзор. Все, о чем предостерегал т. Поляков (а независимо от него и многие другие, еще на стадиях разработки проекта, экспертизы), случилось на Чернобыльской АЭС.

Вот какая цена была заплачена за пренебрежительно-барское отношение ко всему тому, что исходило из других ведомств. Здесь со всей очевидностью проявилась порочная система, когда неапробированные и недостаточно обоснованные расчетами и экспериментами решения без широкой и компетентной экспертизы сразу внедрялись и широко тиражировались».

Таковы реалии эпохи бюрократического благоденствия: отнюдь не мистические предчувствия, а самые что ни на есть реальные технические предсказания и опасения захораниваются в ведомственных дебрях, оплетаются паутиной безмолвия и равнодушия к судьбам сотен тысяч людей, которых может затронуть МГА — максимально гипотетическая авария (есть такой термин у технарей). «Откуда она явилась, эта «Звезда Полынь»,— из ночей библейских или уже из ночей грядущих? — с горечью спрашивает Олесь Гончар.— Почему избрала именно нас, что хотела так странно и страшно сказать этому веку, от чего хотела всех нас предостеречь?»

И отвечает: «Современная наука при ее фантастическом, не всегда контролируемом и, может, не до конца познанном могуществе не должна быть слишком самонадеянной, не должна пренебрегать мнением общественности... Узковедомственные интересы сплошь и рядом мы ставим выше интересов общества, мнения населения насчет целесообразности ведомственных новостроек никто и никогда не спрашивает, узколобый, обуреваемый гигантоманией чиновник талдычит, что «наука требует жертв».

Из дневника Ускова

Крупный парень с мужественными чертами лица, с застенчивой, почти детской улыбкой, Аркадий Усков воплощает лучшие черты, свойственные его землякам, поморам-северянам: основательность и несгибаемость характера, правдивость и самостоятельность суждений. В момент аварии ему был 31 год, он работал старшим инженером по эксплуатации реакторного цеха № 1 (РЦ-1) на первом блоке ЧАЭС.

Усков создал документ большой силы — дневник, в котором подробно поведал обо всем, что довелось ему испытать во время и после аварии. Надеюсь, что публикация в «Юности» отрывков из этого дневника привлечет к нему внимание издателей.

«Припять, 26 апреля 1986 г., 3 ч. 55 мин., ул. Ленина, 32/13, кв. 76. Разбудил телефонный звонок. Дождался следующего сигнала. Нет, не приснилось. Прошлепал к телефону. В трубке голос Вячеслава Орлова, моего начальника,— зам. начальника реакторного цеха № 1 по эксплуатации.

— Аркадий, здравствуй. Передаю тебе команду Чугунова: всем командирам срочно прибыть на станцию в свой цех.

Тревожно стало на душе.

— Вячеслав Алексеевич, что случилось? Чтб-нибудь серьезное?

— Сам толком ничего не знаю, передали, что авария. Где, как, почему — не знаю. Я сейчас бегу в гараж за машиной, а в 4.30 встретимся у «Радуги».

— Понял, одеваюсь.

Положил телефонную трубку, вернулся в спальню. Сна как не бывало. Бросилась в голову мысль: «Марина (жена) сейчас на станции. Ждут останова четвертого блока для проведения эксперимента».

Быстро оделся, на ходу сжевал кусок булки с маслом. Выскочил на улицу. Навстречу парный милицейский патруль с **противогазами** (!!!) через плечо. Сел в машину подъехавшего Орлова, выехали на проспект Ленина. Слева от медсанчасти на путепровод на бешеной скорости вырвались две «Скорые помощи» под синими мигалками, быстро ушли вперед.

На перекрестке дороги ЧАЭС — Чернобыль — милиция с рацией. Запрос о наших персонах, и снова «Москвич» Орлова набирает скорость. Вырвались из леса, с дороги хорошо просматриваются все блоки. Смотрим в оба и... глазам своим не верим. Там, где должен быть центральный зал четвертого блока (ЦЗ-4),— там черный провал... Ужас...

4 ч. 50 мин. АБК-1. Подъехали...

Почти бегом рванулся в санпропускник. Быстро переоделся в белое — на переходе увидел Сашу Чумакова, напарника Марины. Он тут же сообщил, что Марина переодевается.

Камень с души упал...

Звонок от начальника реакторного цеха № 1 Чугунова. Замечательный человек. Чугунов только что с 4-го блока. Дела, похоже, дрянь. Везде высокий фон. Есть провалы, много развалин.

Чугунов и заместитель главного инженера по эксплуатации первой очереди (то есть 1-го и 2-го блоков) Анатолий Андреевич Ситников вдвоем пытались открыть отсечную арматуру системы охлаждения реактора. Вдвоем не смогли ее «сорвать». Туго затянуто.

Требуются здоровые, крепкие парни. А на блочном щите № 4 надежных нет. Блочники уже выдыхаются. Честно говоря, страшновато. Вскрываем аварийный комплект «средств индивидуальной защиты». Пью флакон йодистого

калия, запиваю водой. Тьфу, какая гадость! Но надо. Орлову хорошо — он йодистый калий принял в виде таблетки. Молча одеваемся. Надеваем бахилы из пластика на ноги, двойные перчатки, «лепестки». Выкладываем из карманов документы, сигареты. Как будто идем в разведку. Взяли шахтерский фонарь. Проверили свет. «Лепестки» надеты, завязаны. Каски на головах.

6 ч. 15 мин., ЧАЭС, коридор 301. Вышли вчетвером (я шел помогать своим товарищам, попавшим в беду, вместе с Владимиром Чугуновым, Вячеславом Орловым и Александром Нехаевым) в коридор нашего цеха, двинулись в сторону 4-го блока. Я чуть сзади. На плече «кормилец» — специальная арматура для увеличения рычага при открытии задвижки.

Перешли на территорию 3-го и 4-го блоков, взглянули на щит контроля радиационной безопасности. Начальник смены Самойленко у входа. Спросил у него про индивидуальные дозиметры.

— Какие дозиметры?! Ты знаешь, какой фон?..

Перед самым БЩУ-4 осел подвесной потолок, сверху льет вода. Все пригнулись — прошли. Дверь на БЩУ-4 (блочный щит № 4) — настежь. Зашли. За столом начальника смены блока сидит А. А. Ситников. Рядом НСБ-4 Саша Акимов. На столе разложены технологические схемы. Ситников, видно, плохо себя чувствует. Уронил голову на стол. Посидел немного, спрашивает Чугунова:

— Ты как?

— Да ничего.

— А у меня опять тошнота подступает (Ситников с Чугуновым находились на блоке с двух часов ночи!).

Смотрим на приборы пульта СИУРа. Ничего не понять. Пульт СИУРа мертв, все приборы молчат. Вызывное устройство не работает. Рядом — СИУР Леня Топтунов. Худощавый молодой парень в очках. Растерян, подавлен. Стоит молча.

Постоянно звонит телефон. Группа командиров решает, куда подавать воду.

7 ч. 15 мин. Двинулись двумя группами. Акимов, Топтунов, Нехаев будут открывать один регулятор. Орлов и я, как здоровяки, станут на другой. Ведет нас до места работы Саша Акимов. Поднялись по лестнице до отметки 27. Заскочили в коридор, нырнули налево. Где-то впереди ухает пар. Откуда? Ничего не видно. На всех один шахтерский фонарь. Саша Акимов довел нас с Орловым до места, показал регулятор. Вернулся к своей группе. Ему фонарь нужней. В десяти метрах от нас развороченный проем без дверей, света нам хватает: уже светало. На полу полно воды, сверху хлещет вода. Очень неуютное место. Работаем с Орловым без перерыва. Один крутит штурвал, другой отдыхает. Работа идет шустро. Появились первые признаки расхода воды: легкое шипение в регуляторе, потом шум. Вода пошла!

Почти одновременно чувствую, как вода пошла и в мой левый бахил. Видать, где-то зацепил и порвал. Тогда эту мелочь не удостоил своим вниманием. Но впоследствии это обернулось радиационным ожогом второй степени, очень болезненным и долго не заживающим.

Двинули к первой группе. Там дела неважные. Регулятор открыт, но не полностью. Но Лене Топтунову плохо — его рвет, Саша Акимов еле держится. Помогли ребятам выйти из этого мрачного коридора. Снова на лестнице. Сашу все-таки вырвало, видно, не впервые, и поэтому идет одна желчь. «Кормильца» оставили за дверью.

7 ч. 45 мин. Всей группой вернулись на БЩУ-4. Доложено — вода подана. Вот только сейчас расслабились, почувствовал — вся спина мокрая, одежда мокрая, в левой бахиле хлюпает, «лепесток» намок, дышать очень тяжело. Сразу сменили «лепестки». Акимов и Топтунов в туалете напротив — рвота не прекращается. Надо ребят срочно в медпункт. Заходит на БЩУ-4 Леня Топтунов. Весь бледный, глаза красные, слезы еще не просохли. Выворачивало его крепко.

— Как себя чувствуешь?

— Нормально, уже полегчало. Могу еще работать.

— Все, хватит с вас. Давайте вместе с Акимовым в медпункт.

Саше Нехаеву пора сдавать смену. Орлов показывает ему на Акимова и Топтунова:

— Давай вместе с ребятами, поможешь им добраться до медпункта и возвращайся сдавать смену. Сюда не приходи.

По громкой связи объявляют сбор всех начальников цехов в бункере ГО. Ситников и Чугунов уходят.

Только сейчас обратил внимание: на БЩУ-4 уже прибыли «свежие люди». Всех «старых» уже отправили. Разумно. Дозобстановку никто не знает, но рвота говорит о высокой дозе! Сколько — не помню.

9 ч. 20 мин. Сменил порванный бахил. Малость передохнули, и снова вперед. Снова по той же лестнице, та же отметка 27. Ведет уже нашу группу сменщик Акимова — НСБ Смагин. Вот и задвижки. Затянуты от души. Снова я в паре с Орловым, начинаем вдвоем на полной мощи своих мускулов «подрывать» задвижки. Потихоньку дело пошло. Шума воды нет. Рукавицы все мокрые. Ладони горят. Открываем вторую — шума воды нет.

Возвратились на БЩУ-4, сменили «лепестки». Очень хочется курить. Оглядываюсь по сторонам. Все заняты своим делом. Ладно, переживу, тем более что «лепесток» снимать совсем ни к чему. Черт его знает, что сейчас в воздухе, что вдохнешь вместе с табачным дымом. Да и дозобстановку по БЩУ-4 не знаем. Дурацкое положение — хоть бы один «дозик» (дозиметрист) забежал с прибором. Разведчики, мать их за ногу! Только подумал — а тут как раз и «дозик» забежал. Маленький какой-то, пришибленный. Что-то померил — и ходу. Но Орлов его быстро отловил за шиворот. Вопрошает:

— Ты кто такой?

— Дозиметрист.

— Раз дозиметрист — померь обстановку и доложи, как положено,— где и сколько.

«Дозик» снова возвращается. Меряет. По роже видно, что хочет поскорей отсюда «свалить». Называет цифры. Ого! Прибор в зашкале! Фонит явно с коридора. За бетонными колоннами БЩУ дозы меньше. А «дозик» удрал тем временем. Шакал!

Выглянул в коридор. На улице ясное солнечное утро. Навстречу Орлов. Машет рукой. Из коридора заходим в небольшую комнату. В комнате щиты, пульты. Стекла на окнах разбиты. Не высовываясь из окна, осторожно смотрим вниз.

Видим торец 4-го блока... Везде груды обломков, сорванные плиты, стеновые панели, из разбитых мастерских на проводах свисают искореженные кондиционеры... Из разорванных пожарных магистралей хлещет вода... Заметно сразу — везде мрачная темно-серая пыль. Под нашими окнами тоже полно обломков. Заметно выделяются обломки правильного квадратного сечения. Орлов именно потому меня и позвал, чтобы я посмотрел на эти обломки. Это же реакторный графит!

Дальше уже некуда.

Еще не успели оценить все последствия, возвращаемся на БЩУ-4. Очевидное так страшно, что боимся сказать вслух. Зовем посмотреть заместителя главного инженера станции по науке Лютова. Лютов смотрит туда, куда мы показываем. Молчит. Орлов говорит:

— Это же реакторный графит!

— Да ну, мужики, какой это графит, это «сборка-одиннадцать».

По форме она тоже квадрат. Весит она около 80 кг! Даже если это «сборка-одиннадцать», хрен редьки не слаще. Она не святым духом улетела с «пятака» реактора и оказалась на улице. Но это, к сожалению, не сборка, уважаемый Михаил Алексеевич! Как заместителю по науке, вам это надо знать не хуже нас. Но Лютов не хочет верить своим глазам. Орлов спрашивает стоящего рядом Смагина:

— Может, у вас до этого здесь графит лежал? (Цепляемся и мы за соломинку.)

— Да нет, все субботники уже прошли. Здесь была чистота и порядок, ни одного графитного блока до сегодняшней ночи здесь не было.

Все встало на свои места.

Приплыли.

А над этими развалинами, над этой страшной, невидимой опасностью сияет щедрое весеннее солнце. Разум отказывается верить, что случилось самое страшное, что могло произойти. Но это уже реальность, факт.

ВЗРЫВ РЕАКТОРА. 190 ТОНН ТОПЛИВА, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, С ПРОДУКТАМИ ДЕЛЕНИЯ, С РЕАКТОРНЫМ ГРАФИТОМ, РЕАКТОРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ВЫБРОСИЛО ИЗ ШАХТЫ РЕАКТОРА. И ГДЕ СЕЙЧАС ЭТА ГАДОСТЬ, ГДЕ ОНА ОСЕЛА, ГДЕ ОСЕДАЕТ,— НИКТО ПОКА НЕ ЗНАЕТ!

Все молча заходим на БЩУ-4. Звонит телефон, вызывают Орлова. Чугунову плохо, его отправляют в больницу. Ситников уже в больнице. Передают руководство цехом Орлову как старшему по должности.

10 ч. 00 мин. Орлов уже в ранге и. о. начальника РЦ-1 получает «добро» на уход на БЩУ-3.

Быстрым шагом уходим в сторону БЩУ-3. Наконец-то видим нормального дозиметриста. Предупреждает, чтобы к окнам не подходили — очень высокий фон. Уже без него поняли. Сколько? Сам не знает, все приборы зашкаливает. Приборы с высокой чувствительностью. А сейчас не чувствительность нужна, а большой предел измерений! Эх, срамота...

Устали мы крепко. Почти пять часов не евши, на ломовой работе. Заходим на БЩУ-3. Третий блок после взрыва срочно остановили, идет аварийное расхолаживание. Мы идем к себе «домой» — на первый блок. На границе уже стоит переносный саншлюз. Моментально отметил — наш саншлюз, из РЦ-1. Ребята молодцы, работают хорошо. Не касаясь руками, снял бахилы. Сполоснул подошвы, вытер ноги. У Орлова начинается рвота. Бегом в мужской туалет. У меня пока ничего нет, но противно как-то. Ползем, как сонные мухи. Силы на исходе.

Дошли до помещения, в котором сидит весь командный состав РЦ-1. Снял «лепесток». Дали сигарету, прикурил. Две затяжки — и у меня тошнота подступила к горлу.

Идем в санпропускник мыться и переодеваться. Вот тут-то меня и «прорвало». Выворачивало вдоль и поперек каждые 3—5 минут. Увидел, как Орлов захлопнул какой-то журнал. Ага... «Гражданская оборона», понятно.

— Ну, что там вычитал?

— Ничего хорошего. Пошли сдаваться в медпункт.

Уже потом Орлов сказал, что было написано в том журнале: появление рвоты — это уже признак лучевой болезни, что соответствует дозе более 100 бэр (рентген). Годовая норма — 5 бэр».

Расследование

Я уже цитировал письмо Валентина Александровича Жильцова — искреннее, взволнованное. Затем мы встретились с ним в Киеве — Жильцов ехал в Чернобыль на пуск третьего блока. Валентин Александрович — опытнейший инженер-физик, окончил МИФИ. Принимал участие в разработке, пуске, эксплуатации реакторных установок различного типа и назначения. Расследовал аварию на Чернобыльской АЭС. За активное участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС был награжден орденом «Знак Почета», но сказал мне: «Получая награду эту, не испытывал ни трепета, ни радости, ни горести. Чувства благодарности тоже не было. Да разве возможна радость на всеобщей боли?»

Для меня голос Валентина Александровича — один из самых компетентных, один из самых совестливых. Стоит за ним неподкупная правда.

В. Жильцов:

«Я был оповещен об аварии 28 апреля, в понедельник, рано утром. Вышел на работу, в течение часа были оформлены необходимые документы, мне выдали спецодежду, включая сапоги, и все прочее. Была подана машина, и нашу группу вместе с дозиметристами — к нам еще присоединились товарищи из Минздрава — отвезли в Быково. Специальный самолет ЯК-40 немедленно вылетел в Киев.

В Жулянах нас встретили, и мы на «рафике» выехали в Припять. И сразу же дозиметристы приступили к измерению фона, провели первую радиационную разведку. Уже в аэропорте Жуляны показатели по сравнению с обычным фоном были выше в два раза. По мере приближения к Иванкову они возрастали, а от Иванкова до Припяти прослеживалось даже возрастание по формуле Р-квадрат: мощность излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния. Нарастала радиация очень существенно. А в районе Чернобыля наша аппаратура села на зашкал. Дело в том, что у нас была очень чувствительная лабораторная аппаратура. Далее разведку вели только армейской аппаратурой... Я хорошо знал дорогу до Чернобыля — ведь я бывал на ЧАЭС с 1977 года, с пуска первого энергоблока. Я здесь бывал неоднократно, знаком был каждый поворотик — я даже приезжал в Припять на своей машине. Но теперь было все по-другому. Чрезвычайно тяжелое, тягостное впечатление. Навстречу нам шли потоком вереницы автобусов, сельхозтехники, грузовики со скотом. Сам Чернобыль жил в тот день еще внешне нормальной жизнью, в нем авария как бы не чувствовалась...

Привезли нас в Припять — Припять уже пуста. Вечером огней не было — только гостиница, где мы жили, светилась огнями. И рядом — горком партии, где разместилась правительственная комиссия.

Мы входили в состав рабочей группы, задачей которой было — установить техническую причину аварии. Нашу группу возглавлял Александр Григорьевич Мешков.

В гостинице мы жили практически сутки. 29 апреля нам предложили эвакуироваться из Припяти, и мы переехали в пионерлагерь «Сказочный». Фактически всей комиссией мы начали работать 29-го, часов в 16—17, в «Сказочном». Мы собрались в полном составе и провели изучение первых исходных материалов. Со станции были доставлены оперативные журналы, прочие документы.

— Есть ли на АЭС своего рода «черный ящик», как на самолетах?

— Есть некое подобие «черного ящика» — просто одна из программ под кодовым названием ДРЕГ (диагностика и регистрация) на штатной информационно-вычислительной машине «СКАЛА». Для нас это был единственный объективный источник информации, который позволил привязать события ко времени, расставить их в последовательности, сопоставить с данными, почерпнутыми из оперативных записей в журналах, из объяснительных записок персонала и личных бесед с участниками аварии. Эта бесценная информация сохранилась в виде двух бобин магнитной пленки.

Мы отрабатывали шесть различных версий — в том числе самых крайних. Тогда еще все версии имели право на существование. Объяснительные записки персонала были противоречивы. Одному из этих товарищей представлялось, что взрыв произошел со стороны машзала. Другой утверждал, что взрыв раздался где-то в подреакторном пространстве. Третий услышал — и это подтвердили еще несколько человек,— что были два взрыва в районе центрального зала. Это совпало и с мнением работников станции, которые случайно были на седьмом этаже в АБК-2 и не только слышали взрывы, но и ВИДЕЛИ ВСЕ ЭТО.

2 мая мы позвонили в Москву и попросили наших товарищей поговорить с Акимовым, Дятловым и другими, которые были эвакуированы в Москву в 6-ю клинику. Директор АЭС Брюханов в то время был руководителем штаба, мы с ним все время общались в «Сказочном», приглашали на заседания комиссии. А первым — 29 апреля — мы заслушали главного инженера Фомина. Он нам рассказал, как утверждал график планового ремонта четвертого блока (25 апреля было начато снижение мощности, блок выводился в ремонт), как шел процесс остановки блока... После сообщения об аварии он прибыл на станцию — около пяти часов утра — и занялся проверкой электроснабжения, аварийного охлаждения реактора... В рамках обязанностей главного инженера Фомин действовал в принципе правильно. После аварии. Дал вполне, по-моему, разумные указания, что надо проверить и как. Но вот я не могу до сих пор понять: почему ясность — что же произошло? — и у него, и у Брюханова наступила только через двенадцать часов после аварии — к 14 часам 26 апреля?

Фомин упомянул вскользь и о том, что перед остановкой были проведены вибрационные испытания турбогенератора № 8, потому что турбина эта работала с повышенной вибрацией. Были даже приглашены харьковчане с турбинного завода имени С. М. Кирова. И одновременно, сказал, были проведены испытания электроснабжения собственных нужд на выбеге турбогенератора № 8. Сказал он это так, как будто эти испытания не имеют никакого отношения к аварии.

Когда я ему задал вопрос: «Что это за испытания, можно ли посмотреть программу?» — он мне сказал: «Это чисто электрические испытания». Он не придавал этому значения. После этого я все-таки предложил разыскать программу и показать ее комиссии.

Она была найдена начальником ПТО А. Д. Геллерманом, привезена со станции, и когда мы ее посмотрели, почитали, то обнаружили в ней очень много отступлений, нарушений. Она абсолютно не отражала состояния реактора, не лимитировала его работу, работу систем защиты... Но даже то, что по этой неквалифицированной программе должно было контролироваться, не контролировалось. Это касалось мощности — ведь они мощность не смогли удержать. Для проведения вибрационных испытаний турбогенератора сняли одну защиту, а после того, как закончили эти испытания, они забыли защиту ввести снова... Эту программу утверждал Фомин.

Мы работали с 7 утра и до 11 вечера. Когда надо было, совершали поездки на станцию. Правительственная комиссия слушала нас практически ежедневно. И к пятнадцатому

мая, когда встретились — уже в Москве — с академиком А. П. Александровым, имели основательное представление об аварии — с точки зрения физики, техники, человеческого фактора. А мною был подготовлен график развития аварии — по минутам и по секундам».

Из дневника Ускова

«Утро **28 апреля.** Москва, клиническая больница № 6, IV отделение, 2-й пост, палата № 422. Настроение нормальное. Правда, его малость подпортили. Кровь из пальчика — ерунда, но кровь из вены — это уже не шибко приятно. Сестры «успокаивают» — скоро эти процедуры будут ежедневно. Врачам постоянно, ежедневно нужен будет развернутый анализ нашей крови. В нашей ситуации в первую очередь все отражается на крови. Понятно.

Появилась сухость во рту. Питье не помогает. Натащили для полоскания всяких пузырьков. Посмотрел надписи. На одном «лизоцим». Лизоцим, лизоцим... Где-то я уже слышал про него. Ага, вспомнил. Это когда собаки зализывают раны, у них с языка выделяется этот самый лизоцим. Поэтому раны не гноятся и быстро зарастают. Что ж, будем и мы зализывать раны.

Знакомимся с мужиками с нашего этажа. Кого здесь только нет! Сторожа и вахтеры, сторожившие свои «конторы» вблизи четвертого блока, рыбаки, ловившие рыбу на подводящем канале, оперативный персонал из ночной и утренней смен, пожарный Иван Шаврей, бригада из «Химзащиты», прапорщики из охраны ЧАЭС. Саша Нехаев в соседней палате. Выглядит он неважно. Весь красный, жалуется на головную боль.

1—2 мая. Невзирая на праздник, кровь из пальца берут ежедневно. Уже отсортировали ребят, случайно попавших в эти стены. Это случайные зрители, рыбаки с подводящего канала. Самочувствие хорошее. Аппетит волчий. Нам увеличили рацион питания. Появились соки, минеральная вода. Надо больше пить! И выводить, выводить, выводить.

3 мая. Сегодня к нам забегал Анатолий Андреевич Ситников — побриться. Выглядит неплохо. Побрился, немного посидел, ушел к себе. Он на 8-м этаже. Я еще не знал, что вижу его в последний раз. Через пару дней ему резко станет хуже, и он больше не встанет.

4 мая. Начали потихоньку раздергивать наш этаж. От нас забирают на 7-й этаж Чугунова, из других комнат — Юру Трегуба. Переселение назначили на 4 мая, а с утра объявили: всем, кто остается в клинике,— стричься наголо. Прибыли парикмахеры, быстро «обкатали» головы ребят «под ноль». Я стригся последний. Уверенным голосом сказал, что мне надо сделать только короткую прическу. Сестра-парикмахер не возражала. Каждый свои волосы собирал в целлофановый мешочек. Волосы тоже пойдут на захоронение. Я их так и не успел отмыть.

Часто вспоминаем свой родной цех, своих мужиков. Эх, как не вовремя «залетели»! Наше место сейчас там.

Сегодня ходили на 8-й этаж — в асептический блок. На какой-то хитрой американской технике из нашей крови отбирали тромбомассу — на случай, если понадобятся переливания. Два часа лежал на столе, а перед глазами по прозрачным трубочкам по кругу циркулировала моя кровь. Похоже, нас готовят к худшему...

5—6 мая. Саше Нехаеву плохо, его перевели на 6-й этаж, в отдельную палату. У Чугунова вылез ожог на правом боку, у Перевозченко тоже обожжены бок и зад. Заходил Дятлов — у него выступили ожоги на лице, сильные ожоги на правой руке, ногах. Разговор только о причинах аварии.

Я в палате уже один. Те, кто остался, лежат в отдельных палатах. Врач говорит, что скоро кончится скрытый период.

8—9 мая. Я перебрался в 417-ю палату. Саше Нехаеву все хуже, но пока еще с кровати встает. Видел Виктора Смагина — он сказал, что сегодня, то есть 8 мая, умер Анатолий Кургуз... Как страшно. Не по себе.

Всего на нашем этаже 12 палат, а значит — 12 больных. Мой сосед слева — Юра Трегуб, справа — дублер СИУРа Виктор Проскуряков. У парня сильные ожоги на руках. Он и Саша Ювченко пытались прорваться в разрушенный центральный зал четвертого блока, Витя светил из-за развалин фонарем. Нескольких секунд хватило, чтобы получить страшные ожоги.

Вечером смотрели праздничный салют. Но радости мало. Мы понимаем, что умершие ребята не последние, но так хотелось, чтобы все остальные выжили. Обидно умирать в расцвете сил, молодости...

10—11 мая. Из палат уже не выпускают. Все общения кончились. Чугунову все хуже. У него сильно обожжена правая рука: пальцы, кисть. Ожог на боку все расползается. По-прежнему глотаем в бешеном количестве таблетки — по 30 штук в день. Кровь берут ежедневно. Через три дня берут по 4—5 пробирок крови из вены. Кровь переношу спокойно, но вены уже исколоты — больно. У меня пока видимых поражений, кроме пальца, нет. Врач постоянно дергает меня за чуб — проверяет, лезут ли волосы. Пока не лезут, может, обойдется?

12 мая. Не обошлось. Сегодня во время обхода на очередной пробе у Александры Федоровны в руке остался целый клок. Что ж, придется стричься наголо. Обрили. Лежу лысый. Черт с ними, с волосами. Но выпадение волос — это уже плохо. Еще один признак высокой дозы.

За окнами вовсю уже распускаются деревья. На улице отличная погода. За забором клиники шумит столица. Пошел в туалет, в коридоре никого нет — бегом сбегал на шестой этаж. Перекурил с мужиками на площадке. Настроение падает, многим стало хуже. 11 мая умерли Саша Акимов, двое пожарных...

13 мая. В клинике появились новые санитарки, в основном молодые девчата. Сейчас в палатах уборку делают они. (До этого убирали солдаты, переодетые в больничные одежки. На лице — повязки, на руках — перчатки, бахилы. Защищен нормально, но моет пол, как будто отбывает срок.) Девчата приехали с атомных электростанций. У них бросили клич, что здесь тяжело с младшим обслуживающим персоналом, они изъявили желание. У нас на этаже — Надя Коровкина с Кольской АЭС, Таня Макарова — тоже с Кольской АЭС, Таня Ухова — с Курской АЭС. Девушки все общительные, с юмором. В палате стало веселей. Хоть поболтать есть с кем. А то лежишь, как сыч, все один и один.

14 мая. Аппетит практически отсутствует, заставляю себя есть через силу. Но Чугунову гораздо тяжелей.

Уже знаем почти всех сестер. Люба и Таня — молодые, остальным сестрам в среднем — сорок. Все очень внимательные, хорошие женщины. Постоянно чувствуем их тепло, заботу. Чудесные женщины. На их плечи легло самое тяжкое бремя. Уколы, капельницы, замеры температуры, процедуры, забор крови и многое, многое другое. В палатах чистота стерильная или близко к тому. У нас постоянно включены кварцевые лампы. Поэтому лежу в темных очках. Врачи очень боятся инфекции. В нашем состоянии — это практически конец.

Кроме девчат, работают и штатные санитарки: Матрена Николаевна Евлахова и Евдокия Петровна Кривошеева. Обе женщины уже в преклонном возрасте, им за шестьдесят. На вид — классические нянечки, какими их показывают в кино. Обе маленькие, кругленькие, простые русские лица. Простой, бесхитростный разговор. Любят обе поворчать на медсестер.

У нашего врача Александры Федоровны Шамардиной авторитет на этаже непререкаемый. Ее уважают все, няни слегка побаиваются. Она невысокая, сухонькая. Очень подвижная, бодрая. Очень приятная, простая улыбка, но характер волевой.

Вечером слушали заявление М. С. Горбачева по ЦТ. Семь человек уже погибли. Из них пять — наших ребят, чаэсовских: Ходемчук, Шашенок, Лелеченко, Акимов, Кургуз. Пожарные лежат где-то на другом этаже, о них ничего не знаем. Витя Проскуряков, мой сосед справа, очень тяжелый. У него стопроцентные ожоги, страшные боли. Практически постоянно без сознания.

Настроение подавленное. Эх, ну и натворили делов...

В клинике работают американские профессора — Роберт Гейл и Тарасаки. Случайно с ними встретился в асептическом блоке на восьмом этаже после отбора тромбомассы. Я уже уходил, они только облачились в спецреквизит. Гейл — невысокий, худощавый молодой мужчина. Обыкновенное лицо, ничего значительного. Профессор Тарасаки ростом повыше, выглядит моложе. Черты лица почти европейские, но японские черты просматриваются.

Американцы — специалисты по пересадке костного мозга. На восьмом этаже находятся боксы, где лежат самые тяжелые больные. Уже сделано 13 пересадок костного мозга. В частности — Пете Паламарчуку, Анатолию Андреевичу Ситникову. Американцы привезли лучшее, что у них есть,— оборудование, приборы, инструменты, сыворотки, медикаменты. Боксы восьмого этажа — зона их особого внимания. Видел оборудование еще в упаковке. Открыт «второй фронт».

Чугунову очень плохо. Высокая температура, выпадают волосы на груди, ногах. Он мрачный, как скалы Заполярья. Чай пьет, курить не хочет. Спросил: «Как Ситников?» Я сказал, что борется. Чугунову начали переливать тромбомассу, антибиотики. Почти всю ночь у него в палате горит свет... Все тяжелобольные боятся ночи...

14—16 мая. На обходе Александра Федоровна сказала, что сегодня у меня возьмут пункцию красного костного мозга. Привели на восьмой этаж. Уложили лицом вниз. Укол новокаина. И длинная кривая игла пошла в тело. Доктор возился долго, но сделать пункцию не смог. Сменил иглу на более длинную. Уже еле терплю. Сестры держат голову и руки, чтобы не дергался. Все, взяли. Неприятная процедура, скажу я вам.

Получил записку от Марины. Просит подойти к открытому окну, выходящему на улицу Новикова. Марину видел, но очень далеко... Это окно из коридора. Нарвался на Александру Федоровну. Загнала меня в палату. Прочитала нотацию. Пообещала: если еще раз поймает, отберет штаны, а если будет мало — то и трусы. Сказал, что без штанов у меня сразу поднимется температура. Александра Федоровна пригрозила кулачком: «Смотри у меня».

В «Комсомолке» за 15 мая прописали нас с Чугуновым. И, конечно, все переврали. Какой это шакал преподнес им наши действия? По описанию корреспондента, меня надо немедленно ставить к стенке как вредителя. Звонил в «Комсомолку» — выразил свое мнение об их работе. И вообще чувствуется по печати, что материал в газетах идет «сырой»,— пишут кто что хочет, порой бред!

Чугунов — мой шеф — плох. Почти ничего не читает. Лежит молча. Как могу, пытаюсь расшевелить. Удается плохо. Пьет только чай. Стараюсь положить ему побольше сахара.

14 мая умерли Саша Кудрявцев и Леня Топтунов, оба из реакторного цеха № 2, СИУРы. Оба молодые парни. Эх, судьба... А что-то еще нас ждет? Стараюсь об этом не думать. Чугунову о ребятах не говорю.

17 мая. Ночью спал плохо. На душе скверно, медсестры постоянно бегают в соседнюю палату к Вите Проскурякову. Предчувствия не обманули: эта ночь была последней в его жизни... Страшно умер, мучительно...

18—19—20 мая. Сегодня наши девчата принесли сирень. Поставили каждому в палату. Букет замечательный. Попробовал понюхать — пахнет хозяйственным мылом?! Может, обработали чем-то? Говорят, что нет. Сирень настоящая. Это у меня нос не работает. Слизистая обожжена. Почти весь день лежу. Самочувствие — не очень. Саша Нехаев тяжелый. Очень сильные ожоги. Очень волнуемся за него. Я почти ничего не ем. Кое-как из первого съедаю бульон. Постоянно приносят газеты — с радостью читаю в «Комсомолке» о Саше Бочарове, Мише Борисюке, Неле Перковской — всех их хорошо знаю. Рад за них. Завидую им. Они все в борьбе, а мы, похоже, «выгорели», и крепко... Не вовремя...

Чугунову еще хуже. Железный мужик. Ни одной жалобы. И еще мне кажется, он переживает: ПРАВИЛЬНО ЛИ СДЕЛАЛ, ЧТО СОБРАЛ НАС НА ПОМОЩЬ ЧЕТВЕРТОМУ БЛОКУ?

На обходе Александра Федоровна предупредила, что будет делать пробу на свертываемость крови. Это что-то новое.

Пришла милая женщина, Ирина Викторовна, та самая, что занималась отбором из нашей крови тромбомассы. Уколола в мочку уха и собирала кровь на специальную салфетку. Собирала долго и упорно, но кровь останавливаться не хотела. Через полчаса закончили мы эту процедуру. Все ясно. У нормального человека кровь сворачивается через пять минут. Резкое падение тромбоцитов в крови!

Через час в меня уже вливали мою же тромбомассу, заранее приготовленную на этот случай. Началась черная полоса»...

Прерву на этом записи А. Ускова.

Остановимся в скорбном молчании и раздумьях перед черной полосой, которую пересекли этот мужественный человек и его друзья. Долго, ох, как долго и мучительно они ее преодолевали!.. Аркадий Усков выстоял, выжил. И его «шеф» — «железный мужик» В. А. Чугунов — выдюжил. На Чернобыльской АЭС, на третьем блоке, я встретился с Владимиром Александровичем Чугуновым. Он торопливо пожал мою руку, не понимая, почему я с таким интересом приглядываюсь к нему, и вернулся к пульту. Дел было много.

Что нужно зрителю?

Юрий Геннадиевич Коляда, телеоператор Гостелерадио УССР:

«Мне запомнился день 25 мая. Приехали в Чернобыль и долго искали — с кем поехать на станцию. Нам нужна была «грязная» машина: я очень хотел снять развал четвертого блока. Нашли парня, который дежурил на проходной бывшей «Сельхозтехники». Попросили его. Он, помоему, из Ворошиловграда. Он пошел в гараж и вывел поливалку. Разваленную, страшную, но она ездила. Мы с Пашей Власовым (это журналист, который вел телерепортажи) сели в машину. Надели «лепестки». Едем к станции. Наш парень спрашивает: «У вас есть какое-нибудь разрешение? Хоть что-нибудь?» — «Какое разрешение? Командировок нет».— «Ну, тогда я вас повезу со стороны монтажного района, там у вас ничего не спросят. Там можно подъехать к реактору вообще без всяких пропусков».

«Вот здесь мы проскочим»,— говорит наш парень перед въездом в Припять и сворачивает направо, в лес. Едем, едем — мне как-то неуютно становится. Я говорю: «Ребята (а я уже слышал это название — «Рыжий лес»), а какого цвета этот лес?» Наш парень: «А-а-а...» и матерится. Он перепутал поворот и свернул чуть раньше. Покатал нас по «Рыжему лесу». Картинка совершенно фантастическая. Сосны были не ржавого цвета, не осенние, не сгоревшие. Цвет был свежий, желтого оттенка. Жуткое зрелище. Сверху донизу такой цвет.

Но на этом наши приключения не закончились. Проезжаем мы бетонный завод, приближаемся к АЭС и видим — в ста метрах от нас работают бульдозеры. Боже мой, прекрасно! Я расталкиваю Пашку, пристраиваюсь с камерой. Вот они, бульдозеры — в двадцати метрах от нас. Вдруг я вижу: ВНУТРИ НИКОГО НЕТ! Я говорю: «Ребята, они радиоуправляемые. Поехали отсюда...» И все-таки я успел снять эти бульдозеры.

Наконец мы приехали на станцию, пошли в бункер к генералу Гольдину. И в бункере оказался капитан Яцына. Его батальон чистил территорию. Генерал говорит ему: «У тебя БТР есть?» — «Есть».— «Подвези людей, надо снять». В армии все просто решается.

Мы отпустили нашего поливальщика несчастного. Вышли на территорию, подошли к третьему блоку, там работали солдаты. Меня удивило ужасно, что они работали без дозиметров, дозиметр был только у командира, а ребята работали в «лепестках» и пыль поднимали невообразимую. Они очищали те места, куда не могла подойти техника, примитивным способом — лопаты, мусорные баки для листьев... Вот и все. Там мы отсняли один «синхрончик». Паша сбросил на минутку с лица «лепесток», сказал два слова на фоне этих работ. Потом мы за это получили по голове. «Вы что, без респиратора?» — сказали Паше. И эти кадры в эфир не пустили. Но это было не самое обидное...

Начали подбираться к четвертому блоку. С Яцыной были дозиметристы. Мы со двора шли, и когда до четвертого блока оставалось метров 200, ребята говорят: «Ну все. Дальше идти нельзя. Можно только подъехать». Яцына кого-то посылает за БТРом. Приходят и говорят, что нет БТРа. Куда-то его послали. Но уехать, не сняв эти кадры, нельзя. Я бы в жизни себе это не простил. У нас был уазик, и мы все-таки подъехали, дозиметристы показали нам более или менее чистую трассу. Приблизились к реактору на сто метров. Мы с Пашей выскочили на вспаханное поле, здесь только что прошли радиоуправляемые бульдозеры, и, хотя нам объяснили, что каждый шаг вперед — это сто рентген, все-таки сняли этот развал. Паша проговорил свой текст за минуту.

И что вы думаете? В семь вечера началась наша «Актуальная камера»[1], и вижу вдруг, что нет Паши на фоне разлома, а есть коротюсенький планчик — конец «наезда» камеры. Бросаюсь в редакцию информации, попадаю на заместителя главного редактора, смотрю на него ясным взором: «В чем дело?». Он объясняет, что уже после того, как цензура дала «добро» на все наши съемки, высокий чиновник посмотрел материал по нашему внутреннему каналу и сказал: «Убрать вот это место. Нашему зрителю не нужны такие эмоциональ-

[1] Информационная программа Украинского телевидения, ежедневно освещавшая события в Чернобыле.

ные вещи». А там Паша всего-навсего сказал, что теперь мы можем вам показать развал, но, поскольку здесь небезопасно оставаться долгое время, то, пожалуйста, посмотрите, мол, и все. Что-то в этом роде. А потом этот сюжет появился в передаче ЦТ под другой фамилией. Того, кого не было на станции.

Я много раз ездил на станцию, снимал разных людей. Мы работали японскими камерами «Бетакам» фирмы «Сони». Я думаю, фирма многое бы дала, чтобы заполучить эти камеры. Какая реклама для «Сони»! Даже в условиях мощной радиации камеры работали безотказно. Но нам пришлось их «похоронить» — они «звенели».

Хем Елизарович Салганик, руководитель творческого объединения документальных фильмов студии «Укртелефильм»,— один из авторов документального телефильма «Чернобыль: два цвета времени»:

«Была одна сумасшедшая история, мы очень хотели ее снять. Дело в том, что на крыше третьего блока куски графита вплавились в битум. И никакая техника не в силах была выдрать этот графит. Возникла идея: ставится помост, на него водружается крупнокалиберный пулемет, и в 6 утра, когда людей еще нет, куски графита расстреливаются настильным огнем. А после этого можно будет туда пустить машину, которая подтолкнет застрявшего там желтого западногерманского робота. Когда военные предупредили: «Ребята, мы вам не гарантируем, что не расстреляем этого вашего робота», то Юра Самойленко, наш герой, сказал: «Да черт с ним, с этим бездельником!» Но правительственная комиссия, не найдя возможным обеспечить полную безопасность людей, запретила эту операцию. Работа-то шла круглые сутки, не было гарантии, что пуля не срикошетит... А мы в 6 утра там уже были, ждали этого фейерверка. Не получилось.

Мы в бункере стали настолько своими людьми, что, когда оперативный дежурный Валентин Мельник выходил покурить, он оставлял меня возле телефонов на КП.

Однажды прибегает Игорь Кобрин, наш режиссер: «Хем, нас не пускают».— «Кто? У нас же проход всюду!» — «Не пускают, говорят, там что-то закрыли». Я иду. Стоит часовой. А вид у меня очень солидный: седые усы, форма белая, как у всех. Я говорю внятно, чтобы он понял: «Генерал Кузнецов»,— а потом дикой скороговоркой: «...далразрешениесниматьгдемытолько...» Он говорит: «Товарищ генерал, я не знаю, там есть прапорщик». Я: «Где прапорщик?» Он берет телефон и звонит. Дает мне трубку. Я беру трубку и снова говорю: «Генерал Кузнецов... далразрешениесниматьгдемытолько...» Прапорщик говорит: «Извините, товарищ генерал. Дайте трубку караульному солдату». Я даю — и он нас пропускает. На войне как на войне — без хитрости не обойдешься.

А вообще — может быть, и грех так говорить — это было прекрасное время! Я вспомнил войну, боевых товарищей. Я не хотел оттуда уезжать — такое было отношение друг к другу. И все занимались только делом. Три минуты проходило от изменения ситуации до выдачи рекомендаций и принятия решений. Там были очень мужественные, очень чистые люди. Многие добровольно приехали. И как им было обидно встречаться с проявлениями нашего железобетонного бюрократизма. В число пятидесяти человек, принятых в партию Припятским горкомом без прохождения кандидатского стажа, входили три дозразведчика. Те, что первыми шли в неизвестность, на радиацию. И когда они приехали в свои города после лечения, привезли документы, что они члены партии, им сказали: «Что это такое? Как это без стажа?.. Да нет, пусть нам позвонят из Припяти». И один из них говорил мне с обидой: «Ну что, я буду звонить в Припятский горком, просить?» Были более обидные вещи: одного из подполковников представили к внеочередному званию. Когда он платил партвзносы, кто-то из чиновников посмотрел и говорит: «Ого, сколько денег ты заработал! А что — еще и кормили вас бесплатно? Да тебе еще и звание присваивают... Ну ничего, пока походишь в подполковниках».

А когда фильм уже был сделан, началась и наша дорога на Голгофу. В октябре 1986 года мы повезли фильм в Москву. Посмотрела сначала группа экспертов, несколько человек. Им фильм понравился, но они набросали 15 замечаний. Мы честно все исправили — замечания были мелкие. Второй раз приехали в Москву. В зале сидело уже человек тридцать. Посмотрели — поздравили. Им фильм тоже понравился. Пошли еще на одну комиссию. И вдруг один из комиссии спрашивает: «В чем ходят солдаты? В этих робах?» Я говорю: «А кто их не обеспечил?» — «Там было шестнадцать шведских костюмов, мы их привезли».— «Там полторы тысячи человек работают каждую минуту».— «Вы знаете, это же на всех экранах будет. Это антисоветский фильм...»

Только вмешательство ЦК КПСС помогло, и в январе 1987 года фильм выпустили на экраны.

Гамма-сапиенс фон-Петренко

Тихо на улице,
Чисто в квартире.
Спасибо реактору
Номер четыре.

Такие вот веселенькие стишата пошли гулять по Киеву в мае 1986 года, когда эшелоны увозили детей из города и матери плакали, провожая своих драгоценных Оксанок и Васылей в пионерские лагеря, когда в городе царили тревога и смятение.

Авария на АЭС отозвалась не только болью сердец и состраданием к тем, на кого обрушилось несчастье. На атомную вспышку в Чернобыле Киев и Украина ответили мощной вспышкой острословия. Особенно ценилось острое слово среди тех, кому довелось работать в Зоне. Как и на войне, смех здесь был очень нужен. Появилась масса частушек, коломыек (как называют озорные припевки на Украине) — откровенных, с приперченным словцом, все впрямую. Родилось множество анекдотов. Шутки на любой вкус: от народных присказок в стиле Тарапуньки и Штепселя («Українці горда нація, їм до лампи радіація») — до «черного» юмора из серии «физики шутят».

Прямо на наших глазах, изо дня в день (по некоторым шуткам можно точно определить время их «запуска») рождался этот фольклор. Не ожидая, пока скажут свое слово литераторы, первым среагировал народ. Прямо по М. М. Бахтину — проснулась мощная смеховая культура, родилось свободное от всех казенно-пропагандистских ограничений народное слово, произошло смещение привычных иерархий — «верха» (патетической, ложной, оглушительной публицистики) и «низа» (демократического, «швейковского» осмысления событий). Смехом народ ответил на стресс, на тревогу, даже на панику. На отсутствие правдивых сообщений. На бодрые заверения органов массовой информации о полном радостном спокойствии всех благонамеренных граждан.

Чуть ли не первым появился анекдот о душах двух умерших, вознесенных в те дни на небо. «Ты откуда?» — спрашивает один.— «Из Чернобыля».— «Ты от чего умер?» — «От радиации. А ты откуда?» — «Из Киева».— «А ты от чего умер?» — «От информации...»

Острословы рассказывали о рекламном призыве, будто бы звучавшем в те дни во всех туристских агентствах: «Посетите Киев! Вы будете поражены...»

Вокзальная атмосфера давки и нервотрепки, спекуляции билетами родила такое объявление диктора на киевском вокзале Москвы: «Внимание! На первый путь прибывает скорый поезд Киев — Москва. Радиация вагонов с головы поезда».

Ну, а как было узнать среди приезжающих в другой город киевлянина? «Лысый импотент с киевским тортом в руках»,— язвили одни. «Киевлянин теперь не только «гомо сапиенс», но и «гамма-сапиенс»,— добавляли другие.

— Кто виноват в чернобыльской аварии? — вопрошал некий философ. И отвечал: — Кий[1]. Зачем основал Киев так близко от реактора?

Уже в начале мая рассказывали, что будто бы состоялся фестиваль «Киевская весна». Первая премия была присуждена за песню «Не вій вітре з України», вторая — А. Пугачевой за песню «Улетай, тучка, улетай», третья — В. Леонтьеву за песню: «...И все бегут, бегут, бегут...»

Предлагали на вершине четвертого блока поставить памятник Пушкину и написать: «Отсель грозить мы будем шведу», или так: «Здесь город будет заражен»...

Тогда же родилась идея плаката: «Мирный атом — в каждый дом».

— Какая река самая широкая? — вопрошали пессимисты и отвечали: — Припять. Редкая птица долетит до середины...

---

[1] Кий — легендарный полянский князь первой половины VI в., основатель Киева.

Когда киевляне бросились «вымывать» радионуклеиды с помощью красного натурального вина каберне, в изобилии завезенного в город, кто-то изрек: «В городе началась кабернетическая эра». И тут же родился анекдот. Врач-лаборант рассматривает под микроскопом пробу крови. И сообщает пациенту, ждущему с замиранием сердца ответа: «В вашем каберне лейкоциты не обнаружены». «Был новый выброс,— таинственно сообщали «знатоки».— На Крещатике выбросили каберне, на Владимирской — водку».

— Нам уже становится невМАГАТЭ! — страдальчески кричал один мой знакомый, измученный паническими слухами. И словно в ответ ему родилась такая присказка: «Як на гульках щось не те — все вали на МАГАТЭ» («Если на гулянке что-то не так, вали все на МАГАТЭ»).

Предлагали обращаться к киевлянам так: «Ваше сиятельство!». А к каждой фамилии добавлять приставку «фон»: фон Петренко, фон Иваненко».

Для быстрейшего прохождения рентгеноскопии остряки советовали пациенту стать между двух киевлян. А в одной из поликлиник на вопрос: «Где у вас рентгенкабинет?» — докторша раздраженно бросила: «У нас теперь везде рентгенкабинет!»

— Что такое «радионяня»? — спрашивали в те дни. И отвечали: — Это няня, приехавшая из Чернобыля.

Старая бабушка в троллейбусе рассказывала: «Сьогодні на Київському морі така радіація, така радіація! Пливе аж на три пальці, сама бачила».

Давая «высокую» оценку средствам массовой информации, люди задавали вопрос: — Чем будут питаться киевляне в будущем году? Ответ гласил: — Той лапшой, которую вешают им на уши радио, газеты, телевидение.

Естественно, на рынке острословия появилась «Водка Чернобыльская» крепостью 40 рентген, а за самые большие глупости, сочиненные об аварии, стали присуждать Чернобылевскую премию с выдачей лауреату 500 рентген. Появилась единица вранья — фамилия одного киевского профессора, особенно усердствовавшего по части оптимистических заявлений по телевидению. Весьма популярным стал лозунг: «Если хочешь быть отцом, оберни себя свинцом».

И, наконец, еще один анекдот — из «черной» серии, так сказать, генетический. XXI век. Дед с внуком, родившимся после аварии. «Что здесь было, внучек?» — спросил дед, показывая на холмы.— «Киев».— «Правильно, внучек»,— и гладит его по голове.— «А здесь что было?» — показывая на безжизненное русло.— «Днепр».— «Правильно, мой умненький»,— и дед поглаживает его вторую голову...

Киевская весна восемьдесят шестого года — в этом анекдоте.

Сталкер идет по крыше...

К Станиславу Ивановичу Гуренко, секретарю ЦК Компартии Украины, прихожу поздно вечером. На просторном полированном столе в его кабинете — целая груда фотографий, схем и записей, по которым можно воссоздать весь цикл сооружения саркофага, понять, как это делалось.

Станислав Иванович, который в период аварии на Чернобыльской АЭС работал заместителем Председателя Совета Министров УССР, ведал организацией строительно-монтажных работ по сооружению саркофага. Его чернобыльская «вахта» длилась с 24 июля по 14 сентября (до того в Чернобыле поочередно работали пять других заместителей Предсовмина), и он много рассказывал мне, как занимался обеспечением строителей саркофага бетоном, а бетона требовалось десятки тысяч кубометров, как по зараженной местности прокладывалась автомобильная дорога Зеленый мыс — АЭС, как кипели страсти, когда шли поиски инженерного решения, как водрузить многотонную конструкцию крыши на саркофаг...

Разговор шел откровенный. Я, например, впервые узнал, как незадолго до аварии Совмин Украины с трудом «отбивался» от фантасмагорического проекта Минэнерго СССР — достроив пятый и шестой блоки Чернобыльской АЭС, начать строительство еще шести!!! И, по словам моего собеседника, еще неизвестно, как бы завершилось это единоборство, если бы не авария...

Удивительную фотографию увидел я у него на столе: на вершине полосатой трубы, возвышавшейся над четвертым и третьим блоками, как ни в чем не бывало сидел... вертолет!

Станислав Иванович Гуренко:

«Это было в начале сентября, перед завершающим этапом закрытия саркофага. Надо было установить контрольные приборы, чтобы проверить ряд параметров. И вот летчик-испытатель Николай Николаевич Мельник — человек застенчивый, совершенно непохожий на летчика-испытателя, каким его представляют, скажем, в кинофильмах,— взялся выполнить эту рискованную операцию. С ним был представитель головного завода Эрлих Игорь Александрович — инженер старой закалки, я думаю, ему было лет за шестьдесят, деликатный, подчеркнуто вежливый, резко отличающийся от всей нашей чернобыльской спецовочно-тельняшечьей братии... Интересная пара была. Они опустили прибор в трубу, а прибор взял и зацепился за какие-то ребра внутри трубы. Надо было вынимать, а с лета-то не выдернешь. И Мельник сел на трубу. И прибор они вытянули.

У нас с Геннадием Георгиевичем Ведерниковым[1] было больше пятидесяти вылетов на четвертый блок. С нами летали три экипажа вертолетчиков — и я знаю, какая у них тяжелейшая работа. Пилоты обливались потом. Радиационная нагрузка очень большая. Слева от пилота висит измеритель радиоактивности — там показания весьма и весьма... А рядом с ним стоит наблюдатель и говорит: «Давай левее... давай правее... повиси... дай посмотреть...». А висеть-то надо было прямо над развалом. Несмотря на то, что у ребят под ногами и на сиденьях свинцовые листы, но все равно — остекление кабины ведь не может защитить... В те дни, когда заканчивалось сооружение саркофага, мы особенно часто летали. Потому что бетон уходил в страшном количестве и надо было знать — куда каждый раз он девается? Те кубометры бетона, которые закачивались в ступени саркофага, не соответствовали реальному росту конструкций. А бетон затекал то в открытые каналы, откуда в свое время поступала вода на охлаждение реактора, то в проломы, которые невозможно было закрыть...

И выяснять, где просачивается бетон, нам очень помогли вертолетчики — такие замечательные люди, как Мельник. После того, как он выполнил задание в Чернобыле, его приняли в партию. Он позвонил мне и поделился этой радостью.

В Чернобыле я познакомился со многими замечательными людьми. Вы же знаете Юрия Самойленко. Я не могу назвать его своим другом, у нас не было таких отношений хотя бы потому, что между нами приличная разница в возрасте. Он молод, горяч и энергичен. Я с ним встретился через день или два после приезда в Зону. Он пришел ко мне, и мне пришлось помогать ему в решении каких-то вопросов.

В Самойленко удивительно сочетаются два начала. С одной стороны, он человек дела, он всего себя отдает делу — в те дни он был фанатично нацелен на то, чтобы дезактивировать крышу машзала и третьего блока. С другой стороны, он достаточно наивен и непрактичен во всем, что касается многочисленных бюрократических надстроек — всех согласований, увязок, обоснований. Я считаю, это его достоинство. Он очень чистый парень. Жаль, что в наше время мало таких людей. Если бы побольше было таких искренних и бесхитростных — стране было бы полегче решать нелегкие сегодняшние проблемы.

Самойленко работал в так называемой особой зоне. В АБК-1 у него была конторка — ее показывали в фильме «Чернобыль: два цвета времени», но основное место действия, основная его работа была на крыше машзала. Потом площадки третьего блока, потом труба... Человек он крутой, может кого-то припечатать, сказать все, что думает, причем в выражениях не самых дипломатичных. Он вообще любит колоритные выражения, вроде «не напускай чаду» или «не заводи рака за камень». А когда начиналась схватка, то выражений он не подбирал... Порою это ему вредило. И еще — страшно он не любил всякие меркантильные разговоры — о пятерных окладах, квартирах, о том, кто сколько «набрал» рентген и когда сможет уехать из Чернобыля.

Он не считался с опасностью. И сколько он в действительности «набрал»,— это он один только знает, да и то неточно. Ведь ходил он в самое «пекло». Я, честно говоря, когда впервые увидел, как он работает, спросил: сколько у него детей, что за семья? Непросто далась ему эта крыша, очень непросто».

---

[1] Заместитель Председателя Совета Министров СССР, один из сменных председателей Правительственной комиссии.

Юрий Николаевич Самойленко, Герой Социалистического Труда, заместитель главного инженера Чернобыльской АЭС по ликвидации последствий аварии:

«Вот сейчас все говорят: пожар, пожар, пожар. А что горело? Кто знает? Крыша горела? Горела. Но ее потушили еще ночью. А реактор? Горел ли он? Странный вопрос, не правда ли? Реактор горел. Но его, между прочим, никто не тушил. Если четко говорить, то реактор разгорелся почти через сутки после аварии — к 23 часам 26 апреля. И закончил он гореть к шести утра. Горел всю ночь. Механика такая: аппарат обезвожен, происходит естественный разогрев топлива, потому что охлаждения нет, плюс хороший доступ воздуха в результате разрушения какой-то зоны реактора. Загорелось топливо, поднялась температура. Где-то в пределах 1000 или более градусов началось интенсивное соединение графита и урана с образованием карбида урана. Вот он-то и горел. И когда оттуда все выдуло в виде радиоактивного облака, аппарат сам и загасился.

— Так быстро?

— Конечно. Все улетело в атмосферу. А остальные выбросы, которые теперь мы называем «протуберанцами», были вызваны забрасыванием реактора мешками с песком и свинцом. Вот к чему привела засыпка реактора. Это моя личная точка зрения, многие с ней не согласны.

— А что бы вы предложили, если бы в те дни были в Припяти на месте тех, кто принимал решения?

— Во-первых, с самого начала — еще двадцать лет тому назад — я создал бы организацию, которая боролась бы с авариями. В 1976 году состоялся большой разговор о необходимости создания специальной аварийной службы, Минэнерго вроде соглашалось, но выводов не сделало.

Я ремонтник, перед аварией в Чернобыле работал на Смоленской АЭС. Поймите, ведь мы же голые и босые, у нас не было никаких дистанционных средств, никакой специальной одежды. Ни одного скафандра приличного. Что пожарный костюм даст? Он даст минуту пребывания там. А нужен надежный скафандр, чтобы в нем можно было дышать, работать, пребывать в высоких полях... Мы же врукопашную шли на ремонт аппаратов. У нас кувалда, ключ, в лучшем случае шлифмашинка — и крепкие русские выражения... Вы знаете, как работают ремонтники? Утром идут на работу — темно, с работы идут — темно. Еще и ночью поднимают. И персонал ремонтников с атомной станции делится на две части: либо туда идет такое барахло .., либо уж такие ребята остаются, которые пашут не на жизнь, а на смерть.

Не будем говорить о такой глобальной аварии, как чернобыльская. Представьте: на обычной станции обычная технологическая авария. Так называемый «свищ»: разрыв трубы. И шурует струя пара под температурой 270 градусов и давлением 70 килограммов на квадратный сантиметр — и пробивает в бетоне вот такие воронки. А приборы на станции не реагируют на аварию, они поначалу ее не чувствуют. Идет запаривание бокса, в котором стоят датчики, и они потихоньку начинают отказывать.

Что делать?

Останавливать станцию? Значит, 70 часов расхолаживать реактор, чтобы можно было туда зайти. Теряем неделю, несем огромные убытки — из-за этой вот трубочки. А она же ведь не одна лопается. И вы думаете — мы останавливаемся? Ни черта подобного. Такие вот полудурки, как Самойленко, как Голубев — начальник цеха, надевают фуфайки, берут шланги и — пошли в бокс. Рабочего же не пошлешь. Пар слаборадиоактивен, но все же... И в течение суток-двух, заходя туда на минуту, смотрят, выдумывают и делают, делают. А реактор работает. А главный инженер ходит вокруг: «Ребята, ну, ребята, ну...»

Ладно. Вернемся к Чернобылю. Я приехал сюда 29 мая и занимался дезактивацией территории станции. Мне довелось работать вместе с генералом инженерных войск Александром Сергеевичем Королевым. Первые наши победы связаны, несомненно, с инженерными войсками. Они провели дезактивацию первого блока, произвели закладку бетонных плит на территории станции.

Но коренной перелом в ходе ликвидации последствий аварии произошел в августе — даже до того, как был построен саркофаг. Нам удалось локализовать источник радиоактивного заражения и намного улучшить обстановку вокруг станции. А это, в свою очередь, положительно сказалось на строительстве саркофага.

В результате аварии произошел огромный выброс радиоактивных веществ. Тяжелые частицы металлов легли в непосредственной близости от блока, а легкие — особенно йод — полетели далеко. Вокруг станции сложилась крайне тяжелая радиологическая обстановка. И мы сделали важный вывод: саркофаг, конечно, надо сделать срочно, надо срочно закрывать, но не менее важно предотвратить разнос ветром пепла, гари, пыли, который был, может быть, даже более опасен, чем все остальное. Возникла идея: заклеить реактор.

— Как заклеить?

— А очень просто: полить его сверху какой-нибудь гадостью и заклеить. Прекратить подъем в воздух радиоактивных веществ вместе с пылью. Наши враги — или, по-научному, «оппоненты» — говорят нам: там же лежит топливо, там температура повышена. Если мы польем, все это испарится и сведет на нет всю дезактивацию, которую мы проводили на территории. На наше счастье, в те дни прошел страшный ливень, может один-единственный за всю эту историю. Выпало 42 мм осадков. И вдруг мы увидели, что мощность дозы, измеряемой в районе реактора, резко упала. Это подтвердило нашу идею: пыль смыло вниз — и мощность доз упала. И наше решение мы обосновали этим дождем: мы предлагали полить блок и заклеить его.

Наши ребята — Чуприн и Черноусенко — предложили специальный состав. Идем к Геннадию Георгиевичу Ведерникову. Написали обоснование, остается только принять решение ПК. А перед этим Станислав Иванович Гуренко спрашивает нас: «С наукой вы согласовали?» — «Полное согласие»,— говорю. Заходим, докладываем. Все идет отлично. И тогда Ведерников спрашивает: «Как наука смотрит на это?» Он уже держит подготовленное нами решение комиссии, сидит с пером в руках, вот-вот поставит свою подпись... И вдруг... выскакивает один ученый, член-корреспондент. Там было много таких, которые вокруг нашего дела чаду нагоняли, хотели протолкнуть свои идеи, капитал научный заработать.

И вот он выскакивает и начинает поносить наше предложение. Мол, если полить раскаленное жерло реактора нашим составом, то будут выделяться вещества, опасные для жизни и деятельности окружающих. Это ложь. И он, и мы это знаем. И тут же он предлагает СВОЙ состав, разработанный ЕГО институтом. Но маленькая деталь: им понадобится еще месяца два на наработку этого состава и подготовку работ. А у нас уже все готово, завтра можем начинать.

И тогда встает Гуренко: «Товарищи, вы же сюда не Нобелевские премии приехали получать, я считаю, что предложение Самойленко надо подписывать».

Бумагу подписали. Выходим, а Станислав Иванович нам говорит: «Мужики, сейчас этот ваш ученый конкурент по всем инстанциям раззвонит, поэтому поторопитесь». Мы — давай. На аэродром. Организовали срочную доставку вещества, заправку вертолетов, и на следующий день МИ-26 вылетели. Закрутилась карусель над блоком. Они поливают и поливают, а мы сразу отснимаем обстановку — планшеты изучаем. Оказалось, что сразу же дозиметрическая обстановка на площадке улучшилась в 10 раз! Саркофаг стало гораздо легче строить.

Затем мы пошли в четвертый блок, посмотреть механику этого дела. Мы вошли в те помещения, в которые со времени аварии никто не заходил. И увидели, что после нашей поливки там тоже улучшилась обстановка. Я на 35-й отметке прямо выходил на крышу, смотрел на развал, видел эту знаменитую «Елену» — крышку блока.

Через неделю мы снова провели массированный налет на блок, облили его с ног до головы. Так мы заклеили четвертый блок. И сразу воздух сделался чище, и можно было спокойно продолжать строительство саркофага. С моей точки зрения, как инженера, это было красивое техническое решение, великолепно реализованное. Вы бы только посмотрели, как каруселью ходили над блоком вертолеты, а на земле стояли наводчики с радиостанциями, корректировали работу вертолетов.

Вторая наша задача — вы это видели в фильме «Чернобыль: два цвета времени» — убрать топливо с крыш. Это был самый страшный источник радиации. Топливо это после взрыва и пожара внедрилось в расплавленный битум крыши и «светило» вовсю. У нас эритемы на ногах появились после того, как мы по битуму походили.

— Те костюмы, которые показаны в фильме,— самодельные?

— Конечно, самоделки... Не было у нас других костюмов... Почему мы так спешили? Самое главное было — закрыть источник радиации в саркофаге. Но прежде чем

закрыть саркофаг — а его уже полным ходом возводили,— нужно было сбросить топливо с кровли в развал. Иначе куда его потом денешь? Я сейчас ясно понимаю: не сделали бы мы этого тогда, не поспешили бы, не бросили бы на эту работу солдат — все. Это топливо и по сей день лежало бы на крыше. И тогда о пуске блоков и речи бы быть не могло. Топливо, лежавшее на кровле, угрожало, кстати, и Киеву: в случае сильных ветров его бы сдувало и несло на город.

Возле блока стояли огромные западногерманские краны «Демаг». Они очень были нужны на строительстве саркофага. Наша технология роботов на кровле позволяла высвободить «Демаги» только для возведения саркофага. «Демаг» нам поставил лишь роботов на крышу, и все. Роботы... Поначалу мы на них понадеялись, но... Вы знаете этот анекдот про роботов, которые сошли с ума?

— Знаю.

— С ума они не посходили, но ума у них явно не хватало. Много было отказов... Пришлось опереться на людей. Человек был, есть и остается самой великой силой на Земле. Даже в условиях повышенной радиации».

Юлий Борисович Андреев, подполковник Советской Армии:

«28 мая 1986 года я прибыл в Чернобыль. Вошел в состав спецгруппы военных специалистов. Сам я потомственный военный, родом из Питера. Отец был военным моряком, прадед — артиллеристом. Ходит такой глас, что он служил вместе со Львом Николаевичем Толстым... Нас прибыло в Чернобыль десять офицеров. Пять человек остались на штабной работе, а пять — на станции. В том числе один врач. Ну, врач имел слишком подробную информацию, у него тряслись губы, он был весь белый и повторял одно словечко: «П-п-по-лу-тоний, п-п-полу-тоний...» И он пропал по дороге...

В Зоне я сразу же вспомнил фильм Андрея Тарковского «Сталкер». И себя мы называли «сталкерами» — и Юра Самойленко, и Виктор Голубев, и я... Все, кто ходил в самые злачные места,— сталкеры. Первое, что я увидел на станции,— собаку, бежавшую мимо АБК-1. Черная собака, она качалась, ее всю мотало, она облезла... Видимо, схватила здорово...

Нам, военным, предстояло провести тщательную дезактивацию АЭС. Но как ее проводить? Опыта не было. Мы были «голенькие» — все задачки новенькие. Что делать, например, с этими чертовыми крышами? Ведь с них «светило» так, что в помещениях, расположенных под крышами, находиться было невозможно. Особенно возросла острота этой проблемы, когда началось строительство саркофага.

Роботы давали совершенно фантастические данные, я им не верил. Надо было самому провести разведку, разобраться, что к чему. В середине июня вместе с лейтенантом Шаниным я пытался помыть одну крышу соляркой. Ничего не дало. На той крыше было еще более или менее уютно: можно было находиться 5—10 минут. Но что касается крыш главного корпуса,— на них никто не выходил. Полная неизвестность. Поэтому я решил выйти на крышу второго блока.

Правда, мне сказали, что дозиметристы там уже были. Я шел спокойно, можно сказать — безмятежно, на приборчик посматривал. Но чувство — что-то не то. Поднимаюсь по крутой винтовой лестнице к выходу на крышу. Иду в белом комбинезоне. И вдруг вижу — передо мной паутина огромная, миллиметров пятьсот диаметром, красивая, черная такая. Она у меня на груди вот здесь отпечаталась, и я понял, что ни черта, никто сюда не ходил. На что напороться мог? Могут быть такие источники радиации, которые дают мощное направленное излучение. Если такой мощный луч попадет на какой-то нервный узел, ты можешь потерять сознание. Ну, и неизвестность... Но к тому времени у меня появилось уже ощущение... как бы его назвать... распределения радиации, что ли.

Мы, сталкеры, в принципе даже не по самому уровню радиации ориентировались, а по начальному движению стрелки. В этом был профессионализм, интуиция. Когда попадаешь на мощные поля радиации, стрелка начинает двигаться. Вот она резко пошла — и ты знаешь, что здесь надо прыгнуть, здесь — проскочить быстро, встать за угол, там, где поменьше. Даже в самых опасных местах были закутки тихие, где можно было даже перекурить...

Мы там не делились — кто разведчик, кто научный сотрудник. Перед нами стояла конкретная задача. А для того, чтобы ее решить,— что же делать на крыше? — нужны были точные данные. Кто их мне даст? Ну, какое я имел право послать подчиненных, не будучи там сам? В конце июня я понял, что как ни крутись, а нужно идти теперь на крышу третьего блока, на границу с четвертым. Как раз первого июля исполнялось 25 лет моей службы в армии. Я подумал, что сегодня, ребята, пора. Больше тянуть резину нельзя, и мне надо топать на эту крышу.

Двинулись по крыше машзала. В районе первого блока было еще ничего. Легкая прогулка. Я там оставил ребят: Андрея Шанина — он парень молодой, мне не хотелось его таскать туда,— и полковника Кузьму Винюкова, начальника нашего штаба. Он вообще не обязан ходить туда, но он просился. «Хоть немного,— говорит,— пройду с тобой». Но за границей второго блока уровни начали резко расти — уже попадались куски графита.

В общем, оставил там ребят, а сам пошел наверх. На вертикальной стенке была пожарная лестница, метров двенадцать. Я по ней до половины долез и понял, что дело серьезное... После взрыва крепления выскочили из бетонной стенки, и она моталась... Со мной был прибор, а лезть по качающейся лестнице с прибором страшновато было. Высота ведь огромная.

Я был в белом комбинезоне, белой шапочке. Там подругому нельзя. Все эти дурацкие истории про свинцовые штаны — ерунда. Фантома можно послать на небольшое расстояние, метров на 15—20. Больше человек в таком одеянии не пройдет. Одни только свинцовые трусы весят 20 килограммов. А мне нужна была подвижность. В общем, залез я наверх. И первое чувство, чисто интуитивное,— здесь стоять нельзя. Здесь опасно. Я прыгнул, проскочил метра три вперед, смотрю — уровень пониже. Единственный прибор, которому я доверял,— это ДП-5. Жизнь свою ему доверял. Потом, после первого путешествия на крышу, я иногда брал с собой два прибора, потому что однажды один соврал.

Как оказалось потом, я правильно вперед прыгнул, потому что под этой площадкой, куда я вылез, лежал кусок твэла — тепловыделяющего элемента. Только не такой, как описывают некоторые ваши коллеги по перу... Один из них написал, что перед его героем лежал 20-килограммовый твэл! А твэл — это трубочка толщиною с карандаш, длиною три с половиной метра. Трубка сама из циркония, это серый такой металл. А на крышах — серый гравий. Поэтому обломки твэла лежали как мины: ТЫ ИХ НЕ ВИДЕЛ. Невозможно было их отличить. Только по движению стрелки — ага, вот она пошла! — соображал. И отпрыгивал. Потому что если бы встал на этот самый твэл, то мог бы и без ноги остаться...

Ну, я попрыгал по этой площадке, понял, что там не такие уж и жуткие, зверские уровни, и спустился вниз по лестнице. Самое главное установил. Это было очень важно, потому что открывало путь людям. Они МОГЛИ работать на крыше. Пусть малое время — минуту, полминуты — но могли. Как раз тогда Самойленко занялся очисткой крыш, и мы с ним мгновенно сконтактировались.

— Главную опасность, значит, таил твэл?

— Все тогда боялись и кусков графита. Когда я первый раз вышел на эту крышу, тоже почувствовал, что сзади что-то нехорошее. Повернулся, смотрю — в полутора метрах от меня кусок графита. Похож на лошадиную голову. Громадный. Серый. Поскольку расстояние всего полтора метра, мне ничего не оставалось, как замерять его. Оказалось — 30 рентген. То есть не так уж и страшно. До этого считали, что на графите — тысячи рентген. А когда знаешь, что только десятки рентген,— ты уже чувствуешь себя по-другому. Потом уже что я делал? Вот идешь где-то по маршруту — валяются куски графита. А ты знаешь, что возвращаться придется этим же путем. Чтобы лишний раз не «светиться», ногой его пнешь — он и отлетел. Но как-то раз я на этом погорел: на «этажерке» мне попался один, я его ка-ак двину,— а он, оказывается, к битуму прилип. Получилось как в кинокомедии.

А вообще-то трудно было. Бета-ожоги. Горло все время было заложено — хриплый голос. Но я расценивал это как элемент неизбежного риска. Ты все знаешь, все понимаешь. Когда стоишь на облучении, знаешь, что у тебя в организме происходит, знаешь, что облучение в эти мгновения ломает твой генетический аппарат, что все это грозит последствиями на раковом уровне. Идет, я бы сказал, игра с природой. Ты чувствуешь себя, как на войне. Что помогало сохранять хладнокровие? Только знания. Ты знаешь: ты сделал эту работу, ты сюда зашел, залез, «получил» то-то и то-то, а мог бы, если бы был глупее, «получить» в тысячу раз больше.

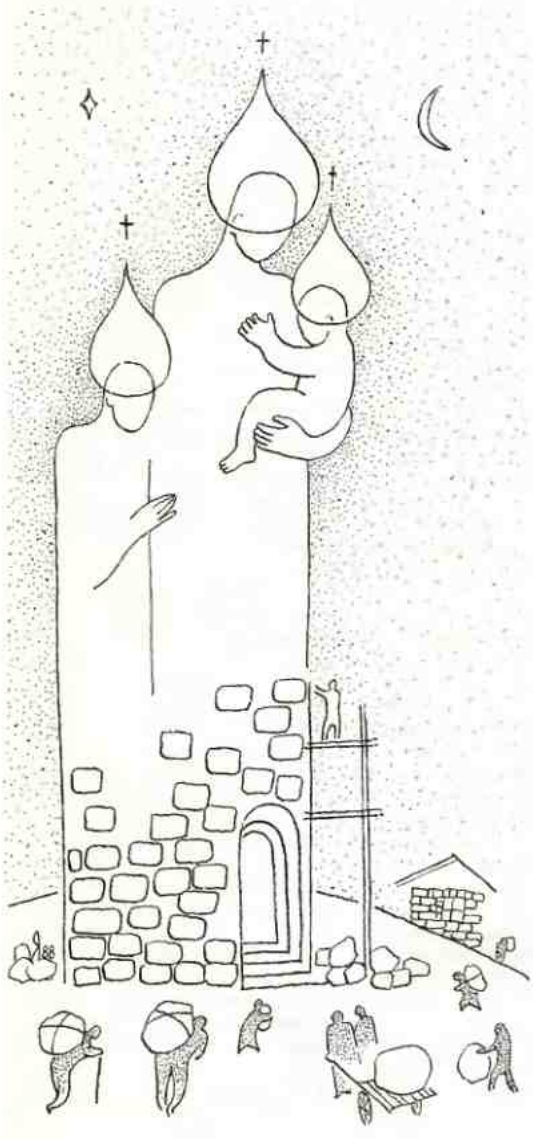
Само это ощущение очень сильное — что ты выигрываешь эту войну, что ты умеешь это делать, что можешь перехитрить природу. Вот это-то ощущение все время двигало тобою. Постоянное ощущение борьбы. И было понимание того, что ты хоть в чем-то продвинул дело на самой болевой точке планеты. Выиграл бой. Продвинулся хоть на миллиметр вперед.

Я обрел в Чернобыле чувство братства, которое возникло среди сталкеров. Теперь уже попробуйте нас с Юрой Самойленко поссорить — не удастся. Мы прошли с ним через такие вещи...

Человек сложно устроен... Что такое опасность? Она и сковывает, и на тебя давит, а с другой стороны, заставляет быстрее решать технические, инженерные задачи. И это придает тебе уверенность. Ощущая уверенность в себе как специалист, ты лучше себя чувствуешь и как человек. Я заметил: чем человек был технически грамотнее, тем он в Чернобыле спокойнее себя чувствовал».

(Окончание следует.)

№ 609110 — ЭТО НОМЕР СЧЕТА ТВОЕЙ ПОМОЩИ МОСКВЕ



Новая старая Москва — это возможно!

Еще на первом заседании «20-й комнаты» возник вопрос: «Новая старая Москва — это возможно?» И именно этот вопрос вызвал шквал читательской почты.

Арбат. Замоскворечье, Лефортово, Кузнецкий мост... Эти названия много скажут москвичу. Невозможно жить в Москве и не любить ее. Старые, кривые улочки и переулки — Солянка, Кривоколенный... И повсюду — живая история. Дома, храмы, памятники. Живые и умирающие. Больно смотреть, как гибнет красота. Красота, к которой привык с детства, без которой не можешь представить родной город.

Добровольное пожертвование на Руси было привычно: будь то сбор средств на постройку храма Христа Спасителя или на памятник Минину и Пожарскому, монумент Пушкину. И пусть целковый, пусть алтын — да вклад в одну копилку. И все по силам, если сообща.

Уже проведены огромные реставрационные работы. Но по-прежнему идут к нам письма читателей, в которых они с болью говорят о родном городе. Они убеждают: нужна скорая, незамедлительная помощь.

Редакция журнала «Юность» совместно с Управлением государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры г. Москвы учредили «Фонд реставрации старой Москвы». Состоялось первое заседание Фонда, на котором председателем Фонда реставрации избран главный редактор журнала «Юность» Андрей Дементьев.

— Куда конкретно пойдут средства добровольного Фонда? Можно ли гарантировать его вкладчикам, что ни одна копейка его не будет истрачена без пользы? — спросил корреспондент «20-й комнаты» у сопредседателя Фонда реставрации, начальника Управления госконтроля охраны и использования памятников истории и культуры г. Москвы Анатолия Александровича Савина.

— Период пренебрежения собственной историей был слишком длительным. Усилия предприняты сейчас огромные, но тем не менее сил реставрационных организаций не хватает, и целый ряд памятников ждет реставрации долгие годы. Никольская церковь в Сабурове, церковь Троицы в Конькове, Гражданские палаты на Кожевнической улице, великолепная семнадцатого века церковь Покрова в Братцеве, Гранатный двор, дом Верещагина, палаты Щербакова, дом Мельникова... Это я называю только наиболее «острые» адреса... Огромное было бы дело, если бы финансовые средства употреблялись целенаправленно. Главная точка приложения этих средств — здания-памятники, которые находятся в аварийном состоянии. И второе: люди могут вложить свои деньги в реставрацию памятников, которые не имеют арендаторов в силу своего характера,— обелиски, чугунное литье, решетки, подпорные стенки, исторические сады и парки — то, что придает своеобразие эпохе, очеловечивает город. А куда точно вложить деньги, определит Совет Фонда, учтя пожелания каждого, кто решит помочь реставрации старой Москвы.

*Фонд реставрации создан. Его счет — **№ 609110 в Москворецком отделении Промстройбанка г. Москвы.** Любой желающий может прийти на почту, попросить соответствующий бланк и, заполнив его, отослать свой вклад на этот счет.*

Заранее благодарим всех, кто захочет принять участие в создании Фонда реставрации старой Москвы. Просим сообщить нам о вашем вкладе и о ваших соображениях о том, куда можно было бы потратить деньги Фонда, на реставрацию каких конкретных памятников.

Пометка на конвертах: «20-я комната. Фонд». И еще одно: нам бы хотелось рассказывать о тех, кто помогает Москве, поэтому просим всех — будь то частное лицо, кооператив или организация — коротко написать о себе. Москва должна знать тех, кто ее любит.

Нина ШЕВЦОВА

☆☆☆

Я к вам вбегу не с тостами смиренными,
А чтоб успеть, схватить, ударить жестко
И выбить бритву из руки подростка,
Дрожащую над голубыми венами.

За чье благополучие расплата?
Кто, кто в тебе не понял ни рожна?
Прости меня. Не я ли виновата,
Что стала жизнь твоя тебе страшна?

Дай мне последний шанс. Без укоризн
Я докажу, как мысль твоя жестока.
Дороже этой жизни только жизнь,
Которая в тебе молчит до срока.

☆☆☆

Ожесточенные слепой работой,
Такие руки, и лаская, грубы.
А нежность кажется фальшивой нотой.
И не целуют каменные губы.

Свистки и окрики яслей, детсада,
Продленок, пионерских лагерей...
Какое историческое «надо»
Ковало тех железных матерей?

Железным — слава.
Но моя девчонка
Впотьмах ко мне прильнет. И, скрыв печаль,
«Грудь,— ей скажу,— не чтоб носить медаль.
Она дана, чтобы кормить ребенка».

☆☆☆

Возле самого леса
два горьких стоят интерната:
Детский дом всеми окнами
в дом престарелых глядит.
И, бетонных оград их не трогая,
мимо куда-то
Озорная людская дорога
летит.

Тени в окнах зовут не судью,
а сестру милосердья.
Хоть, возможно, кому-то
из этих больных стариков
Не хватило когда-то любви,
бескорыстья, усердья,
Чтоб в защиту от старости
дочек поднять и сынков.

И глядят в их бездомные жизни
по-взрослому строго
Постаревшие лица детей
и уснуть не дают.
О, ворвись в грустный домик ребячий,
умчи их, дорога!
Пусть хоть их
никогда не дождется
тот жалкий приют.

☆☆☆

Здесь хозяин Егорыч:
он и власть, и расплата, и суд.
Этот флигель не пахнет жильем.
Здесь обеда не греют...
Не дерутся, не плачут,
по праздникам здесь не поют.
Не ласкают детей.
У кривого крыльца не стареют...

Две пугливые тени приходят сюда —
воровать
Долгожданный мираж
и духов беспробудную горечь.
Длится шелест и шепот.
Железная стонет кровать.
Под окном, усмехаясь,
долбит огородик Егорыч.

То, что этот ей муж —
ну, конечно, она соврала.
Только днем и приходят.
А ночью уходят куда-то...
Не кричат, не стирают, не варят,—
такие дела.
Ну, а платят исправно.
И тихие, в общем, ребята.

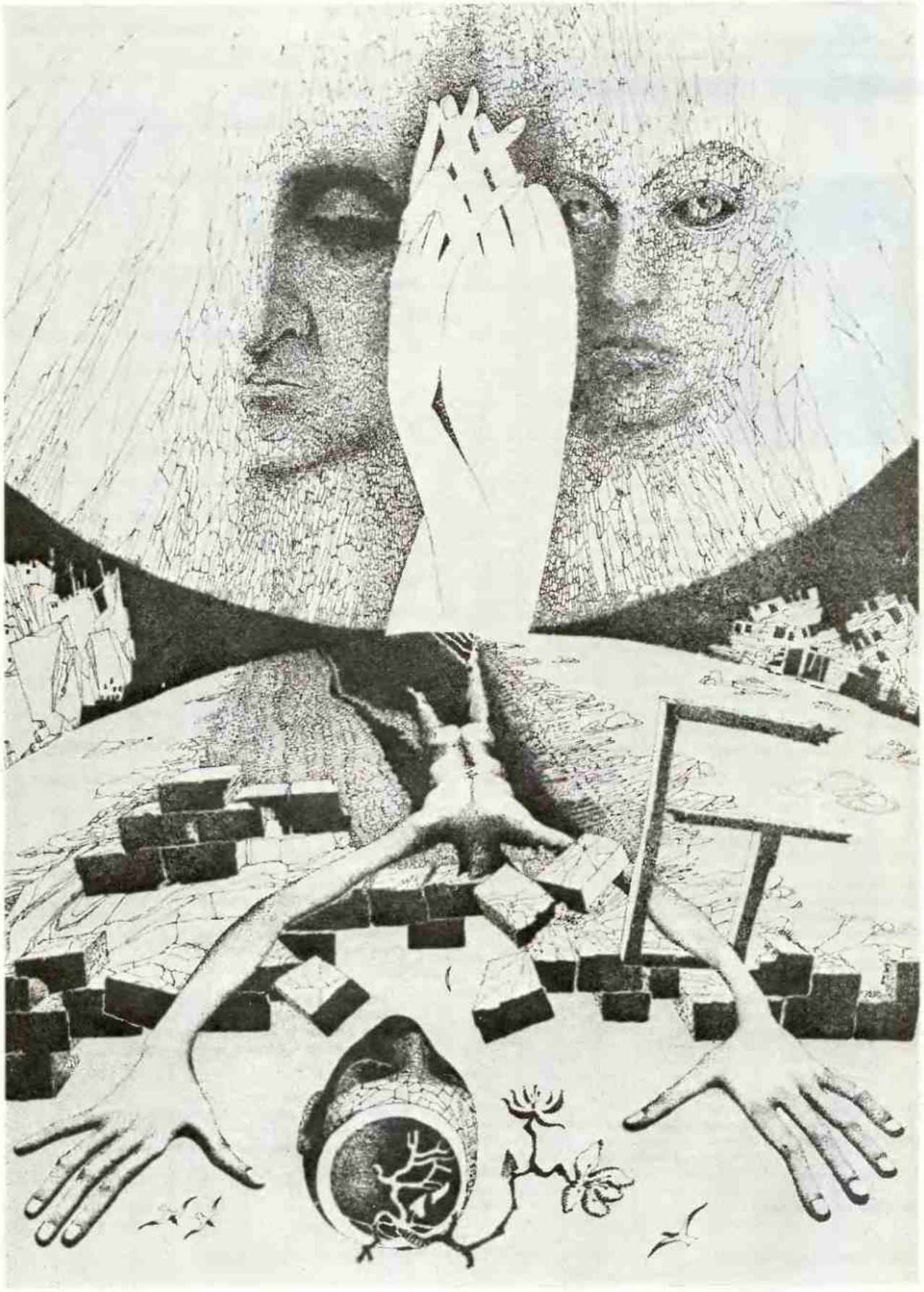
Года два, как он сдал флигелек —
пожалел голубят.
Вот идут, друг на друга не глядя.
Егорыч смеется:
«Ты когда ему сына родишь?» —
и несется из гряд
Смех и кашель глухой,
Словно стонет судьба из колодца...

☆☆☆

Две атмосферы сжаты в колесе,
Космическая пыль на стеклах тает.
По зеркалу Рублевского шоссе
Ночной мотор в Крылатское влетает.

Мгновенный лифт пронзает этажи,
Где судьбы рвут запутанные стропы.
Над всей Москвой, над пропастью во ржи
Посмертно плачет первый хрип Европы.

В «Березках» начеку свои посты,
В домах горят экраны и бюджеты...
И снова день, как вспышка бересты,
Бросок во тьму сгоревшей сигареты...



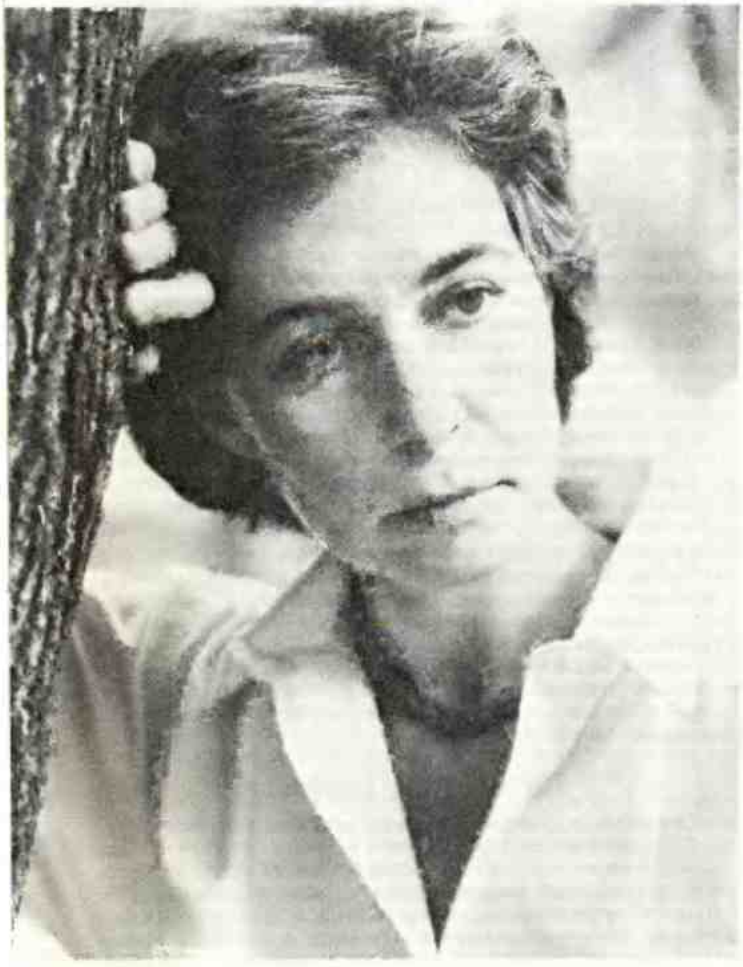


Фото Л. Шимановича

Наталья ШАНТЫРЬ

ОТТОГО, ЧТО В КУЗНИЦЕ НЕ БЫЛО ГВОЗДЯ

Размышления 35-летней

В науке об искусстве, как и во всех гуманитарных дисциплинах, важен не только предмет исследования, но в не меньшей степени и основные проблемы, выдвигаемые поколением, к которому принадлежит исследователь.

З. Лисса. Проблемы времени в музыкальном произведении

Дожили! С политических трибун зазвучали долгожданные слова: «духовный мир», «духовная культура», «духовность». И сразу же — как это уже бывало в переломные эпохи, опыт которых мы недаром сейчас вспоминаем и переосмысливаем,— в образовавшуюся отдушину с лихорадочной поспешностью ринулось искусство. Такова мощь инстинкта духовного продолжения рода человеческого.

У высокого искусства, размышляющего о вечных истинах, свои взаимоотношения со временем: концентрируя и обогащая реальность, оно сближает прошлое с настоящим и, бывает, предугадывает будущее. И все же наша сегодняшняя действительность ускользает пока от обобщений и оценок — как художественных, так, впрочем, и научных. И происходит это, думается, оттого, что все мы сегодня являемся участниками захватывающей и величественной картины Реальности, которая после долгого сна постепенно открывается нам во всей своей полноте и непознанности.

Мы сегодня заняты удивительным делом: открываем то, что многие и так знали о дне вчерашнем. И все же актуальнее всего для нас то, что происходит сегодня, сейчас. Как ни важны для нас публикации о Бухарине, Вавилове и даже Сталине, интерес к ним все же несравним со всеобщим — затаив дыхание — стремлением угадать свои завтрашние судьбы и судьбу обновления, отраженные в судьбе нашего современника, посмевшего сказать нелицеприятную правду. Сегодня требует от нас ежедневного выбора и проверяет этот выбор «не отходя от кассы». Иногда кажется, что до перестройки — реальной — как до луны, как до массовой коммунистической сознательности. Нельзя строить иллюзии: откат реален, пока не нащупаны пути нейтрализации вчерашнего и его преодоления. Надо искать. Надо думать.

О чем, собственно, эта статья

Открытое столкновение мнений определяет сегодняшнюю критику как непосредственное выражение противоречий и тенденций художественной и общественной жизни.

И лишь музыкальной критики как будто не существует вовсе.

И отсюда как будто нет проблем «серьезной» и особенно современной советской «серьезной» музыки. Как будто самой этой музыки нет — а только эстрада и рок, рок, рок... Как будто нет общественно значимых проблем внутри жизни Союза композиторов. И уж совсем лишена проблем жизнь нынешней композиторской и музыковедческой молодежи...

Раз не слышен голос профессиональной критики, раз нет глубокого, обстоятельного, компетентного разговора о возможностях и серьезных задачах музыки, его место занимают некомпетентность, демагогия и пустословие. И вот уже культурная политика государственных учреждений и финансовых организаций равняется на развлекательную пустоту, и популярные представители отечественного «бизнеса от искусства» или подростковые «лидеры», не слишком обремененные культурой, глубокомысленно рассуждают о том, как сегодня *их* музыка раскрывает богатый внутренний мир современника. Путаница страшная, подмены на каждом шагу, критерии трещат и лопаются по всем швам. Правда, изредка в печати все же проскальзывают более или менее удовлетворительные материалы о музыке, но преимущественно о классике; в последнее время, благодаря созданию Музыкального общества, несколько оживилось общественное мнение вокруг проблем пропаганды музыкального наследия и исполнительских проблем; зазвучала классика и по телевидению. Однако проблемы современного композиторского творчества «серьезных» жанров и сегодня остаются за кадром средств массовой информации. (Фантастический пример равнодушия — совмещение исполнения по второй программе телевидения произведения выдающегося советского композитора Альфреда Шнитке с телемостом «Верховный Совет — Конгресс США» по первой.) И никто не слышит, как музыковеды — критики, педагоги, ученые — буквально вопиют, требуя себе общественной трибуны для защиты серьезных целей и задач музыкального искусства. К ним присоединяются стенания композиторов по отсутствию слушателя. Глас в пустыне. Глухая стена отчуждения окружа-

ет сегодня профессиональное «серьезное» композиторское творчество, профессиональную музыкальную критику и Союз композиторов. В чем же причина этого отчуждения?

Насколько мне известно, до сегодняшнего дня не существует сколько-нибудь целостного — как говорят музыковеды — и достаточно объективного, не скованного туманными полузапретами и приспособленчеством анализа как самой ситуации, в которой оказались «серьезные» музыканты и их творчество, так и ее социально-исторических причин, а необходимость такого анализа назрела. Попытаюсь взять на себя смелость сделать попытку такого анализа: мне кажется, что я вижу взаимосвязь, никем пока еще не выявленную. При этом я ни в коем случае не ставлю задачей создать научную картину, документ: это будет лишь образ.

Не могу сказать, что пускаюсь в это рискованное плавание бестрепетно,— ведь придется постоянно обращаться к тому, что большей частью пока еще лежит в полутьме. Но я говорю себе как заклинание: «Правду говорить легко и приятно, правду говорить легко и приятно...»

Плач по серьезной музыке

Недавно мне довелось услышать от одного музыкального критика среднего возраста, всю свою профессиональную жизнь занимающегося советской музыкой: «Я бы поостереглась сегодня выделять что-либо как наиболее яркое: одному нравится одно, другому — другое; и вообще я считаю, что у нас сейчас нет музыки первого сорта».

А может быть, действительно и говорить не о чем?

Нет! Есть и сегодня «золотой фонд», из которого что-нибудь да прорвется сквозь время. Оставим на профессиональной совести уважаемого критика то, что он не слышит.

Современная советская серьезная музыка созвучна нашей сегодняшней большой литературе. Достаточно назвать имена Шнитке, Канчели, Пярта, Тертеряна, Сильвестрова, Сидельникова, Тормиса, Б. Чайковского, Эшпая, Свиридова...

Пути становления нового музыкального сознания за последние три десятилетия были далеко не прямыми. Поначалу бурные технологические эксперименты 60-х годов отразили информационный взрыв в умах, вызванный падением «железного занавеса». В музыкальном творчестве того времени, осмысливающем новые горизонты культурной информации и техники композиторского письма, рационализм эксперимента часто заслоняет — особенно для музыкантов молодого поколения — традиционное понимание музыки как искусства, прежде всего выразительного.

Когда увлечение экспериментированием стало спадать, обнаружилось, что... нарушились механизмы интуиции — музыка утратила естественность интонации. В начале 70-х годов в «серьезном» композиторском творчестве остро встала проблема «интонационного голода».

Выход из кризиса парадоксальным образом обозначился в «композиторской моде» на использование цитат: легко узнаваемые, интонационно яркие, содержательно емкие, вызывающие у слушателя культурные и эмоциональные ассоциации, они быстро прижились и, поначалу отделенные от «авторского слова» историческим барьером, оказались в конечном счете способными самой своей традиционной природой воздействовать на глубинные процессы музыкального мышления, раскрепощая механизмы интуиции. И уже не цитаты, а тончайшие ассоциативные намеки придавали авторской мысли дополнительную глубину, уподобляя форму ее изложения притче или мифу. В музыке второй половины 70—80-х годов (на первый взгляд более эклектичной, чем когда-либо прежде) недостаток интонационной самобытности компенсируется богатейшей ассоциативностью. Осмысливая свое индивидуальное бытие, свое место в стремительно меняющемся мире и в истории духовной культуры, человек приводит эту историю к общему знаменателю с современностью. Так «заимствования» оказались поиском нового содержания: человек на новом уровне обретает ту целостность, которая является насущным условием существования его как *личности*. В 70—80-е годы в музыке все больше проступают черты исповедальности.

Я думаю, значение музыки в жизни общества определяется прежде всего тем, что она служит средством обмена духовными ценностями между людьми: заложенная в ней эмоциональная информация, воспринимаясь на слух, становится основой для общения, общности, объединения в коллектив. Сегодняшняя «серьезная» музыка, во многом ориентированная на классические образцы, способна обращаться к самому широкому слушателю, она способна вступать во взаимодействие с эстрадой и с рок-музыкой, но при этом она требует от своего слушателя активной интеллектуальной работы, парадоксально сочетая демократизм общезначимых идей с элитарностью, с требованием подготовленности и высокой культуры воспринимающего сознания.

А между тем распространение в быту магнитофонов, транзисторов и так далее породило всеобщую привычку к непрерывному звуковому фону. В результате даже самое значительное и актуальное содержание массовым музыкальным сознанием не воспринимается: акт восприятия низводится до уровня потребления.

Да, социальные предпосылки к тому были и раньше. Когда в 60-е годы наряду с музыкальным «авангардом» (интересным больше с позиций профессионального освоения) на неподготовленного слушателя хлынул поток новых демократических тенденций (эстрада, джаз, рок и поп-музыка), исподволь началось отчуждение широкого слушателя от языка «серьезной» музыки. И, пока она была занята своими внутренними, действительно насущными проблемами, оказалось, что окружающий мир неузнаваемо изменился.

Сегодня «серьезная» музыка вынуждена занимать круговую оборону, защищаясь от рок-музыки, обладающей средствами объединения гораздо более сильными, физиологически воздействующими на сознание, на подсознание — на инстинкты толпы. А также от моря серости, псевдосерьезной и псевдоразвлекательной. А также от управленческой некомпетентности, от упадка общей культуры, от краха системы эстетического воспитания. В кризисе концертно-филармоническая жизнь; в ужасном состоянии оперное дело; радио и телевидение занимают позицию, ориентированную на дурной любительский вкус. Многие музыканты, особенно молодые, считают, что ситуация просто катастрофическая. Музыка в голос кричит о самом насущном — о том, что и откуда грозит человеческому в человеке, а ее не слышат...

Где же вы, защитники, проповедники, пропагандисты, темпераментные, раскованные, общительные? Где вы, критики — серьезные исследователи, судящие непредвзято, творчески, обладающие широкой культурой, способные слышать в музыке ее сегодняшнее содержание, уверенные в необходимости и жизнеспособности своего «подзащитного» искусства? Старшее, глубокоуважаемое поколение, почему вас не слышно? Молодые, где вы?..

Из истории советской музыки

Это была присказка. А теперь начинается сказка.

Мы волей-неволей обращаемся назад, к эпохе, наследие которой мы измеряем и, несомненно, всегда будем измерять как результатами нечеловечески напряженного труда, так и ущербом, нанесенным общественной и культурной жизни страны. Это было: личный антагонизм под маской не просто эстетической, но идеологической непримиримости; критика, влекущая за собой тяжелые административные последствия, равнозначная доносу; публичные аутодафе с вынужденным зароком отказаться от «ложных» творческих принципов.

Все это было и в музыке. Моральный и физический ущерб, нанесенный такими «методами», неизмерим. Прокофьев, например, неизлечимо заболел от такой критики. И прежде всего это отбитая охота к честному высказыванию: у наиболее порядочной части интеллигенции — вынужденное молчание; и — как результат — утрата духа свободной творческой дискуссии, лицемерие, в конечном итоге пошатнувшееся чувство собственного профессионального — и человеческого — достоинства.

Почуяв опасность, музыкальная наука начиная с 30-х годов консервирует социологические, психологические, культурологические аспекты исследования и погружается в безопасную (интересную только узкому кругу специалистов) сферу изучения музыкальной формы. Даже основатель теории смысловой значимости интонации Асафьев решается продолжать исследования только на «нейтральном» материале русской классики. В результате возникает разрыв, с годами перерастающий в пропасть,— между теорией, не желающей «ходить в лес» советской музыки, и музыкальной критикой, историей советской музыки, музыкальной эстетикой: во взгляде на советскую и современную зарубежную («буржуазную») музыку, в критериях оценки музыкального творчества, отчасти и во взгляде на историю музыки вообще укореняются конъюнктурность, профанация специфики музыкальной идеи, музыкального образа, плоское, вульгарное

идеологизирование: «Эта музыка наша, пролетарская, соцреалистическая, а эта не наша — бей их, ату!»

Что же до творчества... В 1945 году Шостакович закончил Девятую симфонию. После грандиозных апофеозов-преодолений двух «военных» симфоний все ожидали от него воспевания триумфа Победы — это было бы естественно в атмосфере всеобщего ликования и радостных надежд. А вместо этого какой-то игрушечный мирок в первой части, какой-то цирковой галоп в финале... Шостаковича били в жизни неоднократно — и в 30-е, и в 40-е — за «нездоровый интерес» к глубинным движениям темной, но рвущейся к свету души (опера «Катерина Измайлова»), за «фальшь» в отображении светлой социалистической действительности (балет «Светлый ручей»). В шестидесятые положили на полку его Тринадцатую симфонию. Но в тот раз его били потому, что *не поняли*. А если бы поняли?..

В третьей части Девятой симфонии вдохновенный призыв трубы возглавляет бешеную скачку, увлекая ее к ослепительно ясной цели. Призыв рождает отзвуки; однако, отдаваясь в них, мелодия утрачивает свои чеканные очертания; в ней уже не ощущается такой целеустремленности. и, «тиражируясь», она теряется в хаотических блужданиях в тумане. В наступившей тьме звучит голос карающей предопределенности, бороться с которой бессмысленно (4-я часть). Оттого и в ответе человеческого голоса — фагота — слышатся смирение и сломленность. Света нет. Одиночество. И человек идет на компромисс: он надевает маску и становится перевертышем в балаганном мире чудовищных оборотней (финал). Этот мир рухнул на героя, придавив и его автора, в Десятой симфонии — в 1948 году...

Таково было Время: многие испытывали душевный дискомфорт оттого, что не рисковали откровенно говорить подчас с самым близким человеком, потому что каждый мог исчезнуть среди ночи навсегда. И одновременно вся страна — включая этих же самых людей — жила наглядно демонстрировавшими метод социалистического реализма — «изображение жизни в свете идеалов социализма»— фильмами Александрова и вдохновенными песнями Дунаевского. Песня — в силу специфики жанра — может быть высокоталантливой и при этом равняться на политическую конъюнктуру, сочетая черты лирики и лозунга; симфония — никогда. Такой уж это жанр, что он до самого дна высвечивает композитора: есть ли у него *свой*, особый взгляд на мир. Нет своего мира, нет особого мнения — нет и симфонии.

Политическая конъюнктура с ее административными санкциями требовала жизнерадостного пафоса созидания. Что мог предложить в ответ небездарный художник, не могущий не замечать ночной (как бы сегодня сказали — «теневой») стороны сказки, делаемой былью? Очевидное посерение общего уровня музыки послевоенных лет, как мне представляется, отразило разъедающее воздействие конъюнктуры на самостоятельно мыслящих. Попытки «вжиться» в конъюнктуру, в административные требования — искренние ли, вынужденные ли — не способны были дать ту степень художественной глубины, которая и делает искусство искусством. С этого времени в «серьезной» музыке (впрочем, как и в других искусствах) укореняется демагогически фальшивый, законсервированный пафос созидания.

...Вот парадокс: не исключено, что жанр симфонии обязан тем, что сохранился в нашей стране до 70-х годов, как, вероятно, нигде в мире, именно этой «законсервированности» своей идейно-образной сферы. Именно эта сохранность облегчила ему в 70-е, несмотря на пережитые кризисы и радикальные трансформации, и возможность подлинного возрождения.

Семидесятые

В «Записных книжках» Ильфа несколько раз проходит мотив: «Страна непуганых идиотов»; потом вдруг: «Самое время пугнуть». И пугнули...

Вот, казалось бы, волшебный сон вне времени и пространства прорвали живительные тенденции 60-х годов. Но в бой против «угрозы стиляг-авангардистов» бросается армия консерваторов, использующая как административные запреты, так и — в качестве дубинки — авторитеты отечественной классики, наведя на них хрестоматийный глянец. В официально санкционированной иерархии музыкальных авторитетов первое место — по праву — занимают Прокофьев, Шостакович, Хачатурян. Да, Шостакович становится прижизненным классиком. И все-таки, с точки зрения чиновников от искусства, в его творчестве так до конца жизни и остается привкус «неудобства»: неудобна Тринадцатая симфония на стихи Евтушенко (там, в частности, есть такие строки. «Еврейской крови нет в крови моей. Но ненавистен злобой заскорузлой я всем антисемитам, как еврей, и потому я настоящий русский!»); скандально неудобна своими едкими характеристиками ныне здравствующих сильных мира сего изданная за рубежом книга его воспоминаний, сомнительная по происхождению, но подчас поразительно «шостаковичевская» по интонации (якобы Шостакович неоднократно беседовал с ее составителем, отбывавшим навсегда за рубеж, и завещал ему издать эти беседы после своей смерти).

Ах, если бы понимали оборотни, какую правду несет в себе «серьезная» музыка, пользуясь тем, что ее уже почти никто не понимает! Они бы запретили ее вообще — на всякий случай. В творчестве Шостаковича 70-х годов человек устал от бесконечной борьбы, устал от того, что его бескомпромиссная обличительная мощь не в силах пробить глухую стену тумана, которым вновь заволакивает все кругом. Но противоборство не кончено, оборвать его может только смерть, и потому вплоть до 1975 года — до своего ухода — композитор продолжает вглядываться в этот все более сгущающийся туман, продолжает на ощупь отражать удары извне, пытаясь мучительно понять, где же враг. Если прежде социальная, мещанская природа зла казалась ясной, то теперь определенность растворяется во мгле, порождая ощущение зла как всеобъемлющей, загадочной силы, глубоко проникшей в самого человека. Маска, которую человек надел в Девятой симфонии, съела его, наглухо замуровала в склепе самого себя; стены отражают голос, делая его неслышимым для окружающих. Есть только один выход — в вечность космоса. Смерть — освобождение. Но мысль не может смириться, и человек продолжает бороться в полном одиночестве, опустошенный, теряя и вновь собирая все свое мужество, падая и вновь поднимаясь.

...Такое вот предупреждение: компромисс — пусть даже во спасение жизни — аморален по самой своей природе, так как поддерживает существование зла; и потому расплата за него — утрата веры в свет. Сам композитор в повседневной жизни вне творчества неоднократно был вынужден идти на компромисс...

...Мы говорим о застое 70-х годов. А хорошо ли мы себе представляем те процессы, что скрываются за этим словом? Хорошо ли мы, музыканты, представляем себе, *как* шло в 70-е годы разрушение наших профессиональных критериев рука об руку с процессом дискредитации перед массовым слушателем нашей профессиональной компетентности?

А ведь именно в эти годы начал повсеместно загнивать пафос созидания — от длительной спекуляции на высоких идеях, от профанации глубины этих идей, от пропаганды под их прикрытием откровенных поделок. Именно в 70-е годы окончательно сложился — не только в музыкальной среде — тот порочный круг номенклатуры (композиторы говорят: «попасть в обойму»), который никак не разомкнется и сегодня,— круг фамилий, в котором престиж, измеряемый качеством деятельности, постепенно был подменен престижем, измеряемым по умению «устраиваться», чуять нюхом политическую и рыночную конъюнктуру, умению быть собственным менеджером (тоже, конечно, своего рода «творчество»). Именно в 70-е музыкальная критика окончательно утратила чувство реальности, не утрачивая при этом непреложной веры в собственную непогрешимость. Увы, это был логичный шаг на долгом пути подмен: многократный разворот на 180 градусов диктуемых «сверху» оценок, влекущий за собой потрясения и конфуз приспосабливающихся к ним весьма солидных музыковедов, привел к особого рода профессиональной осторожности — к цеховой узости, «внеконтекстности» высказываний. Отсюда «усредненность» оценок (да и самого стиля изложения), которая часто стала подменять само понятие профессионализма. Внутренние критерии профессиональной честности и искренности, имеющие для критика то же значение, что клятва Гиппократа для врачей, сдвинулись и «поплыли». Единственным действительно непреложным критерием для критики стало обслуживание цеховых амбиций. В оценке «обоймы» возобладали либо штампованные, гулкие и мало что означающие похвалы, либо осторожное похваливание откровенно слабого (следующим шагом было его бесстыдное возвеличивание). В оценке остальных — нейтральность, прикрывающая равнодушие и настороженность, и... полное отсутствие критериев для оценки нового. Потому критика — в отличие от музыкальной науки — и проглядела глубинные изменения

в композиторском мышлении 70-х годов (отсюда: «У нас нет музыки первого сорта...»).

В сравнении с упадком музыкальной критики достижения музыкальной науки в эти годы представляются значительными. Именно в 70-е она теоретически осознала себя как науку гуманитарную, гуманистическую, способную раскрывать путем анализа смысл, реальное человеческое содержание музыкального произведения. Однако практически музыковедение остановилось в нерешительности перед анализом «внемузыкальных» аспектов современной советской музыки: сработал инстинкт самосохранения — наследие прежних лет...

...То было время вынужденных иносказаний в искусстве. Но уже в который раз в нашей духовной истории препятствие обернулось открытием: эзопов язык породил убийственную силу метафоры. Бессловесный язык музыки обогатился новой, более высокой конкретностью звуковых образов и одновременно новой глубиной философского обобщения. И в отличие от иных искусств, пользуясь тем, что ее, в сущности, в полной мере понимают только «посвященные», «серьезная» музыка 70-х годов говорила правду в полный голос, предупреждая имеющих уши о происходящем в обществе катастрофическом разложении человеческих ценностей. В финале Кончерто-гроссо № 1 Альфреда Шнитке глухой ропот и малейшие проявления человеческого чувства каждый раз пресекаются деревянным стуком — как будто падает крышка гроба. Траурная революционная песня (напоминающая одновременно «Замучен тяжелой неволей» и «Вы жертвою пали») звучит булгаковски гротескным реквиемом, в котором трагизм переплетается с гулкостью и пустотой. И банально-«рыдающая» интонация окончания песни — намек на ресторанный романс — разрастается в приторное мещанское танго.

Духовность обладает удивительным парадоксом: истина ярче светит во тьме. Общество погружается в летаргический сон, а музыкальное творчество уходит в другое измерение, где не властны законы внешнего мира, где все сбалансировано и выстроено мудро, где царствуют законы экологии и одухотворенности.— во внутренний мир, освещенный тихим светом гармонии. Этот уход, получивший название «неоромантизма», был естественной человеческой реакцией на распространяющуюся в обществе бездуховность. Человек приобщал свой внутренний мир к миру истории культуры и природы, чтобы выстоять — духовно развить свою личность и подготовить ее к столкновениям с внешним миром. С 1975 года — года смерти Шостаковича — в «серьезной» музыке все шире проявляется воздействие его личной позиции, его требования от себя правды и только правды во что бы то ни стало. Советский «неоромантизм» ознаменовал собой новый этап — этап зрелости общественной позиции поколения «шестидесятников». Так, если в Четвертой симфонии грузинского композитора Гии Канчели (1975) внутренняя хрупкая гармония и внешние катастрофы пребывают в эпическом равновесии, то Пятая (1976) — гибель этого островка гармонии и плач по нему. Симфония носит название «Памяти родителей».

...Исподволь подтачивалось доверие широкого слушателя к «серьезной» музыке. «Сумбур», «формализм», «какофония» — все эти слова звучали со столь высоких трибун, что не поверить им было просто невозможно. Не способствовали росту уважения к творческим принципам «серьезных» музыкантов и их публичные покаяния.

Критика подлила масла в огонь тем, что, по выражению Луначарского, долгое время кормила массы, пользуясь их неразвитым эстетическим вкусом, «солянкой из тухлой кошатины, называя ее революционной и подавая ее на красном блюде»; в 70-е годы солянка стала вконец несъедобной, но заодно с ней стала вызывать идиосинкразию и настоящая духовная пища. Настало время дискредитации классики. В 80-е дело дошло до того, что, включив радио или телевизор и услышав звуки классической музыки, мы понимали, что скончался очередной вождь...

И вот в то время, как «серьезная» музыка ориентировалась на идеальную, всесторонне духовно развитую личность слушателя, а музыкальная эстетика упивалась созданным сю миром («Интересы социалистической культуры, вдохновляемые идеалом всесторонне, гармонически развитой личности, определяют общественную ценность музыки в социалистическом обществе»; или: «Сохраняя свои позиции в филармонических и эстрадных залах, на сцене музыкальных театров и усиливая их благодаря радио, телевидению и звуковоспроизводящей аппаратуре, музыка все шире проникает в самые различные сферы практической жизни...»), выросло поколение советских людей, активно не принимающее «серьезную» музыку. В недрах культуры так называемого социалистического реализма подпольно вызревала совсем другая культура, в которой неприятие лжи перемешалось с нигилизмом, скепсисом, опустошенностью и агрессией.

Я беспредельно далека от того, чтобы огульно охаивать «притчу во языцех» нашего времени — рок-музыку. Мне повезло: в начале 70-х мимо меня чудом не прошли такие замечательные, классические рок-группы, как «Генезис», «Кинг Кримсон», «Йес», «Пинк Флойд», «Махавишну», «Джетро Талл», не говоря уж о «Битлз», не менее глубоко, чем «серьезная» музыка, осмысливавшие коренные вопросы бытия. Жаль, что у нас в стране рок из-за своей «подпольности» принял уродливые формы. Если бы в свое время наша молодежь имела широкую возможность свободно знакомиться с лучшими образцами западного рока, это наверняка прибавило бы ей вкуса, а возможно, во многом избавило бы наше общество от тех ужасающе воинственных проявлений молодежного бескультурья под видом рок-культуры, с которым оно сегодня не знает, как сладить...

Молодежь и общество

Для того, чтобы личность состоялась во внутреннем, духовном плане, ей необходимо обрести твердые этические критерии. Для того, чтобы личность состоялась как деятельная, творческая в обществе людей, ей необходимо сознание соответствия своих внутренних оценок общепринятым. Молодость — это время социальной обработки: из окружающей его жизни молодой человек черпает те положительные или отрицательные общественные критерии, с которыми в процессе взросления будет соотносить свои внутренние максималистские установки. Высокое поверяется повседневностью, и часто это процесс далеко не безболезненный. Найти себя, стать самостоятельным и ответственным — значит установить для себя грань между компромиссом и бескомпромиссностью. С этой точки зрения в облике каждого поколения можно найти общие, типичные черты, в которых отпечаталось «состояние здоровья» всего общества на той стадии его развития, когда формировались жизненные установки данного поколения. Какое общественное наследие — в окружающей действительности и в генах — приобретает молодой человек, входя в жизнь? Заинтересовано ли общество в творческой энергии личности или сковывает ее всяческими регламентациями, удерживая в неведении относительно прав и реальных возможностей действия?

В чем причины пассивности моего поколения сегодня? В той ли раздвоенности, которую приносили из внешнего мира в дом родители, инстинктивно старающиеся уберечь детей от этого мира и потому невольно сужающие их мировоззренческий кругозор? То, что у родителей было вынужденно приобретенным, дети впитали «с молоком»; негативный опыт свободомыслия одних вызвал теперь уже подсознательный механизм торможения свободомыслия у других, выразившийся в молчании, в инстинктивном уходе от социальных тем и проблем, в аполитичности. Или дело в авторитарном стиле школьно-вузовского воспитания, равнодушно-лозунговом, профессионально-узком, порождающем конформизм, нигилизм и пассивность? Или в конъюнктуре, номенклатуре и опять-таки конформизме, в демагогии и зажимании самостоятельности, с которыми сталкивался выпускник вуза, выходя в широкую жизнь 70-х годов? Или в ощущении, что ни в своей среде, ни шире никто нами не интересуется, разве что для «галочки»; что голос наш ничего не значит?

Думаю, одаренному человеку препятствия даже на пользу: на них оттачивается стойкость творческих принципов; преодолевая их, художник понимает, что он должен сказать и как, и тем самым приобретает право на выношенный дебют. Только сильные личности способны писать «в стол» и при этом продолжать расти. Однако может ли «молодое дарование» пробиться сегодня само? Боюсь, что нет, иначе где они, молодые дарования?.. Правда, ряд моих сверстников-композиторов, как представляется мне, все же ухитрился пробиться к творческой зрелости; кроме того, несколько лучше обстоит дело с молодыми кадрами в академической музыковедческой среде, но и здесь нет той общественной трибуны, резонанса, который действительно бы стимулировал творческий рост. Молодой же музыковед-критик полностью блокирован: как извне (предвзятым отношением прессы к вопросам профессионального музыкального творчества, требованием бойкого изложения, учитывающего вкусы мас-

сового потребителя), так и полным равнодушием профессиональной среды. Сегодня главная претензия, перерастающая в обвинение молодому критику, — «сырость» и инфантилизм. Но почему же, черт возьми,— извините! — нельзя публиковать то, что пусть и сыро, неровно, даже несовершенно, но интересно, оригинально и дает представление о растущем авторе? Понимаю, что это риторический вопрос, ведь ответ на него известен: потому что в среде художественной интеллигенции вырос свой бюрократический слой — клан редакторов. Блюстители усреднения, они вместо того, чтобы растить молодых авторов, наглухо блокируют все новое, не укладывающееся в рамки.

Все, круг замкнулся: уделом поколения творческой интеллигенции, сформировавшейся к началу 80-х годов, стали общественная пустота, вакуум, отказ в праве на дебют. В результате, пока «молодой» мучительно ищет выходы вовне и подстраивается под существующую бюрократическую конъюнктуру, пытаясь отстоять хотя бы остатки своего попранного творческого достоинства,— молодость, а с ней и желание расти проходят... Мало того, без резонанса, без отдачи оценка себя сужается только до самооценки. «Сидя в столе», можно ведь и замариноваться. Отсюда «сады инфантилизма», и по сей день пышно цветущие в творчестве нынешних 40-летних писателей и поэтов. Хорошо если у молодых не атрофируется способность к автономному развитию вглубь. Однако без общественных критериев такое развитие «вещи в себе» может привести и к отклонениям в психике. (Не потому ли именно в 70-е годы в психиатрии такое распространение получил огульный диагноз «шизофрения» по отношению к неординарным молодым?) И будет эта болезнь благоприобретенной. Впрочем, все это относится к тем, кто думает: горе уму, которым не интересуется никто...

Демагогия чрезвычайно опасна психически: она порождает графоманию мышления. В душе фанатиков, поверивших в плоские демагогические догмы как в последнюю инстанцию истины, неизбежно происходит нравственная деформация. «Души глухонемые, цепные, легавые, окаянные; душевнобольные, у которых нет души» — так характеризует Дракон в одноименной пьесе Е. Шварца свои жертвы, которые хочет спасти благородный рыцарь: для того, чтобы их спасти, мало убить Дракона — надо еще и в каждом человеке убить дракона... Душевная ущербность порождает одновременно с бескультурьем и мещанскую претензию: препятствуя интеллектуальному росту, догматизм усиливает тягу к назиданию. Безгласие вырабатывает психологию *обывателя:* пассивность, нежелание борьбы, леность ума, равнодушие к решению жизненно насущных проблем, уход от них. Родители уходят в «вещизм», дети — в молодежную подпольную субкультуру. И при этом нравственное равнодушие приводит к поразительному феномену — *воинствующей инертности,* когда потребность быть как все приводит к потребности, чтобы все были как все. Уже не просто равнодушие к новому, но агрессивное нежелание его. Это оно, десятилетиями выпестованное болото, упорно саботирует сегодня государственные преобразования; это оно, выдрессированное на травле «кулака», «вредителя», «врага народа», предпочитает жить совсем без мяса или ездить за ним в столицу из любого конца страны, лишь бы не дать ближнему (в данном случае кооператору) быть не как все. Нет нужды говорить, что именно на таком болоте во все исторические времена и вырастали цветы зла — от инквизиции до сталинизма, фашизма и...

Люди как люди, или Еще раз то, без чего нельзя понять ничего

Думается, что читатель журнала уже устает — особенно после жарких событий прошедшего лета — от нескончаемой критики и политических диспутов и ждет передышки. Но нет у нас права на передышку. Едва мы самоуспокоимся, время начнет работать не на нас. Нет, не хватит критиковать нам ни прошлое, ни особенно настоящее. Пока не станет совершенно ясно, с чем же и как надо бороться тем, кто хочет, чтобы прошлое действительно стало необратимым; пока мы ясно не увидим, чем же это прошлое обернулось в сегодняшнем дне, мы не поймем себя и не сможем сделать ни шагу вперед.

Ну вот, на свой страх и риск я попробую здесь обрисовать некий собирательный образ. Судите сами, насколько он соответствует действительности. Если же, по-вашему, я не прав — возражайте. Но думайте. Ведь если вы увидите точнее — это будет на руку нам всем.

Как мне представляется, один из важнейших законов существования бюрократии — закон стихийности информации (дезинформации). Действительно: классический тип бюрократа отличается прежде всего нюхом на бюрократическую конъюнктуру. Более того, это не просто отличительная черта, но основополагающее качество, проявляющееся даже во внешнем виде, благодаря которому функционеры-бюрократы узнают себе подобных. Исходя из этого, добросовестность, мораль, компетентность бюрократу просто не нужны: его два «кита» — что хочет начальство и что выгодно себе. Все, что надо бюрократу,— это обезопасить себя от недовольства начальства. Реальное, нужное людям дело, которым он якобы ведает, его не интересует. Отсюда искажение информации по мере ее продвижения как вниз, так и наверх, порождающее стихию планирования и отчетности. Реальная информация бюрократии вредна; отсюда ей не нужны ни наука, ни искусство, она поощряет в них только то, что на ее некомпетентный взгляд может сработать на ее пропаганду. Бюрократия поощряет искаженную, «пропагандистскую» информацию о реальном состоянии дел, рассчитанную на массы. Обо всем этом писалось. А теперь я вступаю на зыбкую почву и начинаю всматриваться во тьму.

Для того чтобы не утратить контроль над реальностью, бюрократии все же необходима реальная информация. Отсюда системы информации ТАСС для всех и для внутреннего пользования — для «своих». И еще третья система информации, без которой никакая бюрократия существовать не может,— система тотального тайного надзора: как не я одна догадываюсь, вездесущая тайная полиция (в истории нашего государства имевшая такой мощный дополнительный источник информации, как тотальное доносительство, порожденное страхом и воинствующей инертностью) на всякий случай копит досье на всех. Второй закон бюрократии: подозрительность «верхов» и культивирование ими во всех слоях общества страха перед неизвестным... Но здесь в действие вступает первый закон бюрократии и «наверх» подается информация, искаженная личными пристрастиями. И тогда объективная информация становится «золотым фондом», выдаваемым самым верным. Кому же?

Прежде, при Хозяине, все было ясно. Это он являлся стержнем всей «кадровой политики»; он обладал неограниченными полномочиями сегодня миловать, завтра казнить. И это только ему лично было подотчетно «государство в государстве», в подземельях и в лагерях которого пропали миллионы лучших только за то, что они были лучшие. Он сам был глубоко пристрастен, и ничего удивительного, что его стиль руководства копировался по всей стране хозяевами всех рангов, чей произвол усугублялся психологией временщиков, вырабатывавшейся в них в результате «искусственного отбора». Может быть, кстати, и повсеместное доносительство объясняется манией обывателя доказать, что и он хозяин, что и от него что-то да зависит, пусть даже жизнь соседа.

Но вот Хозяина не стало. Одиннадцать лет понадобилось обезглавленной, но, видимо, к тому времени уже гениально отлаженной им с точки зрения «человеческого фактора» системе, чтобы заставить время, рванувшееся вперед из тисков прошлого, вновь остановиться. Но эта остановка, горячо желаемая явными и тайными поборниками старого, конечно же, в действительности была фикцией. Упущенное время стремительно наверстывало свое: распад гигантского механизма, рассчитанного на то, что стержнем его является лишь одна-единственная, конкретная личность, был предопределен. Когда административные законы теряют связь с реальностью, ею стихийно начинают управлять другие — реальные — законы. Процесс коррозии бюрократической системы начался.

Мы еще сегодня только подступаем к анализу главного «завоевания» 70-х брежневских годов, к механизму коррупции, когда детали административно-хозяйственной машины, лишенные стержня, завращались каждая в свою сторону, взаимно стирая шестерни народного хозяйства; когда то, что в зародыше содержалось в сталинском административном механизме, вышло наружу и сфера управления (чем?) и все разрастающаяся сфера обслуживания (кого?) осознали взаимовыгодность.

«Человек со связями», «нужный человек», «деловой человек», «пробивной человек» — все эти понятия определяют одно: человека Системы (механизма). Что же это за Систе-

ма? Вернее — мы ведь знаем ее генезис — какой вид она приняла теперь?

Огромное количество граждан нашей необъятной Родины, до 16 и старше, сознательно или бессознательно принимают участие во взаимном «теневом» перераспределении народных благ и нетрудовых доходов. Все общество Система делит на «своих» и «чужих» и одновременно связывает все слои общества единой круговой порукой. Чиновники государственных, партийных и общественных организаций, торгово-хозяйственные круги, рабочие и труженики села, ученые, деятели культуры и педагоги, студенты и подростки. При этом шанс войти в Систему имеет только тот, от кого что бы то ни было *зависит*.

Внутри себя эта Система неукоснительно осуществляет коренной принцип социализма: от каждого — по способностям («достать», «устроить»), каждому («своим») — по общественно необходимому труду (в общем деле перераспределения). Больше того, можно с уверенностью сказать, что члены этой Системы живут при развитом социализме и даже почти что при коммунизме, так как Система способна удовлетворить практически все их потребности и решить все их проблемы («достать» — что угодно; «устроить» — куда угодно). Правда, и в ней еще не достигнуто полное равенство и существует своя иерархия — по степени нужности обществу (опять-таки — не забывайте — обществу «своих»: кого-то «устраивают» за взятку, а кого-то — в порядке «натурального обмена»; чем «чужее», тем труднее и дороже). Их совесть совершенно спокойна: принцип справедливости в распределении (перераспределении) благ осуществляется неукоснительно (кто не имеет «дела» и связей, тот не ест дефицита, не путешествует в хорошей каюте, не ходит на хорошие спектакли); товар доходит до потребителя (только до нас с вами не всегда доходит; как сказала одна простодушная буфетчица: «Самим не хватает»).

Вывод: огромное количество людей, участвующих в этой Системе — замкнутой, сбалансированной и самодостаточной (*их* труд по перераспределению *им* общественно необходим),— свято убеждены, что именно это и есть социализм. И другого им не надо. Отсюда столь упорное противодействие перестройке.

Что касается правовой основы внутри этой Системы, то, предоставляя своим членам множество привилегий, она при этом жестко блюдет себя, регламентируя сам стиль жизни и контакты — вплоть до личных, по существу, превращая своих адептов в своих рабов: даже на отдыхе они продолжают «делать дела». Выключиться из этой Системы чрезвычайно трудно; своих членов она держит под неусыпным контролем (впрочем, как и остальных членов общества) и в любой момент может пустить в ход против любого информацию — как искаженную, так и реальную: ведь в нее входит и тайное ведомство, которое сегодня, хотя и не располагает неограниченной полнотой власти, но продолжает свое хорошо отлаженное дело по сбору информации. И еще один существенный нюанс: в этой Системе все строится на *личных отношениях* (друзья — «нужные люди»). У нее своя твердая мораль. Своя среда. Свое общество. Все как у людей... Может быть, я просто завидую, что не принадлежу к ним?..

Возможно, вы возмущены нарисованной мною картиной и кричите: «Ложь! поклеп! клевета! ничего этого нет! я имею все, что хочу, и при этом остаюсь честным человеком!!» Что ж, значит, вы редчайший пример аскетизма. Или честно служите в какой-нибудь привилегированной конторе. Или же работаете на производстве и имеете «закрытые распределители», настолько привычные, что уже их и не замечаете. Но в любом случае вы живете с закрытыми глазами: если ничего этого нет, тогда почему же так упала мораль в стране, почему синим огнем горит экономика?

Сбросим же маску. Краеугольный камень, на котором зиждется эта система дельцов, где продается все,— дефицит. Система кровно заинтересована в дефиците, усугубляет его и способна на его расширенное воспроизводство: чем больше интересующего все общество товара, тем шире и круг махинаций. Она доказала свою способность противостоять любому нажиму извне — как «сверху», так и со стороны «неприсоединившихся» (кооперативы, закон о государственном предприятии). Более того, беру на себя смелость утверждать, что сегодня любая достаточно крупная предпринимательская инициатива, так нужная стране, не может выжить, не вступая в контакт с этой Системой. У них власть. У них сила. Это они растлили рабочий класс, породив равнодушие к труду, воровство, брак, продажность ОТК. Это они развратили культуру и здравоохранение «левыми» доходами, в сравнении с которыми зарплата выглядит только незначительной добавкой. Это их вкусы, их претензия от сытой жизни на мещанскую «культурность» определяют, какие духовные ценности потребляет самый массовый у нас в стране рынок. Вот оно: «серьезная» музыка заставляет острее чувствовать, думать, кристаллизует нравственные ценности — им это не нужно; искусство интересует их только с гедонистической стороны. Правда, среди «высшей» их части, претендующей на изысканность, распространилась мода на то, что имеет ценность в валюте — на антиквариат и на привкус «запретности» в искусстве. И здесь им ко двору пришлась часть «серьезной» музыки: под антиквариат подпадает искусство, скажем, «Виртуозов Москвы» или камерного музыкального театра Покровского, под «запретное» — музыка ряда композиторов, преимущественно «шестидесятников», выстрадавших свой нонконформизм. Существует шутка, что у нас в стране самая культурная сфера обслуживания: если вы не попали на концерт, ваши знакомые из сферы обслуживания (если у вас такие есть) вам расскажут... Интересно знать только, что они понимают в этой музыке? Понимают ли они, заполняя концертные залы, что хотел сказать замечательный и до сих пор фактически «полузапрещенный» композитор Альфред Шнитке, поручая роль Дьявола, исполняющего вульгарное до шока, прямо-таки «порнографически»-откровенное мещанское танго в кантате «Легенда о докторе Иоганне Фаусте» Алле Пугачевой — самой популярной эстрадной певице страны, умной «жрице хищных вещей века»?

...Это они, воспользовавшись крахом патриотического воспитания, выпестовали поросль тех, кому через двадцать лет определять судьбу страны. Впрочем, здесь надо оговориться. Нельзя не заметить, что структура интересов внутри Системы неоднородна. Если для одних меркантильный интерес является самоцелью, а другие просто не думают ни о чем, то для третьих, как представляется, служение «делу» является своего рода бескорыстным делом чести. В сущности, эти третьи — настоящие хозяйственники по призванию, те «социалистические предприниматели», которые так нужны сегодня. Они просто действуют в тех обстоятельствах, которые застали, поскольку других им не дано. Интересно, задаются ли они вопросом, кому, каким интересам служат? Во всяком случае, привилегии, автоматически вытекающие из их включенности в Систему, они принимают как должное, как естественную компенсацию за их энергию и инициативность. Но есть еще и четвертые — откровенно антисоветски настроенные фарцовщики государственного масштаба, «крупная буржуазия», напрямую связанная с западными деловыми кругами, с одной стороны, с партийно-правительственно-общественно-административными — с другой, и с уголовным миром — с третьей. И это именно они прежде всего являются для нынешних подростков эталоном того, как надо жить. Это они ввозят в страну видеокассеты с фильмами ужасов и порнофильмами, совершая культурную диверсию. Их почерк видится мне в профашистских умонастроениях определенной части подростков, казалось бы, диких в стране, так пострадавшей от внешнего и внутреннего фашизма; в стравливании рокеров с люберами. Храни нас бог от культурной контрреволюции... Эти, безнаказанные, цинично прикрываясь лозунговой демагогией, угнездились в самой сердцевине. Не им ли ужаснулся прямолинейный Ельцин, когда копнул гришинское осиное гнездо?..

Говорить сегодня о «серости», которую якобы культивирует бюрократия, об инерции застоя — значит видеть только одним глазом: разве «серость» может обладать волей? «Серость» идет туда, куда ее ведут. Бюрократия буржуазно переродилась: она превратилась в административно-хозяйственно-торговую олигархию. Иными словами: в результате врастания сферы обслуживания в сферу управления произошло *огосударствление коррупции*.

...Они вечно могли бы жить в своем замкнутом мире, не интересуясь объективным положением дел («вокруг нас хоть потоп», «пусть будет потоп — мы больше выловим в мутной воде»), если бы не взбунтовалась экономика. Всем хороша Система, кроме одного: она ничего не производит; она паразитирует на теле народного хозяйства. При этом парадокс заключается в том, что правая и левая руки одних и тех же людей вращают шестерни народного хозяйства в диаметрально противоположные стороны: скажем, директор предприятия, который принимает директивы по борьбе с де-

фицитом и несунами, борется за качество, за план и одновременно спускает на тормозах все нововведения, принимает априорные привилегии своего положения и участвует в «теневом перераспределении» дефицитов. Характерно, что ведомственные «узлы» системы народного хозяйства, мгновенно взаимодействующие, когда речь идет об интересах Системы или кого-либо из ее членов лично, оказываются поразительно автономными, когда речь заходит о самом народном хозяйстве. Две руки сомкнулись на горле экономики: бюрократическая стихия планирования-отчетности и порожденная ею стихия «теневого» рынка перераспределения. И вот тут экономика начала агонизировать.

Когда наверху увидели, куда несется эта машина, не управляемая никем — наше раздираемое противоречиями самое непротиворечивое общество в мире,— в ужас пришли и пытаются теперь развернуть ее на полном ходу, а она сопротивляется всеми своими частями. (А вдруг ею управляет чьято поистине дьявольская воля — ведь так уже было?!) Нет, не о застое надо говорить. Надо кричать о раковой опухоли, разъевшей общество, о перерождении, загнивании. Как бы там ни было, вещи надо называть своими именами — это принципиально важно.

Интересно, а о нас хоть какая-нибудь информация «наверх» доходит? Мы — люди, живущие на реально невысокую зарплату и не имеющие крупных денежных сбережений. Выброшенные за борт всемогущей бюрократической Системы. Те овцы, которых они стригут.

Конечно, мы заслужили их презрение. Ведь они покупают нас. Безошибочным чутьем они угадывают потенциальное тяготение к перераспределению и развращают лучших — самых талантливых и профессиональных, предлагая им существенное материальное дополнение «слева» за участие в обслуживании *себя*. Вероятно, им не так уж и трудно преодолеть естественный, казалось бы, у интеллигентного человека моральный барьер: ведь многолетняя сталинская практика геноцида именно лучших, наиболее принципиальных не могла не способствовать вырождению моральных принципов, укоренению приспособленчества среди интеллигенции.

И все же, вероятно, именно те из нас, кто еще не утратил оптимизма — несмотря ни на что,— иначе представляют себе цели социалистического строительства, чем они, для которых это строительство уже закончено...

...Вы не согласны с моей моделью? Возмущены? Пожалуйста, докажите обратное. Только не говорите, что это «антисоветская пропаганда» и «клевета на нашу действительность»: по моему мнению, это значит, что вы искреннеискренне желаете не видеть. Значит, что и вы носите в себе перерождение. Что касается меня, то я выбрала: я — за справедливость, за свободу творчества, за проведение в жизнь всех тех директив, которые выработаны в последние три года. И я против экстремизма и против демагогической полуправды, плодящей вездесущую уголовщину в государственном масштабе.

Противоречия сегодня

И сегодня мы путаемся в вязких вопросах общественного бытия и общественного сознания и с тревогой задаем себе вопрос о границах дозволенности правдоискательства и свободомыслия. А они есть, эти границы, такие же туманные и негласные, как и прежде. Инициатива все еще наказуема. На искренность и свободомыслие часто все так же ставится штамп неблагонадежности.

У перестройки как будто два языка: обыденная речь заинтересованных «простых» людей, которой пока явно не хватает обобщений, и официальный язык, в котором самые высокие этико-философские понятия парадоксально сочетаются с поразительно упорными стилистическими бюрократизмами, с лакировочно-демагогической схоластикой. «Молодежь у нас трудолюбивая, готовая к подвигу, преданная социализму». «Стране нужны люди активные, творческие, чувствующие себя уверенно, способные сказать правду, какой бы тяжелой она ни была, способные самокритично мыслить...» Может ли в языке не отражаться стиль мышления? Или наоборот: может ли форма выражения мысли не влиять на характер самой мысли? Таким образом, вот он, наглядный образец механизма торможения в перестройке государственного мышления. Снова выдавание желаемого за действительное и лишь постепенное приоткрывание реального положения дел. Может быть, оттого пока у перестройки и неровный шаг, что многие ее лидеры, по долгу ответственности обязанные быть ясновидящими, свои методы идеологического воздействия во многом заимствуют от прежней эпохи? А пока хозрасчет внедряется почти без материальной подготовки, пока проявляется либерализм по отношению к тормозам, тактические отступления невольно выливаются в отступничество по отношению к тем конкретным людям, которые и составляют лучшие нравственные силы перестройки, ее надежду: к тем, кто невольно вырывается вперед и оказывается без прикрытия. И тогда их жестоко осаживают. Оправданы ли такие жертвы? Но... все же эти люди бьются и в одиночку — потому что не верить в справедливость не могут по природе своей.

При желании в правде всегда можно увидеть неблагонадежность, обвинить ее в субъективизме; можно — как в приснопамятные года — обвинить ее в подрыве дисциплины и в экстремизме. Можно даже приклеить ярлык преступной. Все это возможно безнаказанно, когда нет полной гласности.

Гранки своих заметок я вычитывала в дни XIX Всесоюзной партконференции, где наконец был снят покров тайны с «дела Ельцина», которое так взбудоражило в свое время думающую, неравнодушную молодежь. (Снова информация лишь «для своих»?) А ведь именно эта молодежь гарантирует нам будущее перестройки.

Сегодня все время звучит с высоких трибун — к прошлому нет возврата. Может быть возврат. Пока существуют зоны умолчания — существует недоверие. Пока существует политическая конъюнктура — существует демагогия. Они способны вывернуть наизнанку любые действительно насущные начинания. Только — как уже было после «оттепели», наступившей в 50-е годы,— это будет не механический возврат — ведь в духовной области не может быть застоя: движение — способ существования духа. Поэтому надо ясно отдать себе отчет, что в случае возврата наступит страшное время. Маски уже никого не обманут: неизбежна агония, а за ней — всеобщий развал, нищета, моральная деградация и лазерное оружие на службе низменных инстинктов. Вы не смотрели фильм Г. Данелия «Кин-дза-дза»?

Мне видится только один путь избежать всего этого: чтобы завтра лучшие силы народа не были снова парализованы безмолвием и крепко въевшимся в гены страхом, надо нанести решительный ответный удар по этому страху, который и сегодня — я уверена — сковывает тысячи, если не миллионы тех, кто хотел бы поверить в перемены: надо действительно до конца открыть каналы гласности. И чтобы никто ни на шаг не мог отступить от тех высоких принципов, которые декларируют резолюции «О гласности» и «О правовой реформе», принятые партконференцией. Сегодня трусливые завистники, уголовники, садисты, руками которых сотворились многие преступления не только перед своим народом, но и перед международным коммунистическим движением, доживают свой век в почете за государственный — подумать только, за наш с вами (!) — счет. Может ли нормальный, мало-мальски думающий человек «чувствовать себя уверенно» и «быть способным сказать правду, как бы тяжела она ни была», когда он знает, что этот ядерный котел, перемоловший в муку миллионы жизней, не подотчетен обществу? Надо сделать предельно невозможной впредь смычку законодательно-охранных органов с уголовным миром. Надо назвать по именам всех убийц — пусть знают, что мы знаем. Надо сделать доступными гласности политические дела не только прошлого, но и настоящего — надо пересмотреть «дела» всех тех, кто в силу личного мужества и принципиальности в 70-е годы был поставлен Системой в положение «диссидентов». Быть может, и есть основания опасаться, что обыватель не выдержит всей обнародованной правды и отшатнется от перестройки и что это побудит силы реакции, затаившиеся сегодня, к активному контрдействию; но вот то, что полуправда уже парализует перестройку на корню,— это несомненно. Безответность порождает безответственность.

«Ну и занесло же ее,— скажете вы.— Да еще с риском для жизни... Какое отношение все это имеет к проблемам «серьезной» музыки? Занималась бы лучше своим прямым делом...»

Да в том-то и дело, что к проблемам «серьезной» музыки все это имеет самое непосредственное отношение — как, впрочем, и вообще к любой сегодняшней частной проблеме. Все дело в том, что «серьезная» музыка неспособна лгать.

Искусство, познающее духовный мир человека более непосредственно, чем какое-либо другое, музыка всегда искренна, всегда в какой-то мере автопортретна. Тем более музыка второй половины 70—80-х годов с ее духом исповедальности, в которой композитор высвечивается до дна. Поэтому так важно не утратить чувство такта в оценке его произведений — ведь самое непосредственно воздействующее из всех искусств музыка в то же время искусство самое недоказательное, наиболее подверженное вкусовым пристрастиям. В конечном итоге любая попытка даже дотошно-профессионального анализа содержания музыки всегда будет представлять собой слушательскую интерпретацию. Разные люди могут слышать в ней разное, в зависимости от степени своей культуры и от того, чем эта музыка созвучна их внутреннему миру, или могут не услышать в ней ничего.

И вот здесь, мне думается, и лежит корень той идеологической неувязки, которая в конечном итоге привела к взаимной несовместимости наиболее талантливых деятелей культуры и деятелей управления культурой (не «управления культуры»! — это типичный образец бюрократической безграмотности) с трагическими последствиями для первых.

В сталинскую эпоху в погоне за классовым подходом к искусству музыкальная эстетика, вдохновляемая теорией усиления классовой борьбы по мере продвижения к социализму, выставила знак равенства между политической идеологией и требованием партийности от идеологии художественной. И сегодня, несмотря на то, что теоретически эстетика осознала их нетождественность, этот ложный принцип до сих пор является практическим руководством для многих чиновников при отборе «лучшего», порождая, в частности, требование от искусства воспевать «красные даты».

Именно благодаря давней подмене стали возможны узкое регламентирование искусства и административное насаждение фальши. Отсюда поразительная слепота — это сегодня мы заговорили об упадке общей культуры, о крахе и вырождении системы эстетического и просто воспитания. Отсюда воинствующее неприятие той оценки, которую получила реальность в свете вечных духовных идеалов в творчестве Шнитке. Отсюда, наконец, вырождение самих музыкальных идей. Здесь видится и причина того, что слова «идейность», «идея», а тем более «идеология» стали для многих честных музыкантов, обладающих принципами, жупелом.

Музыкальной эстетике сегодня необходимы новые, современные, теоретически обоснованные представления о соотношении политической и художественной идеологий, «социалистического сознания» и художественного видения мира. Эстетической науке предстоит еще хорошенько разобраться, отбросив казуистику, имеют ли реальный смысл (и если да, то какой) употребляемые ею автоматически понятия «партийность», «народность» в применении к каждому конкретному виду искусства; оправдало ли себя понятие «социалистический реализм»; чем отличается «изображение жизни в свете идеалов социализма» от просто искреннего отображения талантливым художником правды жизни такой, какой он ее видит; и стоит ли сегодня, когда мы наконец-то осознали на политическом уровне свою включенность в универсальные мировые процессы, обособлять социалистические идеалы из просто вечных, светлых и возвышенных идеалов человечества. А для этого ей совершенно необходим приток объективных знаний из фундаментальных наук.

Вернемся назад и повторим: в 70-е годы «пуганое» музыкознание остановилось, так и не взяв на себя этой колоссальной ответственности — практически доказать связь содержания музыки последнего времени с реальными проблемами общества. Тем самым, прокламируя широкий культурологический подход к анализу музыкального творчества, музыковедение осталось — и до сих пор остается — в отношении современной советской «серьезной» музыки на узких цеховых позициях. И так, вероятно, будет до тех пор, пока не решится самый жгучий вопрос сегодняшней духовной жизни — вопрос о полноте правды, о недопустимости умолчания в условиях перестройки. И покуда он не будет решен, музыковедение будет, вероятно, по-прежнему закрывать себе дорогу к актуальности, а музыкальная критика — все так же плоско-бездоказательно «проводить в жизнь» установки устаревшей музыкальной эстетики. До той поры будет существовать и возвеличивание «датских» сочинений, и неприятие из соображений «аполитичности» вечных сюжетов и идей. До той поры не произойдет реабилитации серьезной музыки и музыкальной критики в глазах широкого слушателя. До той поры будет расти разрыв между духовно-преобразовательным потенциалом высокой, серьезной советской музыки и ее воздействием на массы. Наконец, до той поры не будет и социально активных и одновременно серьезных, глубоких и честных молодых музыковедов. Только в комплексе с коренными проблемами нашей сегодняшней жизни можно решить и эти проблемы, потому что понять и объяснить, а тем более сделать общественным достоянием содержание серьезной музыки можно только с позиций Правды.

Совесть

Издавна все лучшее в человеке в России связывалось с понятием интеллигентности: терпимость, неравнодушие, доброта, благожелательность... Сегодня интеллигентность противится наскоку: все должно вызреть. Объективную логику психологической перестройки невозможно подстегнуть. А жизнь заставляет делать выбор каждый день. Спешат подстроиться демагоги и выскочки, достойные же часто еще молчат, и молчание это невольно становится опорой политического консерватизма... Пока еще *быть* неизмеримо труднее, чем *не быть:* быть — это значит преодолевать. Позавчера было ясно — в генах записано: не быть. Вчера появилась надежда: быть очень трудно, но можно. А сегодня? Быть — надо иметь подчас отчаянную смелость; нужны экстраординарные стимулы, чтобы расколоть свою скорлупу и выйти на люди как есть. Вот так и я — отнюдь не активный борец, не экстремист — боже упаси! — не проповедник; дописав эту статью, я уйду обратно в свою скорлупу — дозревать (если дадут). Я никогда не набралась бы смелости да и, вероятно, не очень задумывалась бы надо всем, о чем я теперь думаю и во что стараюсь посвятить вас, если бы инстинкт самосохранения не пересилило чувство родового сознания — если бы не долг и не дань...

Реквием по отцу

Поздним вечером я шла по подземному переходу между больничными корпусами. Под ногами хлюпало. (Прямо как в фильме ужасов: только что в лифте я ехала с чем-то спеленутым на каталке, что везли две по-современному «расписные» девицы, переговариваясь о будничном.) Сзади в кромешной тьме гулко отдавались пьяные голоса: «А чего, дать — и дело с концом...» Я невольно ускорила шаг, но тут же одернула себя. Впереди забрезжил свет, и я начала подниматься по ступенькам туда, где сегодня ночью умрет мой отец...

Этим летом, закончив двухгодичную работу над оперой, он уехал отдыхать. Сразу по приезде прислал обстоятельное письмо: все прекрасно, условия замечательные, публика тоже, общаюсь, гуляю, культурно развлекаюсь. И вот телефонный звонок: отец в больнице, нужна операция — ничего особенного, но приятного мало. Сразу встал вопрос, оставаться ли ему там. Там — неожиданно — больница фешенебельного ведомства с телефоном в палате. Но отец твердо сказал: здесь, с вами. Вы приехать не сможете — у вас ребенок, экзамены на носу, и потом, мне обещали в случае чего «устроить»... Дозвонись. Расскажи. Договорись.

Дозвонилась. Были недовольны: лето... никого нет в городе... скоро в отпуск... Да разве болезнь спрашивает? Наконец, долгожданное: договорились... приезжайте...

День, когда я встречала отца, был удивительно сияющ. Как зачарованная, я глаз не могла оторвать от дали с беззвучно взмывающими и приземляющимися стрелами (звук существовал сам по себе). Безмятежность и пространство бесследно растворяли тревогу, заставляя бездумно улыбаться от какого-то совершенно непонятного и не очень уместного счастья. Отец вышел свежий, подтянутый, загорелый — как будто и не пять дней всего отдыхал, и никаких болезней. По дороге в город он по-деловому обсуждал предстоящую госпитализацию и все время невольно прерывал себя, чтобы еще и еще вспоминать. Чувствовалось, что он переполнен впечатлениями и огорчен, как ребенок, что пришлось прервать такой дивный отдых из-за досадной, в сущности, мелочи. А я, автоматически отвечая ему, все смотрела в окно и думала, что ничего особенного, все будет прекрасно — не может не быть, когда на свете такая синь...

...В больнице нам сразу не понравилось: запах, грязь, перенаселенность — обычная рядовая городская больница. На это ли можно было рассчитывать, «договариваясь»? (Я еще подумала: какой контраст, наверно, с *той* больницей...) Но зато здесь «светила»... И потом, оказалось, что в этой перенаселенности есть все-таки островки «индивидуального

пользования», и один из них предназначался для нас. А кроме того, в огромное окно открывался такой сказочный вид на дали, лес и реку! Отец выбрал койку лицом к окну.

А назавтра была суббота — первая из четырех суббот,— когда в больнице все вымирает, и отдельная палата превращается в склеп, и хоть криком кричи по всем этажам — никого не дозовешься: ни врача, ни медсестру, пока они сами не материализуются из воздуха, быть может, несколько часов спустя — там, где им вздумается материализоваться.

Отцу стало хуже в субботу, а оперировали его только в четверг. Мама так и не поняла, что произошло, когда во время переливания крови — он только начал отходить от наркоза — ему внезапно стало плохо (никого рядом не было). Я же до сих пор не понимаю, как может быть хирургическое отделение без палат интенсивной терапии — притом, что реанимация за два корпуса,— и как можно после серьезной операции пожилого человека с нездоровым сердцем поместить в отделение, где за ним после четырех часов дня ухаживать некому. Даже за деньги. (Нет, деньги брали...)

Его отправили в реанимацию только на следующее утро с диагнозом «обширный инфаркт». Все выходные мы носились по Москве, оглушенные чудовищной нелепостью, не получая никакой информации из-за закрытых дверей (по телефону на вопрос, как себя чувствует — спит, состояние тяжелое), и искали какие-то невероятно дефицитные лекарства, которые из-за этих дверей требовали. (Позже один из врачей сказал мне удивленно: «Так у нас в больнице все это есть...») И мучительно пытались узнать, как дела. Наконец узнали: нужно делать переливание крови. Но ведь по всей стране выходной... Только в понедельник маму вызвали в больницу, всунули ей в руки пробирку с отцовской кровью и велели ехать на донорскую станцию. Только во вторник сделали переливание. А в среду вдруг звонок: инфаркт не подтвердился, он в отделении, ухаживать некому, приезжайте. Мама, мысленно уже попрощавшаяся, помчалась не помня себя. В четверг ему снова стало плохо. Полдня ждали из другого корпуса кардиограмму. Снова диагноз — инфаркт. Снова реанимация. И опять на следующий день звонок: инфаркт не подтвердился, приезжайте ухаживать.

...Я так и вижу объявление при входе в больницу: приглашаются родственники для ухода за послеоперационными больными...

Я не узнала его в этом до последнего предела истощенном, еле способном пошевелить рукой человеке. Но он был радостно возбужден, просил принести свежие газеты, говорил без умолку о том, что теперь уже скоро выздоровеет. Человек, побывавший на том свете дважды. Я возмущалась, что его рано выкинули из реанимации; он сказал: «Ты не понимаешь. Я так счастлив, что вырвался. *Они не думают о душе*».

...Вы знаете, что такое пытка неизвестностью? Когда ты, каменея, не допускаешь мысли, и при этом из недели в неделю (не считая страшных своей ответственностью выходных — без посредников с человеком у черты) получаешь ответ: все идет лучше и лучше; приглашать консультантов не нужно — сами все делаем; а человек на глазах тает, и от тех же врачей в ответ на самый основной вопрос слышишь — без перехода: состояние тяжелое, ничего не можем сказать. Когда врач, глядя мимо больного, жизнерадостно говорит: нужно садиться, вставать, все есть, а больной не ест и не пьет уже две недели. Когда врач велит больному самому встать на перевязку, а тот — как мощи по приказу Иезекииля — делает нечеловеческие, но бесплодные усилия, побуждаемый неимоверным желанием выздороветь. И еще: когда тот врач, который «устраивал», давний знакомый отца, когда бросаешься к нему в отчаянии от неизвестности, отказывается звонить «светилу», потому что он идет на рынок или потому что «они не любят, когда им звонят». Ах, врачи вы мои, врачи, хирурги мои любимые! Да что же это случилось с вашей человеческой душой, с вашей врачебной этикой, наконец? Да давно ли вы руки-то мыли?.. Именно в эти дни я случайно выяснила, что самое главное «светило» — отец моей старой приятельницы. Узнав об этом, он «помягчал» — а то вовсе ходил мимо. (А если бы на три недели раньше?!) Воспользовавшись, я еще раз спросила: ну что? И знаете, что он сказал? Глядя мне прямо в глаза, он сказал: *«А что ты хочешь услышать?..»*

Однажды, падая с ног от усталости, я прикорнула на соседней кровати и присутствовала при перевязке. Отец стонал, видно было, что ему мучительно больно... И так каждый день? Да почему же без наркоза?! Что это, тюрьма? концлагерь? И вдруг я с ужасающей отстраненностью поймала себя на мысли: господи, вот заслуженный композитор, ветеран партии, труда — да о чем я! — замечательный человек, МОЙ ОТЕЦ умирает здесь, в этих четырех стенах, не нужный никому, как последняя собака...

Еще в школе отец был комсомольским вожаком. И после он всегда любил и умел организовывать. К нему тянулись, привлекаемые его открытостью, чрезвычайно светлым мироощущением и потребностью увлекать других тем, чем увлечен сам: музыкой, театром, литературой, живописью, страстью к путешествиям. Вокруг него всегда были люди. И оттого в последние годы он все больше ощущал одиночество, часто вспоминая строки Пушкина: «Знакомых тьма, а друга нет...» Судьба одного человека — судьба поколения — судьба страны — все взаимосвязано. В сложное время послевоенной молодости они были объединены верой; после жизнь стала расслаивать их, разобщать, разбрасывать по кельям. Отец ни на что не закрывал глаза. Он многое понял, во многом разочаровался, но не стал циником; наоборот, с годами его кредо — доброта и порядочность — лишь проступало все яснее. При этом, молчаний по необходимости, он всегда имел свое твердое и независимое мнение, и эта его внутренняя независимость, не принимающая никакой ортодоксальности, вероятно, не могла быть приятной определенного рода людям. Вероятно, это мешало ему в жизни, ведь он не стал «своим» ни в одной из тех группировок, о которых говорить не принято, но которые всегда существовали вокруг определенных фигур художественного мира и сторонники которых в различных инстанциях и ведомствах считают своим долгом прежде всего «пробивать» своих. К «связям» он так никогда не приспособился, и потому, быть может, с годами ему все труднее удавалось пристроить в театры «детей» своего некрупного, но чрезвычайно искреннего и теплого дарования — свои оперы. А как мучился он, «пробивая» министерскую конъюнктуру, требующую опер на советскую тему, когда наконец собрался с духом исполнить свою давнюю мечту и написать оперу по Диккенсу!.. Впрочем, был он достаточно неприхотлив, не требовал навязчиво к своему творчеству внимания и был благодарен судьбе за то, что все его произведения изданы и хотя бы один раз исполнены.

Ему не дано было писать песни; в кино его не звали, и потому, чтобы обеспечить семью, он всю жизнь служил. Конечно, служба не могла не мешать творчеству, но зато она давала выход его организаторской энергии. Должность у него была трудная, с годами ответственная, требовавшая редкого такта, доброжелательности, широкого эстетического кругозора. Его называли «живой энциклопедией советской музыки» — он досконально знал как ее историю, так и современность. Он всегда старался сделать все возможное, чтобы поддержать талант, ухитрялся в сложнейших ситуациях оставаться бескорыстным и верным своим принципам и тем снискал всеобщее уважение. Он давал людям ощущение надежности и при этом улыбался им своей удивительно доброй детской улыбкой.

Пока он был чиновником в Системе, он часто был вынужден терпеть и молчать из соображений лояльности; когда же вышел на пенсию, то как будто помолодел. Наслаждаясь своей свободой, он впервые за много лет позволил себе открыто возмущаться равнодушием и — действовать. Он рвался в бой за справедливость, используя весь свой «дипломатический» опыт, и его бойцовские качества оттачивались с каждым годом. Как радовался он переменам в моральном климате страны, с какой жадностью следил за возникающими проблемами, как переживал, что в его родном доме — Союзе композиторов — не сдвигается с места ничего, как «вылезал», пытаясь пробить вредящую общему делу апатию, и как молчаливо зажал в себе обиду, что его родной Союз, которому он отдал тридцать лет, в сущности, не интересуется больше его огромным опытом и общественным темпераментом.

...«Я знаю, что сделаю в первую очередь, когда выйду отсюда,— сказал мне как-то отец, когда я сидела у его кровати, глядя на свинцовое небо и невольно прислушиваясь к сотрясающим оконную раму порывам ветра.— Я напишу все как есть о том, что у нас в музыке происходит и как это случилось». Через несколько дней я, понимая, что если он это не сделает — с его честностью и независимостью, с его знанием дела,— *так* это вряд ли кто-либо сможет сделать, вся внутренне сжавшись от бестактности, все же решилась спросить: «А как ты думаешь это сделать?» Не открывая глаз, с загадочной интонацией (как будто загадал и боялся сглазить) он сказал: «Я знаю»... Больше спраши-

вать я не осмелилась... Ну вот, пап, я сделала это сама — как могла. Прости...

«Мрут как мухи»,— услышала я, как сказал вахтер при входе в больницу уборщице в один из выходных дней. Вот уж действительно, выживешь сам — твое счастье, не выживешь — черт с тобой, не ты первый, не ты последний. Тот, кто не нужен был обществу при жизни, тем более не нужен ему и при смерти. Общество — такое, какое есть, а другого в жизни не было дано — перемолотило тебя, не использовав и сотой доли твоих возможностей, и теперь выплевывает без сожаления. Равнодушие к творческой судьбе, к жизни, к смерти. Равнодушие обывателя к чужому страданию. Я, не сдержавшись, подумала: «Ты сам помрешь как муха».

...И вот мы сидим с мамой на соседней кровати. Ночь. Мы тихо разговариваем, а отцу на лицо падает яркий луч света, который никак не прикрыть...

Эпилог *(по ту сторону)*

Под объявлением «Одевание и вынос производятся бесплатно» человек с глазами садиста вымогает у меня деньги и... одеколон. Разумеется, я даю и обещаю, а то ведь еще и не оденут... Тем не менее через два дня, когда мы приезжаем забирать, я обнаруживаю, что не узнаю некоторых деталей туалета... Через несколько месяцев театр, по заказу которого отец писал свою последнюю оперу, не ознакомившись с музыкой, отказывается от нее. Еще через месяц маме отказывают в праве пользоваться поликлиникой, где они с отцом были прикреплены, и я начинаю хождение по бюрократическим инстанциям. Место под солнцем принадлежит тому, кто позаботится о себе сам; мертвые же сраму не имут. *Самим не хватает...*

Совесть *(продолжение)*

С годами человеку свойственно подчиняться закону повседневности — великой горизонтали, состоящей из цепи необходимостей и долгов, неизбежно и все крепче привязывающей его к определенной формуле бытия. Но бывает, внезапно все слои этого бытия вертикально прорезает яркая вспышка, соединяя несовместимое и вызывая отчетливое понимание необходимости, исходящей из иного, высшего порядка. С этого момента человек оказывается как бы разорванным надвое: его совесть — внутренний тиран — непреложно требует подчиниться закону высшей этической правоты, отбросив все внешнее. Совесть: этот своеобразный психологический «комплекс вины» перед всем миром... Я не знаю, как определяет, что такое совесть, наука психология, но, может быть, стоило бы говорить о сомнении человека в своей непогрешимости как о движущей силе культуры и о психологическом «комплексе культуры», основанном на чувстве виновности, определяющем все поведение интеллигентного человека?..

Ежедневно мы встаем перед проблемой выбора духовных ориентиров — добра или зла, культуры или благополучия, и сегодняшняя стремительная жизнь проверяет их тут же. И все-таки понимаем ли мы, что между «быть или не быть» лично мне и «быть или не быть» тому, что условно называют перестройкой,— связь прямая, без альтернатив: если не быть сейчас, завтра может быть уже поздно? У волны своя грозная диалектика: она накатила, взмела песок и пену — завтра откатит и обнажит дно. Волна — сила слепая: вверх — вниз. А двинуть ее вперед можем только мы с вами, и прежде всего мы, молодые. Либо ближайшее будущее будет зависеть от нас, либо мы навсегда станем потерянными, никому не нужными.

Так как же нам — быть? Мне думается, прежде всего быть — значит сознавать всю невероятную сложность предстоящего дела; быть готовыми идти на жертвы и, если совесть потребует, жертвовать своим личным благополучием. В русском языке есть замечательное понятие: «пост». Оно означает бдение духа. Увидеть в озарении идеальный образ, чтобы затем, ежеминутно преодолевая собственную аморфность и всеобщую тенденцию к энтропии, силой воли возводить его из груды мыслительного и житейского стройматериала. Самый большой, как мне представляется, грех сегодняшней советской интеллигенции, если не воспитанной, то хотя бы начитанной в традициях Достоевского и Толстого — грех той ее части, которая еще не до конца поражена конъюнктурой,— нравственная пугливость, душевный пуризм, в котором благородная «отфильтрованность» эмоций через «высокое» и нежелание идти на компромиссы смешалось с ханжеским нежеланием запачкаться о «злобу дня». Отсюда незнание и нежелание знать реальную жизнь вокруг, этический инфантилизм, в творчестве — надуманность, фальшь, выхолащивание глубины; отсюда микроинтересы, эстетическая узость взглядов, кастовость, разрозненность, равнодушие, черствость. В конечном итоге это то же обывательство — в духовной элите. Сегодня быть интеллигентным обывателем, не интересующимся или интересующимся вчуже реальным положением вещей — политикой в высоком смысле,— преступно: политическая конъюнктура тут же заполняет собой пробел и совершает подмену ценностей. Слишком много поставлено на карту. Будете ли вы продолжать изучение звезд, сидя на чердаке, если горит подвал, а у вас в доме дети,— даже если вам и безразлично, сгорите лично вы или нет?

Так что же реально зависит в сегодняшней борьбе от нас — находящихся далеко за обочиной как сферы производства, так и сферы распределения? От нас зависит производство духовных ценностей.

Да, конечно, бытие определяет сознание. Но исподволь подготавливаемое новое бытие тормозится устаревающим сознанием. *Общественное* бытие определяет *общественное* сознание. Но *личное* сознание может опережать это бытие и быть его двигателем. Это именно оно делает первым опережающий скачок; и пока личное и общественное сознания не уравновесятся по мере развития объективных исторических процессов, личное сознание — или комплекс личных сознаний — может определять общественное бытие. В такие — переломные — периоды истории роль отдельных личностей неизмеримо возрастает. И здесь от интеллигенции зависит, как мне представляется, очень многое. Именно она должна быть той духовной и идейной закваской, без которой не будет насущного хлеба нового общественного бытия, которое будет определять общественное сознание. Экономика экономикой, материальные стимулы материальными стимулами, интересы интересами, но ведь и идеалы идеалами. Если в нашей сегодняшней трудной ситуации наше реальное бытие будет определять сознание — то это цинизм, смерть. Сегодня нам просто необходим благородный идеализм. Нужна вера в дело обновления. Но нужно и реальное знание о себе. И приобретение этого знания тоже зависит от интеллигенции, от степени ее самосознания и от ее бескомпромиссности. Как в творчестве, так и в повседневности. Все взаимосвязано. Быть — для интеллигенции прежде всего значит творить жизнь. Поэтому дайте себе труд брать на себя ответственность, добиваться правды и справедливости. И уличайте невидимую нечисть, хватайте ее за лапу, как только она к вам прикоснется, вытаскивайте на свет, потому что *сила ее в массе;* но *каждый* из них утрачивает, хотя бы на время, хотя бы частицу своей силы, столкнувшись с *достоинством*. И ни в коем случае не останавливайтесь на полпути — это уже один раз было. Ну, пожалуйста, не закрывайте глаза вашей совести, выдавливайте из себя безразличного молчуна. Поймите, не сделай вы этого здесь и сейчас — нечисть еще такого натворит...

Мечты, мечты...

Поговорим о «человеческом факторе».

Какое величественное время нам досталось: время открытой борьбы эгоистической и альтруистической установок на поле человеческой души. Душа не бывает «черной» или «белой» — ничто человеческое ей не чуждо; оттого в ней такое иногда намешано... А тем более в условиях застоя — ведь гниение расслаивающе действует на все живые ткани — и на душу тоже. Вот и «расслоили» эти годы поколение «шестидесятников»: одни стали нонконформистами, другие конформистами; одни нонконформисты замкнулись в свою внутреннюю жизнь, другие стали отстаивать права человека, третьи сделали из своего нонконформизма род общественной регалии или вериги. То же самое и у конформистов: одни, иногда случайно, в силу обстоятельств, попав в мутную воду, почувствовали свое призвание плавать в ней, другие просто не нашли в себе мужества присоеди-

ниться к нонконформистам и потому поневоле оказались втянутыми в чужие «жестокие игры»; третьи, сначала прекрасно обжившись в конформизме, стали посматривать в сторону нонконформизма с целью, как бы и его приспособить на пользу себе,— или же с тайной ностальгией... На кого же опереться, чтобы почва не уходила из-под ног? Как сделать процесс духовного обновления необратимым?

Я хочу воспользоваться правом, которое предоставляет демократия, и поразмышлять — пусть наивно! — об управлении. Как рассказывается в одной зарубежной повести, когда дети получили полную свободу от контроля взрослых, эта свобода логически привела их к убийству. Смысл этой аналогии вот в чем: способно ли такое общество, которое мы реально имеем сегодня, с толком воспользоваться теми правами, которые предоставляет демократия? Или, может быть, прав тот молдавский директор, который сначала подготовил почву для демократии *авторитарно* на вверенном ему предприятии: он решил проблему кадров, создал «режим предпочтения» не затронутым разложением силам, а затем — авторитарно же — дал широкие права и лишь затем добровольно подчинился им сам? Ведь когда демократии нет в генах, когда у нее нет традиции, тогда выдвинутое, выбранное большинством далеко не всегда означает лучшее: мы почти ежедневно видим, как предоставленное без подготовки право выбирать ничего не меняет и как прогрессивные тенденции, падая в общество несунов и обывателей, выворачиваются ими наизнанку. Кстати, насколько я понимаю, Ленин чрезвычайно большое значение придавал и мнению меньшинства, и исповедовал демократию в обществе не как «усреднение» по большинству, а как выражение реального соотношения различных социальных интересов. Совершенно очевидно, что, пока идет подготовка почвы для действительного осуществления духовной перестройки, пока не осуществлена та общественная система предпочтения, которая нейтрализует механизм торможения, роль авторитета отдельной личности — роль «человеческого фактора» — становится в общественных делах ведущей.

Возвращаясь к аналогии с детьми: сегодня передовые педагоги предупреждают об опасности авторитарного воспитания, порождающего, как уже говорилось, конформизм, нигилизм и пассивность; общество остро нуждается в «расторможении», высвобождении внутренних механизмов свободы личности. Но ведь очевидно, что это только одна сторона медали и что даже в идеальном случае личность воспитателя, его авторитет играет в воспитании важнейшую режиссирующую роль: прирожденный педагог, используя свой авторитет, будет исподволь, тактично, но тем не менее целеустремленно сообразовывать развитие ребенка или целого коллектива детей со *своими* внутренними установками на культуру (недаром англичане говорят: воспитание ребенка начинается за сто лет до его рождения). Чтобы плохо объезженные кони не повернули вспять, им нужна узда. Активизация здоровых сил общества — так же, как и попустительство силам бюрократической коррупции — в сегодняшней реальной обстановке зависит прежде всего от «верхних эшелонов» — от использования властью своего авторитета, пока еще априорного в сознании (вернее, в подсознании) большинства, несмотря на распространяющееся уже повсеместно чувство безнаказанности. Все мы, «низы», затаив дыхание смотрим сегодня вверх, домысливая по каким-то штрихам противоборство *там* радикальных, либеральных и консервативных тенденций: ведь случись там переворот, и «мышеловка» (вспомним Гамлета) может захлопнуться...

Мне думается, авторитарное руководство сегодня пока еще неизбежно — так как подготовлено «снизу»; и потому вопрос о перестройке может объективно на данный момент решаться только как авторитарность, обладающая твердой установкой на демократию. Или не авторитарность, а авторитетность?.. А может быть, именно в сочетании — а вернее, в непосредственном сопряжении — авторитетности «сверху» с демократией «снизу», исключающем промежуточное звено, заключается возможность блокирования тормозов? Ах, мечты, мечты... Кто определит, что лучше? Об исторической правде легко судить, глядя из храма на ведущую к нему улицу. Как нам избежать нового диктата, психологическая почва для которого, увы, остается все еще подготовленной?

Я не знаю ответа на этот вопрос. И все же хочу помечтать. Давайте побудем немного идеалистами. Что является критерием общественной ценности личности? Где-то я читала, что прежде в народе — в патриархальной общине — им был трудовой достаток. Сегодня, в обстановке разложения трудовой морали, этот критерий сплошь и рядом «не работает». Я думаю, что сегодня, на переломе, при возрастании роли думающей личности, критерии надо искать прежде всего в духовной сфере. Культура и этика: казалось бы, такие абстрактные, туманные понятия мгновенно и безошибочно ощущаются интуицией непосредственно... Здесь подтасовок быть не может: недаром академик Д. С. Лихачев сказал, что мещанство не может их подделать. Я думаю, при всех исторических обстоятельствах наиболее ценными с общественной точки зрения в личности являются именно те качества, которые бюрократия выхолащивает: высокая сознательность, острое чувство ответственности, инициативность, профессионализм. А дальше, для того чтобы ускорить воспроизводство этих качеств в общественном масштабе, нам необходим строгий учет и контроль: бережный учет и покровительство «сверху» всему лучшему, где бы оно ни проявляло себя; жесткий контроль демократии над централизмом, а централизма — пока еще! — над демократией в целях взаимного воспитания ответственности. Руководитель может быть выдвинут «снизу» или назначен «сверху» — в зависимости от того, где первыми оценили его человеческие и профессиональные качества,— но в любом случае он должен проходить испытательный срок, после которого быть или не быть утвержденным — не своим аппаратом и не какой-то абстрактной «общественностью», а широкой общественностью, компетентной в данной сфере. Но создать «режим предпочтения» для выдвижения лучшего «снизу» возможно, только объединив усилия, исходящие из всех социальных групп и прослоек без априорных «классовых привилегий» и «процентных ограничений». Разве в сложившейся сегодня в обществе ситуации они способны отразить реальное положение дел? Для того чтобы получить доступ к реальному, а не лакированному знанию об обществе, о том, можно ли ждать ответственности, заинтересованности и профессионализма от каждого конкретного коллектива, в любой сфере деятельности нам необходимы каналы гласной социологической информации — в качестве альтернативы развращающему принципу тайности информации.

Сейчас организуется Всесоюзный центр общественного мнения. Если бы это зависело от меня, я бы поставила его главной задачей выработку моделей механизмов воздействия на общественные процессы. Я бы прежде всего ввела регулярный опрос общественного мнения — обязательный для каждого, как всесоюзная перепись населения или как воинская повинность. Вероятно, пришлось бы проводить разъяснение государственной важности этой меры (что касается определения степени правдивости мнений, то на это у социологов есть особые психологические «тесты»). И особенно я бы обратила внимание на мнение детей. Я бы как можно чаще начинала социологические опросы с формулировки: «Что вы думаете о...» Надо развивать способность думать, надо отучать от штампов. В частности, один из первых всенародных опросов я бы начала с вопросов: какой смысл лично вы вкладываете в понятие «социализм»? Каким лично вы хотели бы видеть социализм в результате перестройки? Каким вы хотели бы видеть наше общество? Какие реальные шаги к достижению этого лично вы могли бы предложить?

Совершенно особую роль при учете общественного мнения я бы отвела музыкальной науке: путем социологических опросов она бы определяла процентное соотношение «потребления» той или иной музыки в обществе и его оттенки и одновременно путем культурологического анализа раскрывала бы опосредованную связь содержания конкретных музыкальных произведений, и особенно современных советских, с тенденциями духовной жизни общества. Ведь, как я уже говорила, музыка не способна лгать: тем самым, функционируя в обществе, она оказывается чутким показателем глубинных процессов, протекающих в духовной сфере общественной жизни, показателем наиболее глубоких, непосредственных и искренних умонастроений в обществе. Мечты, мечты... Ведь при таком «государственном» использовании музыковедения невероятно возрастает значение личной ответственности музыковеда — интерпретатора му-

зыкального содержания, его личной культуры и его этики...

Тем не менее буду мечтать дальше. Цель работы такого центра изучения общественного мнения я определила бы как создание банка реальных умонастроений общества и обеспечение банка перспективных идей для «очеловечивания» общества.

...Мечты, мечты: к сожалению, по меньшей мере двум видам «вкладчиков» такой банк не мог бы обеспечить тайны вкладов — композиторам, на чьей музыке проводятся тесты, и музыковедам, их интерпретирующим. И потому весь этот утопический проект можно было бы реализовать только в условиях действительного демократического плюрализма идей, мнений и концепций.

А дальше мне видится свободный диалог творческих деятелей с работниками управления культурой по всем вопросам, включая и вопросы мировоззренческие,— в целях определения магистральной линии саморазвития искусства — и поддержка не только этой линии, но всего талантливого и яркого: ведь это непредсказуемый духовный фонд будущего. Мне видится министерство культуры как орган государственной помощи и защиты: не руководящий, не диктующий, а законодательно-организационный; орган, охраняющий искусство от уголовных посягательств на него в любой форме; орган, во главе которого — выборно ли, назначенно ли — стоят авторитетные люди с общественным темпераментом. Люди, безусловно, обладающие в компетентных кругах завоеванным уважением, творческой и общественной позицией. Люди достаточно молодые, имеющие не только достижения, но — что еще важнее — большие творческие возможности.

Я вижу органы самоуправления искусства — советы, где представительствуют самые разные художественные тенденции, и министра — а может быть, и не одного, а двух, трех «товарищей министра» от разных, наиболее общих духовных тенденций культуры (так как творческий человек всегда горячее борется за то, что ему эстетически и духовно ближе),— функция которого заключается в том, чтобы быть проводником «наверх» наиболее важного, того, что требует централизованного решения и наиболее существенной помощи в государственном масштабе. И снова жесткий контроль: испытательные сроки, частота выборов — но и возможность возвращения достойных на второй, а может быть, и на третий срок; и снова учет реального, компетентного общественного мнения и неформальная гласная отчетность «верхов» перед «низами» в любой момент.

Бог нашей эпохи — Меркурий; ее дух — меркантилизм; и это, судя по всему, надолго. Сегодня торгующих не изгоняют из храма, но всячески призывают в него, широко открыв для них все двери. Да, в этом есть насущная необходимость. Но тем более важно, стратегически важно понимание того, что меркантильность не может определять духовно-нравственную жизнь общества; наоборот: чем выше уровень этой жизни, тем она немеркантильней. А пока этому уровню еще расти и расти, пока не ликвидирован дисбаланс интересов и идеалов, управление культурой должно означать прежде всего охрану «высокого», «серьезного» искусства, которое когда-нибудь впредь обязательно будет активно вмешиваться в жизнь, возвышая ее. Как и в экономике, как и в общественной жизни надо готовить «высокой» культуре почву под посев; надо умно и тактично поддерживать самопроизвольно возникающие очаги, откуда исходят хоть малейшие импульсы духовности, ограждая их от злостных проявлений бюрократического бескультурья — индивидуального и государственного.

С точки зрения охраны «серьезного» искусства нынешняя установка «сверху» на рентабельность музыкального искусства, переход на хозрасчет музыкальных издательств, фирм грамзаписи, концертных организаций означает для «серьезной» музыки гибель: как может самоокупаться сегодня то, что по самой своей природе ориентировано не на выгоду? Нерентабельность духовности запрограммирована: «высокое» далеко не всегда может выжить в масштабах стадионов. Духовности нужна дотация. Не случайно в истории «высокой» культуры такую роль всегда играли меценаты и менеджеры. Аристократы, купцы, предприниматели с деньгами и общественным положением — это были люди особой породы: обладавшие развитым эстетическим вкусом и чутьем на талант (вторые — еще и безусловным чутьем на рыночный спрос), не боящиеся брать на себя ответственность. Сами часто будучи любителями, эти люди не возвеличивали своих личных заслуг перед искусством, но испытывали глубокое восхищение перед творчеством и талантом и уважение к профессионализму. Издатели, организаторы концертов, театров, выставок, они, бывало, «прогорали», потому что их меркантилизм перевешивало бескорыстие поистине замечательное. Это была та закваска, тот стимул, который побуждал талант к расцвету; тот стержень, вокруг которого группировалась художественная жизнь, та материальная опора, которая создавала почву под ногами людей «не от мира сего». Россия прошлого века и начала нынешнего: Юргенсон, Беляев, Третьяков, Мамонтов, Тенишева, Дягилев... И последний в их роде у нас в стране — Луначарский. Последний охранитель и покровитель, выдвинувший конкретную программу всестороннего развития личности. В конце 20-х годов ему было предъявлено обвинение «о сути общественного воспитания», в результате чего победила прагматическая индустрия воспитания, плоды которой мы пожинаем сегодня. Где вы, не скованные экономическим интересом и запрещающими инструкциями наши советские меценаты и менеджеры — министры и директора? «Серьезной» музыке нужна ваша помощь: ей противопоказаны резервации — в них она хиреет и утрачивает ту непосредственность переживания общезначимых проблем, в которой ее сила. Сегодня самой жизнью она поставлена в условия резервации; и тем более важно поддерживать ее попытки расширить поле своего влияния. Ей нужны фестивали советской музыки — даже если на них полупустуют залы...

Средства массовой информации и по сей день лишают широкую музыкальную общественность возможности самим — из первых рук — узнать о том, какие процессы происходят в мировой музыкальной культуре и как сопрягаются с ними наши отечественные процессы. В Ленинграде прошел Международный музыкальный фестиваль, представляющий современную зарубежную музыку на небывалом еще в нашей стране уровне, а вместо прямых трансляций по радио, телевидению — редкая и штампованно-однообразная информация. А ведь, более удачный или менее удачный, такой фестиваль — всегда событие, всегда способное подстегнуть мысль о путях и перспективах современной музыки.

Сегодня приходится слышать с разных сторон: а нужен ли народу Союз композиторов? Мне думается, ответ однозначен: внутри системы охраны «высокой» культуры всему свое место — и фондам, и обществам, и профессиональным творческим союзам. Союз композиторов в нынешней неблагоприятной культурной ситуации — это, безусловно, та резервация, задача которой осуществлять поощрение и охрану действительно лучшего в музыке и блюсти интересы компетентных профессиональных людей. Правда, резервации не только охраняют, но и изолируют... А кроме того, если быть до конца честным, то сегодня любые союзы означают привилегии и «закрытые распределители». Убери эту их функцию — и, думается, среди самих работников творческого труда интерес к их союзам, быть может, начисто пропадет. Что греха таить: есть среди них такие, кто потребительски относится к своим союзам,— и прежде всего среди не малоимущих членов: ведь это именно они в первую очередь годами пользуются плодами внутреннего перераспределения общих благ и сами способствуют этому перераспределению в свою пользу. Но ведь с этого стола перепадает и тем, чья жизнь иначе в нынешних условиях превратилась бы в сущий ад — людям, по сути своей бескорыстным... Да, как цеховая организация профессионалов Союз композиторов совершенно необходим — прежде всего для композиторов серьезного жанра. Но так же совершенно необходимы в нем перемены. И вот тут...

Есть такая пословица: каждый народ заслуживает своего правителя. Трагизм ситуации внутри Союза композиторов видится мне не в том, что кто-либо недостойный занимает какое-либо руководящее место, а в том, что его, похоже, сменить некем — в массовой неспособности на сегодняшний день к переменам.

Первое время после апрельского Пленума 1985 года и XXVII съезда все ждали: что-то произойдет... Но прошел композиторский съезд (первым среди съездов творческих союзов), и ничего не изменилось: все то же замалчивание неугодных и равнодушный формализм «дежурных» меро-

приятий — пленумов и секретариатов. И, так и не разгоревшись, затеплившиеся было огоньки заинтересованности, падая на почву всеобщей апатии, разобщенности, скепсиса и самодовольства, стали быстро угасать. Сегодня многие уже снова поговаривают, что от добра добра не ищут... В чем психологические причины такой самоубийственной инертности? В разобщенности сугубо индивидуального духовного производства? Может быть, в специфической «бессловесности» композиторского творчества?

Все бы ничего: вроде бы и нет никакого кризиса. Вот только на концертах в Доме композиторов пусто — и не только из-за отсутствия широкого, но и своего, профессионального слушателя. Вымирают заседания секций. Никак не разворачивается профессиональная дискуссия, о необходимости которой кричат вот уже сколько лет. Даже острые, проблемные материалы, в последнее время проникающие иногда на страницы органа композиторской организации, журнала «Советская музыка», падают, как в вату, во всеобщее равнодушие: похоже, что сами музыканты не читают свой журнал...

Имитируя бурную деятельность по расширению творческих контактов с внешним миром, откликаясь на новые веяния спешной пристройкой все новых «модных» комиссий — просветительской, рок-музыки, «третьего направления», связи с детскими домами — и одновременно со слабо скрытой агрессией отражая любые попытки сделать его внутренние дела достоянием гласности, Союз композиторов, по существу, затаился в глухой и, увы, пока безальтернативной оппозиции к вторгающейся жизни. Шестерни работают вовсю, а машина стоит на месте: нет у ее руководителей на данный момент ни ясных целей, ни конкретных программ, кроме, как представляется, одной — сохранить незыблемо занятые позиции. Думается, не гражданские — иначе активнее боролись бы они за Музыку везде, где только можно,— а прежде всего житейские: под сумевшим пережить 40-летние политические перипетии правлением вырос при равнодушно-благодушной лояльности «маленьких людей» в брежневские годы крепкий кулак, не желающий перемен ни при каких обстоятельствах. Люди, спаянные общими прагматическими установками и прекрасно приспособившиеся к политическим обстоятельствам. Люди, накрепко заблокировавшие многие ключевые общественно-административные позиции.

...Мне думается, по всей стране сегодня свои надежды на будущее бюрократическая коррупция связывает прежде всего с теми, кому сейчас 45—50. Обладающая повышенной способностью к приспособлению — как политическому, так и рыночному,— эта смена была заботливо подготовлена в те годы, когда бюрократия еще не утратила целенаправленности и заинтересованности в самовоспроизводстве — в начале 70-х. Очевидно, не случайно то, что возраст нынешних «нацистов» выдает в них детей этого поколения: больше мертвечина уже не могла плодить подобие — она породила реакцию. Нигилизм и ненависть. Мне думается, что пока по всей стране на страже власти, готовое вот-вот принять ее и не выпускать, стоит это поколение, на корню зараженное и потому неспособное к новому мышлению (зато еще как к подстройке под него),— радикальным переменам придется туго. Но сегодня его час. Можно ли перепрыгнуть через его голову?..

Итак, в начале 70-х годов бюрократия провозгласила: «Творческой молодежи — чуткость и требовательность». И она действительно занималась воспитанием этой молодежи — в своем духе. В этом отличие первой половины 70-х от второй, когда все сковало всеобщее безразличие. Организованные при творческих союзах молодежные объединения заботливо нацеливали молодых художников на политическую конъюнктуру. И далеко не бесталанные молодые композиторы не пошли по пути наибольшего сопротивления — тем более что в то время «серьезная» музыка как раз пребывала в кризисе и дальнейшие пути ее еще не были ясны. Они пошли по пути подчас поверхностной программной декоративности и плакатной патетики.

Но нет правил без исключений, и традиция нонконформизма также нашла в музыке своих продолжателей — Вячеслава Артемова, Валентина Сильвестрова, Леонида Грабовского, Владислава Шутя, Тиграна Мансуряна.

И вот где-то там, в недрах всей этой разобщенности и предвзятости, затерялись, наглухо заблокированные, такие глубокие музыканты, как Алемдар Караманов, Вячеслав Артемов, Александр Локшин, Александр Чугаев, Евгений Голубев; до самого последнего времени одиозным для руководства Союза, а отсюда и для управленческих инстанций было творчество широко признанных за рубежом Эдисона Денисова, Софьи Губайдулиной, Альфреда Шнитке и ряда других «левых» композиторов; затерялось и целое поколение композиторов — моих ровесников.

Разумеется, и мое поколение неоднородно по своим интересам, и в нем конъюнктура пустила корни. Однако в целом оно представляется мне более ярким, интересным, искренним: в нем шире разброс эстетических тенденций, заметнее стремление к широте охвата и глубине отражения действительности. Ряд его фигур, как мне кажется, претендует на значительность. Уже есть сегодня тому доказательства — хотя, конечно, окончательную оценку способны дать только время и общественный резонанс. Василий Лобанов, Николай Корндорф, Андрей Головин, Ефрем Подгайц, Михаил Ермолаев, Владимир Рябов, Петр Аскс, Иосиф Барданашвили, Джаваншир Кулиев...

В первое время после весны 1985 года у некоторых из моих ровесников заметно активизировалась общественная позиция. Однако вакуум, замалчивание и недоброжелательство в родной среде быстро свели инициативу на нет: плетью обуха на перешибешь, один в поле не воин, зачем портить без видимой отдачи, а значит, без смысла свою репутацию там, где — худо-бедно — жить всю жизнь?.. Быть общественным шутом не хочет никто.

Сегодня мои ровесники воспринимаются в стенах их Союза не как наследники, а как конкуренты: ведь в общей обстановке культурного неблагополучия борьба за «доходные места» — за подступы к широкому слушателю — неизбежно обостряется. Достижения их замалчиваются. За некоторыми из них — уже немолодыми в сравнении с нынешними молодыми — годами тянутся в профессиональной среде тенденционные эпитеты, свидетельствующие о недоброжелательности, плохо скрытой под личиной объективизма. И все же, как сказал Михаил Ермолаев: «Огромная доля ответственности за все музыкальные дела — и не только музыкальные — лежит на людях нашего возраста. И нам от этого никуда не деться». Думается, не деться потому, что это мы стали первым звеном в цепи «потерянных» молодых, приведшей к «молодежным проблемам». Именно поэтому мы в ответе за то, чтобы завтра творческая молодежь не терялась. И чтобы этого не происходило, нам надо прежде всего найтись. Даже если нас — не ищут.

Мне видится только один путь обновления жизни и атмосферы в Союзе композиторов: разобраться наконец с профессиональными критериями оценки качества музыки и нацелить все дело на выявление и упорную пропаганду (изыскивая методы противодействия управленческой бюрократии и коммерческой погоне за прибылью любой ценой) музыки действительно талантливой и интересной. Уверена, что это, в свою очередь, оценит слушатель, который и сегодня есть, но думает, идти ли ему из-за одного хорошего сочинения на концерт... А для этого надо выдвинуть на ведущие позиции — «снизу» ли, «сверху» ли — тех, кто наименее поражен конъюнктурой и коррупцией. Людей принципиальных, честных, искренних и бескомпромиссных (но терпимых!). И еще: обязательно дать слово молодым. Чем вымирать от взаимных фальшивых славословий в полупустых залах, пусть лучше молодые ругаются до хрипоты. Пусть думают, сгоряча решают, пусть на практике освобождаются от своего социального инфантилизма и дорастают до государственных проблем, укрепляя в деле чувство ответственности за искусство во всем его многообразии и по необходимости ища взаимоприемлемые пути его развития. Пусть будет такая атмосфера, какая была у нас во втором Молодежном объединении в глухие годы застоя, вызывая недовольство консерваторов. (Не потому ли и было оно в конце концов развеяно в пустоте одним мановением руки?..) ...Вот только кто будет выдвигать, когда «народ безмолвствует»? А кто и когда сам отрекался от власти не в пользу своих прямых наследников? Ах, мечты, мечты...

К нашей вкладке

Мариника БАБАНАЗАРОВА

ПРИЕЗЖАЙТЕ В НУКУС

В апреле минувшего года в Москве, в Музее искусства народов Востока, проходила выставка «Забытые полотна». На выставке я часто слышала: «Советское искусство надо изучать в Нукусском музее». Многие действительно едут в Каракалпакию, в столицу нашей республики Нукус для того, чтобы посмотреть уникальную коллекцию, собранную известным теперь уже не только в Союзе, но и за рубежом человеком, первым директором нашего музея И. В. Савицким.

В основу собрания легла первая коллекция Савицкого — каракалпакского прикладного искусства. Однако всесоюзную известность Нукусскому музею принесла другая коллекция — узбекского и русского изобразительного искусства 1930—1940 годов, насчитывающая десятки тысяч экспонатов. Часть именно этой коллекции и демонстрировал в Москве наш музей.

По профессии Игорь Витальевич Савицкий был художником. В Каракалпакию он приехал в 1950 году в составе Хорезмской археолого-этнографической экспедиции Академии наук СССР. По признанию самого Савицкого, Средняя Азия всегда тянула его к себе. То, что предстало его взору, было сказкой. В те годы освоение древних земель только начиналось, в Каракалпакии сохранилось огромное количество памятников древней архитектуры. Савицкий писал: «Мы буквально ходили по древностям». Впечатления от величественных развалин древнего Хорезма отразились в его живописных работах.

Каракалпакские впечатления перевернули всю жизнь Савицкого. Была брошена квартира в центре Москвы, художник устроился лаборантом в республиканском филиале Академии наук Узбекистана. Друзья и знакомые отговаривали, утверждая, что талантливому художнику нельзя отрываться от крупнейших культурных центров — Москвы, Ленинграда. Искусствовед М. Земская рассказывала: «Чтобы исцелить от страсти к Каракалпакии, друзья и родственники Савицкого приводили его к величайшим шедеврам Третьяковской галереи, Музея искусств. Савицкий бормотал: «Да, да. Матисс... Это уже у меня есть в вышивках кзыл-киймешеков. Врубель — узнаю! Это же колорит каракалпакского акбаскура. Только бы найти мне его вторую половину...»

До сих пор Савицкого помнят старожилы: вряд ли есть в республике аул, в котором не побывал бы этот странный, как могло показаться со стороны, человек, завороженно рассматривавший коврики, орнаменты старого тряпья, резьбу деревянной мебели... В народе до сих пор живы рассказы о том, как Савицкий собирал свою коллекцию. Когда кончались казенные деньги, он, не задумываясь, платил своими. Вещи не только покупались, но часто в самом прямом смысле спасались. Так, фрагмент удивительного коврика был извлечен из арыка, им затыкали шлюз; а один из сабаяков (шкафчиков) был обнаружен в стойле осла — сабаяк едва не пошел на растопку печи.

С 1960 года Савицкий, одержимый идеей создания Музея искусств в Каракалпакии, вступает на сложный, тернистый путь. Для начала он организует выставки народно-прикладного искусства каракалпаков в Нукусе, Ташкенте, затем в Москве. Почти неизвестное досселе творчество малочисленного народа потрясает специалистов, вызывает восторженные отзывы. Это придает Савицкому новые силы. В феврале 1966 года принимается решение Совета Министров ККАССР о создании Музея искусств республики. Поначалу была выделена одна штатная единица — директора; Савицкий делит зарплату со своим сотрудником и разворачивает с новой энергией организаторскую, научную, собирательскую деятельность. Он же — и печник, и повар, и уборщик, и грузчик, и упаковщик, и рабочий на строительстве музея, состоявшего поначалу из семи комнат...

Тогда же, в 60-е годы, Савицкий начал собирание узбекских и русских художников 1930—1940 годов.

Ко времени революции и в первые годы Советской власти Узбекистан не имел своих профессиональных художников, существовала лишь газетно-журнальная иллюстрация. В 20-е годы начинается формирование местной школы изобразительного искусства. Захваченные идеями переустройства страны, художники вырабатывали свои взгляды на новое искусство в неистовых спорах. Те из них, кто приехал из Москвы, Сибири и для кого Восток стал судьбою, вторым домом, принесли с собой дух и традиции русской и европейской культуры. Каждая выставка тех лет вызывала шумные споры, доходившие порой до баталий, становилась настоящим событием. Так рождалось новое искусство.

По мнению специалистов, узбекистанская школа живописи первых послереволюционных десятилетий была одной из ведущих в стране. Достаточно вспомнить выставку узбекских художников в Москве в 1934 году (У. Тансыкбаев, А. Волков, М. Курзин, В. Уфимцев, А. Николаев (Усто-Мумин) и другие), о которой писали критики, что она «во многом была поучительной для московских художников».

Но в годы, когда этих и других авторов стал собирать Савицкий, их произведения не выставлялись. Творчество большинства из них было признано формалистическим, судьба многих сложилась тяжело, работы в лучшем случае пылились на чердаках, в запасниках, а иногда и физически уничтожались.

Савицкий вел поиски в Ташкенте и Самарканде — основных культурных центрах региона. Метод поиска он называл подворным обходом. Ходил из одной студии в другую, от еще живых художников к наследникам и близким уже умерших. Принципом сбора была так называемая монографичность, когда Савицкий забирал все — от этюдов и набросков до законченных работ,— дабы творчество того или иного мастера было представлено возможно более полно.

Закономерно, что со временем внимание Савицкого стали привлекать и те художники, чье творчество уже не было связано со Средней Азией, но также приходилось на 30—40-е годы, было в русле тех же исканий и традиций. Зачастую собиратель открывал совершенно незнакомые имена, возвращал к жизни забытые. Сейчас произведения этих художников, в основном москвичей: Н. Тарасова, И. Прокошева, Д. Лопатникова, В. Лысенко, А. Поманского, А. Сафроновой, М. Соколова и многих других — получили высокую оценку, их изучают, продолжают разыскивать... При жизни Савицкого такой розыск был затруднен, собирательская деятельность требовала от Игоря Витальевича большого мужества. Ведь он фактически спас многие произведения от гибели. К примеру, работы В. Чекрыгина Савицкий привез в Нукус после списания их из фондов Третьяковки.

Последние приобретения уже тяжело больного Савицкого составили два контейнера. То была графика Ставровского, Зимина, живопись Штанге, Полякова, Левика, Некрасовой, Тверитина, а также иконы, русская мебель, редкие книги. Все это забирали в музей уже после смерти Савицкого.

Музей пополнялся и произведениями зарубежного искусства. Так, в 1975 году музей приобрел часть коллекции, переданной в дар Советскому Союзу вдовой Фернана Леже.

В итоге собирательской деятельности Савицкого и его музея произведения, образующие целый пласт в истории изобразительного искусства (причем пласт, совершенно недостаточно освещенный искусствоведческой наукой и как бы выпавший из поля зрения), оказались в Нукусе.

Государственный Музей искусства Каракалпакской АССР имени И. В. Савицкого существует чуть более двадцати лет. За этот короткий период он вошел в ряд ведущих музеев Советского Союза как по значимости своего собрания, так и по числу единиц хранения. Это уникальный случай в практике музейного дела.

После себя Савицкий оставил не только музей. Он создал наш коллектив — коллектив энтузиастов, который, несмотря на огромные трудности, продолжает дело Савицкого — бережно хранит, пропагандирует и пополняет коллекцию, собранную этим замечательным человеком.

А. ВОЛКОВ. В чайхане. 1928 г.

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСКУССТВ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР г. Нукус.

А. НИКОЛАЕВ (УСТО МУМИН). Портрет молодого узбека.

В. ЛЫСЕНКО. Бык на сером фоне.

В. ЛЫСЕНКО. Автопортрет. 1920 г.

Н. КАШИНА. На улице Самарканда.

Р. ФАЛЬК. Площадь в Самарканде.
К. РЕДЬКО. Материнство. 1929 г.

А. ПОРЕТ. Семейный портрет. 1937 г.

М. СОКОЛОВ. Пейзаж в пасмурный день. 1930 г.

Илья ФАЛИКОВ

☆☆☆

Есть совесть, кричащая в спину,
когда уже поздно — уже
ты выпачкан по сердцевину,
и кошки скребут на душе.

Но есть и другая — не эта,
что тянет с похмелья винцо,
а та, что диктует до света,
ЧТО ДЕЛАТЬ, и смотрит в лицо.

☆☆☆

Не писано песен протеста,
с подачи не пето чужой,—
имелось и время, и место,
и будущее за душой.

О деле большом и здоровом
болелось, ребятки, и нам.
По случаю незачем к новым
примазываться временам.

И в море, и во поле чистом
звучал неподкупный язык,
в котором тебе конформистом
жилось без особых вериг.

А тот, кому хочется очень
урвать от натурных щедрот,
пускай отправляется в Сочи
и песни протеста поет.

☆☆☆

Прежней наивности мне и не надо,
нынешней трезвостью я обойдусь.
Первым сотрудничал с Избранной радой
царь, не забыла которого Русь.

Царь, оказавшийся в будущем Грозным,
Земским соборам доверил свое
дело, которое стало серьезным,
так что поныне кричит воронье.

Впрочем, история отчего края
не утесняется в пытку и грай.
Помнится, помер Ивашка, играя
в шахматы.
Хочется если — играй.

Но не ищи, ради бога, намеков
на современность мою и твою.
Время другое. Вернулся Набоков.
Шахматы ценятся в отчем краю.

«Москва — Сочи»

На ходу состава в Туапсе
прямо в море высадились все.
У прибоя — норов, да не мой,
пена — семя бога, Афродита,
а в купе вошел глухонемой,
я ж купец, и дверь моя открыта.

У глухонемого свой товар,
он против застоя восставал.
Те фотобуклетики блистали
глянцем, педикюром, сменой вех.
Темы две. Одна — товарищ Сталин,
а вторая — та, что тешит всех.

То, что кто-то делает в кустах,
разве происходит в поездах?
Было все, у всех бывали чувства,
а в горах рождается орел.
Разве не за счет фотоискусства
Ленин в Горках друга приобрел?

Разве сын сапожника не бог,
а народ не чистильщик сапог?
Обойми его за голенище,
милая! Покуда голяком,
помолись — и девственницы чище —
отразишься в зеркале таком.

С трубочкой великий бедокур
объявил великий перекур.
Дым валит, свирепствует поруха
в храме, возведенном без гвоздя.
По одной цене идет порнуха
с незабвенным образом вождя.

От верблюда

В поле незнаемом, ночью глухой
ты меня спросишь: — Откуда
ты появился, такой молодой?
Я сообщу:
— От верблюда.

Он проходил в африканских песках
и по сухой Палестине,
спал на Арбате, вздыхая впотьмах
о притибетской пустыне.

Был по душе ему Шелковый путь,
и на пороге Китая
он позволял себе грустно вздохнуть,
дикую степь покидая.

Было в привычку ему на века
связывать стороны света,
не охладела душа седока,
долгим скитаньем согрета.

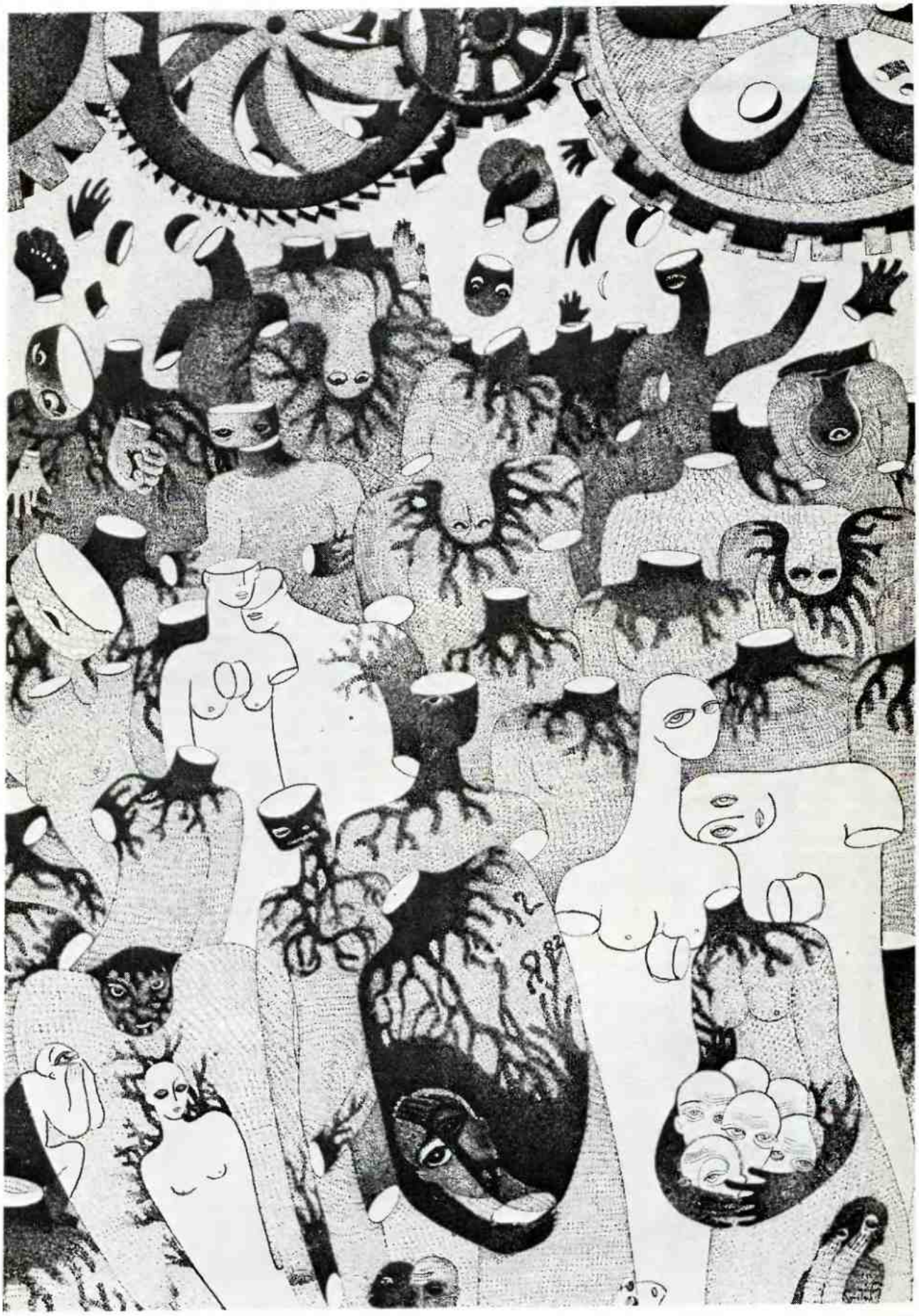
Стих, состоящий из острых углов,
вспыхнет и спустится наземь,
парнокопытен и птичьеголов, —
словом, верблюдообразен.

В лондонском цирке

На лбу тигрином борозды раздумий,
нам неизвестных порознь и в сумме,
но эти мысли тягостно черны,
а полосы остаточно красны.
Любой удар судьбы в боксерской стойке
зверь честно примет — вплоть до неустойки,
которую уплачивать артист
обязан шкурой, попусту когтист.

На родине футбола, бокса, танка
тренировалась великобританка.
Заложена в игре ее хлыста
идея неподжатого хвоста.
Вконец исполосованному зверю
она сама — родня в известной мере,
хотя у ней отсутствуют клыки,
а хвост произрастает из руки.

В ее дорогостоящем поклоне
есть что-то от потерянных колоний,
от золотого века или дня
в сиянии бенгальского огня.
И бедра дрессировщицы поджарой
по-женски округляются, пожалуй,
когда она взлетит не без хлыста
верхом на колоссального кота.



Евгения Семеновна Гинзбург свою «хронику времен культа личности» назвала точно и образно: «Крутой маршрут». Высокообразованная и талантливая писательница принесла это произведение в «Юность» более двадцати лет назад. В нем она рассказывает о своей драматической жизни 1934—1937 годов. Евгения Семеновна доверила редакции самые сокровенные мысли. В «Юности» уже хорошо знали ее — автора ярких, правдивых вещей о двадцатых годах, опубликованных в нашем журнале. С живой заинтересованностью, поражаясь мужеству и откровенности столь много пережившего человека, прочли мы художественное повествование «Крутой маршрут», но... напечатать его тогда было невозможно.

В тех очерках и рассказах, в основном автобиографических, что несколько лет подряд появлялись в «Юности» в шестидесятые годы, Евгения Гинзбург емко и впечатляюще передавала атмосферу, в которой росла и мужала девочка, девушка, женщина, выстоявшая в тяжелейшие годы сталинизма, сохранившая свои убеждения и идеалы.

Очень живая, добрая, с чувством юмора, с незаурядным литературным талантом, с великолепной памятью, Евгения Семеновна щедро делилась с читателями своими радостями и бедами.

Вспомним некоторые из тогдашних публикаций.

1963 год, № 11, очерк «Город Рабфак, страна Комсомолия» — о первом рабфаке в Казани, в Татарии, где Евгения Семеновна — ровесница многих рабфаковцев — преподавала им русский язык и историю. «...Я смотрю на фотографию первого выпуска татарского рабфака. Обычный групповой снимок. Что стало потом с каждым из окончивших рабфак комсомольцев?..

...Жили со всей страной ее радостями, ее бедами. Многие сложили головы на полях войны. На одном портрете глаз задерживается дольше, чем на всех остальных. На нем изображен рабфаковец с правильными чертами лица, с мечтательными черными глазами... Муса Джалиль... В те далекие годы, когда он сидел на первой парте... мы не подозревали, конечно, что перед нами будущий поэт с мировым именем, человек, чьей кристальной жизнью и героической смертью будет гордиться социалистическое Отечество»...

1965 год, № 11 — «Единая трудовая...» Воспоминания о первых шагах советской школы.

Осень 1918 года. Декрет о единой трудовой школе. Девочкам по тринадцать лет. Классная дама впервые назвала бывших гимназисток «товарищи» и объявила им о переходе от раздельного обучения к совместному, «в нашу единую трудовую советскую школу второй ступени вливается весь ученический состав бывшей третьей мужской гимназии». Реакция девочек на приход смущающихся мальчиков. Сторонники и противники новой системы обучения. Большинство школьников горячо приняли декрет, тем более, что среди мальчиков оказались и такие, кто уже воевал. К примеру, двадцатилетний Сашка-комиссар (о нем Евгения Семеновна написала документальную повесть «Юноша» — 1967 г., № 9). Автор говорит о времени трудном и голодном, о нелегких первых шагах единой трудовой школы, о зарождающемся самоуправлении, о выборах учкома. «Сколько раз потом, в тяжелые времена я вспоминала этот первый рассвет двадцатых годов и черпала силу в этом воспоминании! Великие, чистые, юные наши двадцатые годы» — так заканчивает Е. Гинзбург свои воспоминания.

В 1964 году Евгения Семеновна опубликовала в «Юности» очерк «Студенты» (№ 8), в 1970-м — рассказ «Учительская кровь» (№ 6).

Недавняя учительница, преподаватель общественных наук в Казанском университете, журналистка, она и в сталинских застенках оставалась неизменно доброжелательной, чуткой к тем, кто нуждался в помощи. Об этом и о многом другом тяжком и трагическом написала Евгения Гинзбург в «Крутом маршруте»:

«Неужели такое мыслимо? Неужели это все всерьез? Пожалуй, именно... изумление и помогло выйти живой. Я оказалась не только жертвой, но и наблюдателем... Жгучий интерес к тем сторонам жизни, которые открылись передо мной, нередко помогал отвлекаться от собственных страданий. Я старалась все запомнить в надежде рассказать об этом тем хорошим людям, тем настоящим коммунистам, которые будут же, обязательно будут когда-нибудь меня слушать».

И написала тогда Евгения Семеновна свой крутой маршрут, который она с честью преодолела, оставшись настоящим человеком, женщиной, матерью, одаренной писательницей; и много лет назад первую часть рукописи предложила «Юности». Сейчас, в эпоху демократизации и гласности, редакция предоставляет свои страницы первой части «воспоминаний рядовой коммунистки». Ей крайне важно и дорого было напечатать это именно в «Юности», где после долгого вынужденного перерыва возродилась ее журналистская и писательская работа. Очень горько, что сама Евгения Гинзбург никогда не узнает об этой публикации. Читатель же получит честную, волнующую книгу. Она поможет ему еще глубже понимать прошлое и учиться жить по-новому.

Полностью «Крутой маршрут» печатается в журнале «Даугава» с № 7 за 1988 год.

Отдел прозы

Евгения
ГИНЗБУРГ

КРУТОЙ МАРШРУТ

Хроника времен культа личности

И я обращаюсь к правительству нашему
с просьбою:
удвоить,
утроить у этой плиты караул...

Евтушенко

Все это кончилось. Мне и тысячам таких, как я, выпало счастье дожить до двадцатого и двадцать второго съездов партии.

В 1937-м, когда все это случилось со мной, мне было немного за тридцать. Сейчас — больше пятидесяти. Между этими двумя датами пролегло восемнадцать лет, проведенных ТАМ.

Много разных чувств терзало меня за эти годы. Но основным, ведущим было чувство изумления.

Неужели такое мыслимо? Неужели это все всерьез?

Пожалуй, именно оно, это изумление, и помогло выйти живой. Я оказалась не только жертвой, но и наблюдателем.

Что же будет дальше? Неужели ТАКОЕ возможно ПРОСТО ТАК? Без справедливого возмездия?

Жгучий интерес к тем новым сторонам жизни, человеческой натуры, которые открылись передо мной, нередко помогали отвлекаться от собственных страданий.

Я старалась все запомнить в надежде рассказать об этом тем хорошим людям, тем настоящим коммунистам, которые будут же, обязательно будут когда-нибудь меня слушать.

Я писала эти записки, как письмо к внуку. Мне казалось, что только примерно к восьмидесятому году, когда моему внуку будет двадцать лет, все это станет настолько старым, чтобы дойти до людей.

Как хорошо, что я ошиблась! В нашей партии, в нашей стране снова царит великая ленинская правда. Уже сегодня можно рассказать людям о том, что было, чего больше никогда не будет.

И вот они — воспоминания рядовой коммунистки. Хроника времен культа личности.

ЧАСТЬ I

1. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НА РАССВЕТЕ

Тридцать седьмой год начался, по сути дела, с конца 1934-го. Точнее, с первого декабря 1934-го.

В четыре часа утра раздался пронзительный телефонный звонок. Мой муж — Павел Васильевич Аксенов, член бюро Татарского обкома партии, был в командировке. Из детской доносилось ровное дыхание спящих детей.

— Прибыть к шести утра в обком. Комната 38.

Это приказывали мне, члену партии.

— Война?

Но трубку повесили. Впрочем, и так было ясно, что случилось недоброе. Не разбудив никого, я выбежала из дома еще задолго до начала движения городского транспорта. Хорошо запомнились бесшумные мягкие хлопья снега и странная легкость ходьбы.

Я не хочу употреблять возвышенных оборотов, но, чтобы не погрешить против истины, должна сказать, что если бы мне приказали в ту ночь, на этом заснеженном зимнем рассвете, умереть за партию не один раз, а трижды, я сделала бы это без малейших колебаний. Ни тени сомнений в правильности партийной линии у меня не было. Только Сталина (инстинктивно, что ли!) не могла боготворить, как это входило в моду. Впрочем, это чувство настороженности в отношении к нему я тщательно скрывала от себя самой.

В коридорах обкома толпилось уже человек сорок научных работников-коммунистов. Все знакомые люди, товарищи по работе. Потревоженные среди ночи, все казались бледными, молчаливыми. Ждали секретаря обкома Лепа.

— Что случилось?

— Как? Не знаете? Убит Киров...

Лепа, немного флегматичный латыш, всегда бесстрастный и непроницаемый, член партии с 1913 года, был сам не свой. Его сообщение заняло только пять минут. Ровно ничего он не знал об обстоятельствах убийства. Повторил только то, что было сказано в официальном сообщении. Нас вызвали всего только затем, чтобы разослать по предприятиям. Мы должны были выступить с краткими сообщениями на собраниях рабочих.

Мне досталась ткацкая фабрика в Заречье, заводском районе Казани. Стоя на мешках с хлопком, прямо в цеху, я добросовестно повторяла слова Лепа, а мысли в тревожной сумятице рвались далеко.

Вернувшись в город, я зашла выпить чаю в обкомовскую столовую. Рядом со мной оказался Евстафьев, директор института марксизма. Это был простой, хороший человек, старый ростовский пролетарий, член партии с дооктябрьским стажем. Мы дружили с ним, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте, при встречах всегда с интересом беседовали. Сейчас он молча пил чай, не оглядываясь в мою сторону. Потом осмотрелся кругом, наклонился к моему уху и каким-то странным, не своим голосом, от которого у меня все оборвалось внутри предчувствием страшной беды, сказал:

— А ведь убийца-то — коммунист...

2. РЫЖИЙ ПРОФЕССОР

Длинные газетные полосы с обвинительными заключениями по делу об убийстве Кирова бросали в дрожь, но еще не вызывали сомнений. Бывшие ленинградские комсомольцы? Николаев? Румянцев? Каталынов? Это было фантастично, невероятно, но об этом было напечатано в «Правде» — значит, сомнений быть не могло.

Но вот процесс начал расширяться концентрическими кругами, как на водной глади, в которую упал камень.

В солнечный февральский день 1935 года ко мне зашел профессор Эльвов. Это был человек, появившийся в казанских вузах после известной истории с четырехтомной «Историей ВКП(б)» под редакцией Емельяна Ярославского. В статье о 1905 годе, написанной Эльвовым для этой книги, были обнаружены теоретические ошибки по вопросу о теории перманентной революции. Вся книга, в частности статья Эльвова, была осуждена Сталиным в его известном письме в редакцию журнала «Пролетарская революция». После этого письма ошибки получили более четкую квалификацию: «троцкистская контрабанда».

Но в те времена, до выстрела в Кирова, все эти вопросы стояли не очень остро. И Эльвов, приехав в Казань по путевке ЦК партии, стал профессором Педагогического института, был избран членом горкома партии, выступал с докладами на общегородских собраниях интеллигенции, на партактивах. Даже доклад на городском активе, посвященном убийству Кирова, делал Эльвов.

Это был человек, бросавшийся в глаза. Красно-рыжая курчавая шевелюра, очень крупная голова, посаженная прямо на плечи. Шеи у Николая Эльвова почти не было, и поэтому его высокая коренастая фигура производила одновременно впечатление и силы, и какой-то физической беспомощности. Где бы он ни появлялся, на него оглядывались. Не мог он остаться незамеченным и по своим душевным проявлениям. Его доклады, блестящие и иногда претенциозные, его выступления, безапелляционные и едкие, каскады эрудиции, которые он обрушивал на головы скромных казанских преподавателей,— все это делало его одиозной фигурой в городе. Было ему в 1935 году 33 года.

...И вот он сидит передо мной в этот морозный солнечный февральский день 1935 года. Сидит не в кресле у письменного стола, а на стуле в углу. Не раскинув длинные ноги в элегантных ботинках, а поджав их под стул. И лицо у него не розово-белое, как у всех рыжих, как бывало у него всегда, а темно-серое. И на руках он держит моего двухлетнего Ваську, забежавшего в комнату. И говорит синими трясущимися губами:

— У меня ведь тоже есть... Сережа... Четыре года. Хороший парень...

Потом я много видела таких глаз, какие были в этот день у рыжего профессора. Я не знаю, какими словами определить эти глаза. В них мука, тревога, усталость загнанного зверя и где-то, на самом дне, полубезумный проблеск надежды. Наверно, у меня самой были потом такие же. Но у себя самой я их почти не видела по той простой причине, что мне не приходилось долгими годами видеть свое отражение в зеркале.

— Что с вами, Николай Наумыч?

— Все. Все кончено. Я только на минуту. Только хотел сказать вам, чтобы вы не думали... Ведь это все неправда. Клянусь — я ничего не сделал против партии.

Стыдно вспомнить, как я начала его «утешать» плоскими обывательскими фразами. Дескать, он все преувеличивает... Ну, может быть, по остроте положения выговор задним числом объявят за ту ошибочную статью... и т. д.

Потом он сказал совсем странные слова:

— Мне очень больно, что и вы можете пострадать за связь со мной... я не хотел этого...

Тут я посмотрела на него с явным опасением. Не сошел ли с ума? Я могу пострадать за связь с ним? Какая связь? Что за чушь?

Меня судьба столкнула с ним с самого его приезда в Казань, кажется, с осени 1932 года. Я работала тогда в Пединституте. Он появился как зав. кафедрой русской истории. Квартиру ему дали в здании института. Он сразу задумал несколько изданий и стал для этого собирать на своей квартире научных работников. Помню, что меня туда пригласили для участия в подготовке хрестоматии по истории Татарии.

Еще раз мне пришлось работать вместе с Эльвовым в ре-

дакции областной газеты «Красная Татария». После крупного конфликта между новым редактором Красным и прежними сотрудниками этой газеты обком решил освежить аппарат редакции и направил туда «на укрепление» несколько человек из числа научных работников. Меня назначили зав. отделом культуры, Эльвова — зав. отделом международной информации.

— С каких это пор совместная работа в советском вузе и в партийной прессе стала называться «связью», да еще такой, от которой можно «пострадать»?

Видно, в этот страшный момент своей жизни, отбросив свойственные ему позерство и самолюбование, он обрел дар понимания людей. Потому что он правильно увидел за моими словами не трусость, не лицемерие, а беспробудную политическую наивность. Да, я была членом партии, историком и литератором, имела уже ученое звание, но я была политическим младенцем. Он уловил это.

— Вы не понимаете момента. Вам трудно будет. Еще труднее, чем мне. Прощайте.

В прихожей он долго не мог попасть в рукава своего кожаного пальто. Мой старший сын Алеша, тогда девятилетний, встал в дверях, внимательно и серьезно глядя на «рыжего». Потом помог ему надеть пальто. А когда дверь за Эльвовым захлопнулась, Алеша сказал:

— Мамочка, это вообще-то не очень симпатичный человек. Но сейчас у него большое горе. И его сейчас жалко, правда?

На другое утро у меня была лекция в Пединституте. Старый швейцар, знавший меня со студенческих лет, бросился ко мне, едва я показалась в вестибюле.

— Профессора-то нашего... Рыжего-то... Увели сегодня ночью... Арестовали...

3. ПРЕЛЮДИЯ

Последовавшие затем два года можно назвать прелюдией к той симфонии безумия и ужаса, которая началась для меня в феврале 1937 года.

Через несколько дней после ареста Эльвова в редакции «Красной Татарии» состоялось партийное собрание, на котором мне впервые были предъявлены обвинения в том, чего я НЕ делала.

Оказывается, я НЕ разоблачила троцкистского контрабандиста Эльвова. Я НЕ выступила с уничтожающей рецензией на сборник материалов по истории Татарии, вышедший под его редакцией, а даже приняла в нем участие. (Моя статья, относившаяся к началу 19-го века, при этом совершенно не критиковалась.) Я ни разу НЕ выступила против него на собраниях.

Попытки апеллировать к здравому смыслу были решительно отбиты.

— Но ведь не я одна, а никто в нашей областной парторганизации не выступал против него...

— Не беспокойтесь, каждый ответит за себя. А сейчас речь идет о вас!

— Но ведь ему доверял обком партии. Коммунисты выбрали его членом горкома.

— Вы должны были сигнализировать, что это неправильно. Для этого вам и дано высшее образование и ученое звание.

— А разве уже доказано, что он троцкист?

Последний наивный вопрос вызвал взрыв священного негодования.

— Но ведь он арестован! Неужели вы думаете, что у нас кого-нибудь арестовывают, если нет точных данных?

На всю жизнь я запомнила все детали этого собрания, замечательного для меня тем, что на нем я впервые столкнулась с тем нарушением логики и здравого смысла, которому я не уставала удивляться в течение всех последующих двадцати с лишком лет, до самого XX съезда партии, или по крайней мере до сентябрьского Пленума 1953 года.

...В перерыве партийного собрания я зашла в свой редакционный кабинет. Хотелось побыть одной, обдумать дальнейшее поведение. Как держаться, чтобы не уронить своего партийного и человеческого достоинства? Щеки мои пылали. Минутами казалось, что схожу с ума от боли незаслуженных обвинений.

Скрипнула дверь. Вошла редакционная стенографистка Александра Александровна. Я часто диктовала ей. Жили с ней дружно. Пожилая, замкнутая, пережившая какую-то личную неудачу, она была привязана ко мне.

— Вы неправильно ведете себя, Е. С. Признавайте себя виновной. Кайтесь.

— Но я ни в чем не виновата. Зачем же лгать партийному собранию?

— Все равно вам сейчас вынесут выговор. Политический выговор. Это очень плохо. А вы еще не каетесь. Лишнее осложнение.

— Не буду я лицемерить. Объявят выговор — буду бороться за его отмену.

Она взглянула на меня добрыми, оплетенными сетью морщинок глазами и сказала те самые слова, которые говорил мне при последней встрече Эльвов.

— Вы не понимаете происходящих событий. Вам будет очень трудно.

Наверное, сейчас, попав в такое положение, я «покаялась» бы. Скорее всего. «Я и сам ведь не такой — не прежний, неподкупный, гордый, чистый, злой». А тогда я была именно такая: неподкупная, гордая, чистая, злая. Никакие силы не могли меня заставить принять участие в начавшейся кампании «раскаяния и признания ошибок».

Большие многолюдные залы и аудитории превратились в исповедальни. Несмотря на то, что отпущения грехов давались очень туго (наоборот, чаще всего покаянные выступления признавались «недостаточными»), все же поток «раскаяний» ширился с каждым днем. На любом собрании было свое дежурное блюдо. Каялись в неправильном понимании теории перманентной революции и в воздержании при голосовании оппозиционной платформы в 1923 году. В «отрыжке» великодержавного шовинизма и в недооценке второго пятилетнего плана. В знакомстве с какими-то грешниками и в увлечении театром Мейерхольда.

Бия себя кулаками в грудь, «виновные» вопили о том, что они «проявили политическую близорукость», «потеряли бдительность», «пошли на примиренчество с сомнительными элементами», «лили воду на мельницу», «проявляли гнилой либерализм».

И еще много-много таких формул звучало под сводами общественных помещений. Печать тоже наводнилась раскаянными статьями. Самый неприкрытый заячий страх водил перьями многих «теоретиков». С каждым днем возрастали роль и значение органов НКВД.

Редакционное партсобрание вынесло мне выговор «за притупление политической бдительности». Особенно настаивал на этом редактор Коган, сменивший в это время Красного. Он произнес против меня настоящую прокурорскую речь, в которой я фигурировала как «потенциальная единомышленница Эльвова».

Через некоторое время обнаружилось, что сам Коган имел оппозиционное прошлое, а его жена была личным секретарем Смилги и принимала участие в известных «проводах Смилги» в Москве при отъезде Смилги в ссылку. Чтобы отвлечь внимание от себя, Коган проявлял страшное рвение в «разоблачении» других коммунистов, в том числе и таких политически неопытных людей, как я. В конце 1936 года Коган, переведенный к тому времени в Ярославль, бросился под поезд, не в силах больше переносить ожидания ареста.

Немного поднялось мое настроение в связи с тем, что секретарь райкома партии оказался таким же «непонятливым», как я. Когда мой выговор поступил по моей апелляции на бюро райкома, он удивился:

— За что же ей выговор? Ведь Эльвова знали все. Ему доверяли обком и горком. Или за то, что по одной улице с ним ходила?

И выговор отменили, оставив (по настоянию других членов бюро, лучше секретаря разобравшихся в том, что требовалось от них «на данном этапе») поставить на вид «недостаточную бдительность».

4. СНЕЖНЫЙ КОМ

В семи километрах от города, на живописном берегу Казанки, расположилась обкомовская дача «Ливадия». Построил ее предшественник Лепа, бывший секретарь обкома Михаил Разумов. Коротконогий толстяк с пронзительными голубыми глазами и профилем Людовика 16-го, член партии с 1912 года, он был связан близкой дружбой с моим мужем — Аксеновым. Поэтому мы знали этого «первого бригадира Татарстана» (такая формула подхалимства была в то время в ходу) очень хорошо.

Это был человек, полный противоречивых качеств. При несомненной преданности партии, при больших организаторских данных он был очень склонен к «культу» собственной личности. Я познакомилась с ним в 1929 году, и он овельможивался буквально на моих глазах. Еще в 1930 году он занимал всего одну комнату в квартире Аксеновых, а проголодавшись, резал перочинным ножичком на бумажке колбасу. В 1931 году он построил «Ливадию» и в ней для себя отдельный коттедж. А в 1933-м[1934], когда за успехи в колхозном строительстве Татария была награждена орденом Ленина, портреты Разумова уже носили с песнопениями по городу, а на сельхозвыставке эти портреты были выполнены инициативными художниками из самых различных злаков — от овса до чечевицы.

Мы, близкие личные приятели Разумова, еще задолго до того, как аналогичная ситуация была описана Ильфом и Петровым, поддразнивали своего секретаря:

— Михаил Осипович, вам ночью воробьи глаза выклевали. Посмотрите, на Черном озере!

Летом в Ливадии отдыхали члены бюро обкома с семьями. Круглый год приезжали по выходным.

В один из весенних дней 1935 года мы приехали тоже всей семьей на день отдыха. За одним из столиков я заметила новое лицо.

— Это что еще за рыжий Мотэле? — шепотом спросила я мужа.

— Не рыжий, а черный, и не Мотэле, а товарищ Бейлин, новый председатель партколлегии КПК.

Думала ли я тогда, что за внешним обликом добродушного местечкового портного скрывается мой первый инквизитор?

Нас познакомили. Что-то блеснуло в его глазах при упоминании моей фамилии, но он тут же погасил этот взгляд, устремив его на тарелку со знаменитыми ливадийскими пирожками. Оказалось, что мое «дело» уже лежало на его служебном столе.

Через несколько дней после этой первой встречи я уже сидела перед жгучими садистско-фанатическими очами товарища Бейлина в его кабинете, и он со всей талмудистской изощренностью уточнял и оттачивал формулировки в моих «преступлениях». Снежный ком покатился под гору, катастрофически разбухая и грозя задушить меня.

У товарища Бейлина был тихий голос. Он называл меня по-партийному на «ты».

— Ты разве не читала статью товарища Сталина? Ведь ты высококвалифицированная и не могла не понять ее.

— Ты разве не знала, что по вопросам перманентной революции Эльвов имел ошибки?

— Ты не признала на партийном собрании своей вины. Значит, ты не хочешь разоружиться перед партией?

Я не понимала, что значит «разоружиться», и пыталась убеждать Бейлина, что я никогда против партии не вооружалась.

Он мягко прикрывал полукруглыми веками свои горячие глаза и тихим голосом начинал все сначала.

— Тот, кто не хочет разоружиться перед партией, объективно скатывается на позиции ее врагов...

Я снова делала отчаянные попытки удержаться на поверхности, напоминая своему строгому духовнику, что ведь в сущности я ничего плохого не сделала, кроме того, что была знакома по работе с Эльвовым, как и все работники нашего вуза.

— Ты опять не понимаешь, что примиренчество к враждебным партии элементам объективно ведет к скатыванию...

Не слушая моих возражений, он катил ком вперед, проталкивая его по определенному, продуманному, мне еще не вполне понятному плану.

Скоро наши ежедневные беседы перестали быть уединенными. Приехал товарищ из Москвы, фамилии которого я не помню, но которого я мысленно всегда называла Малютой Скуратовым. Это был антипод Бейлина по приемам следствия, но в то же время его двойник по садистской изощренности.

Глаза Бейлина, прикрытые выпуклыми веками, светились приглушенной радостью, которую доставляло ему издевательство над человеком. Глаза Малюты излучали открыто сотни сверкающих неистовых лучей. Бейлин говорил тихим грудным голосом. Малюта орал. Он даже ругался. Правда, ругательства его были еще далеки от тех, которые мне довелось потом услышать в НКВД. Это были политические ругательства: Соглашатели! Праволевацкие уроды! Троцкистские выродки! Примиренцы задрипанные!

Они пытали меня два месяца, и к весне у меня началось настоящее нервное расстройство, обострившееся приступами малярии.

Когда я сравниваю эти свои переживания периода «прелюдии» с тем, что довелось вынести потом, с 1937 года до смерти Сталина, точнее, до самого июльского Пленума ЦК, разоблачившего Берию, меня всегда поражает несоответствие моей реакции внешним раздражителям. В самом деле, ведь до 15 февраля 1937 года я страдала только морально. В смысле внешних условий жизнь моя еще не изменилась. Еще цела была моя семья. Мои дорогие дети были со мной. Я жила в привычной квартире, спала на чистой постели, ела досыта, занималась умственным трудом. Но субъективно мои страдания этого периода были гораздо глубже, чем в последующие годы, когда я была заперта в каменном мешке политизолятора или пилила деревья в колымской тайге.

Чем объяснить это? Тем ли, что ожидание неотвратимой беды хуже, чем сама беда? Или тем, что физические страдания заглушают боль душевной муки? Или просто человек может привыкнуть ко всему, даже к самому страшному злодейству, и поэтому повторные удары, полученные от страшной системы травли, инквизиции, палачества, ранили уже менее остро, чем при первых встречах с этой системой?

Так или иначе, но 1935 год был для меня ужасен. Нервы готовы были сдать. Преследовала настойчивая мысль о самоубийстве.

В этом отношении лекарством (правда, временным) оказалась для меня трагическая история коммунистки Питковской, разыгравшаяся в начале осени 1935 г. Питковская работала в школьном отделе обкома. Это была одна из тех, кто принес в тридцатые годы все повадки периода гражданской войны, та самая, о каких говорил Пильняк: «Большевики... Кожаные куртки... Энергично функционировать...» Не могу сейчас вспомнить, как ее звали. Да ее никто и не звал по имени. Питковская! Ее можно было нагрузить партработой за четверых, у нее можно было взять деньги без отдачи, над ней можно было легонько подшучивать. Она не обижалась на своих. Вот уж кто по-настоящему расценивал партию как великое братство! Самоотверженная натура, она отягощала свою щепетильную совесть постоянным чувством вины перед партией. Вина эта заключалась в том, что муж Питковской — Донцов — примыкал в 1927 году к оппозиции. Питковская нежно любила мужа, но сурово и прямолинейно осуждала его за прошлое. Даже своему пятилетнему сыну она пыталась популярно объяснить, как глубоко провинился перед партией его отец. Она потребовала от мужа, чтобы он «переварился в пролетарском котле». Конкретно, она не разрешала ему жить в таком большом городе, как Казань, а заставила его работать у станка на Зеленодольском пароходоремонтном заводе.

К осени 1935 года стали арестовывать всех, кто был в свое время связан с оппозицией. Тогда почти никто не понимал, что акции подобного рода проводятся по строгому плану, абсолютно вне всякой связи с фактическим поведением отдельных лиц, принадлежащих к данной категории, запланированной к изъятию. Меньше всех могла это понять Питковская. Когда ночью за Донцовым, приехавшим на воскресенье из Зеленодольска в Казань, пришли из НКВД, она провела сцену, достойную античной трагедии. Сердце ее, конечно, разрывалось от боли за любимого человека, отца ее ребенка. Но она подавила эту боль. Она патетически воскликнула:

— Так он лгал мне? Так он все-таки шел против партии?

Неопределенно усмехнувшись, оперативники буркнули:

— Бельишко ему соберите...

Она отказалась сделать это для «врага партии». Когда Донцов подошел к кроватке спящего сына, чтобы проститься с ребенком, она загородила кроватку.

— У моего сына нет отца.

Потом бросилась пожимать оперативникам руки и клясться им, что их сын будет воспитан в преданности партии.

Все это она рассказала мне сама. Я абсолютно исключаю хотя бы малейший элемент расчета или лицемерия в таком поведении этой женщины. При всей нелепости ее поступков они были вызваны искренними движениями наивной души, прямолинейно преданной идеям ее боевой молодости. Мысль о возможности чьего-то перерождения, о негодяях, охваченных страстью властолюбия, о коварстве, о бонапартиках не умещалась в этом чистом, угловатом сердце. На другой же день после ареста Донцова Питковскую сняли с работы в обкоме. Специальности у нее не было. Да если бы и была, вряд ли можно было устроиться куда-нибудь с фор-

мулировкой увольнения: «за связь с врагом партии». С этой же мотивировкой она была вскоре исключена из партии.

Грешница, я дала ей свое пальто и денег на дорогу до Москвы, куда она поехала хлопотать о восстановлении. Но ее не восстановили.

Вернувшись в Казань, она короткий срок проработала у станка на заводе пишущих машинок. Потом поранила правую руку.

Есть стало нечего. Мальчишку выгнали из детсада. С ней перестали понемногу здороваться. Я по звонку, осторожному и неуверенному, узнавала — это идет к нам Питковская. Успокаивали, подкармливали. Потом муж сказал мне, что я сама на подозрении и «связь с Питковской» повлияет на исход моего «дела». Я переживала душевную муку. Естественное желание помочь хорошему товарищу, преданному коммунисту натыкалось на подленький страх: не узнали бы про ежедневные визиты Питковской Бейлин с Малютой. Растерзают.

Но вот она перестала приходить. День, два, три. На четвертый стало известно, что, послав Сталину письмо, полное выражений любви и преданности, Питковская выпила стакан уксусной эссенции. В предсмертной записке никого не винила, расценивала все как недоразумение, умоляла считать ее коммунисткой.

За гробом ее шел пятилетний Вовка, обкомовская уборщица, которую покойница часто выручала деньгами, и два-три «отчаянных» из бывших товарищей.

Увидав этот жалкий холмик без креста или звезды, я поняла: нет, я не сделаю так. Я буду бороться за сохранение своей жизни. Пусть убивают, если смогут, но помогать им в этом я не буду.

К осени Бейлин с Малютой вынесли решение: строгий с предупреждением за примиренчество к враждебным партии элементам, с запрещением вести преподавательскую работу.

Но это, конечно, еще не было развязкой. Снежный ком продолжал катиться дальше.

5. «УМА — ПАЛАТА, А ГЛУПОСТИ — САРАТОВСКАЯ СТЕПЬ...»

Моя свекровь Авдотья Васильевна, родившаяся еще при крепостном праве, простая неграмотная «баба рязанская», отличалась глубоким философским складом ума и поразительной способностью по-писательски метко, почти афористично выражать свои мнения по самым разнообразным вопросам жизни. Говорила она на певучем южнорусском наречии, щедро уснащая свою речь пословицами и поговорками. Подобно древнему царю Соломону, изрекавшему в острые моменты жизни свое «И это пройдет», наша бабушка, выслушав сообщение о каком-либо выходящем из ряда вон происшествии, обычно говорила: «Такое-то уж было...»

Помню, как мы были поражены ее выступлением за семейным столом по поводу убийства Кирова.

— Такое-то уж было...

— Как это было?

— Да так. Царя-то ведь уже убивали... (Она имела в виду ни больше, ни меньше, как убийство Александра Второго!) В ту пору я еще молоденька была... А тольки сейчас чегой-то не туды стреляли-то... Ведь у нас нынче царем-то не Киров, а Сталин... Пошто в Кирова-то? Ну, да это дальше видать будет...

До мельчайших подробностей помню день первого сентября 1935 года, когда я, снятая партколлегией с преподавательской работы, заперлась в своей комнате, испытывая поистине танталовы муки. Я всю жизнь училась или учила других. День 1 сентября был для меня всегда даже более важным, чем день Нового года. И вот я сижу в этот день одна, отверженная, а с улицы доносятся привычные звуки возрождающейся после лета жизни вузов, школ. Шумит Казань — город студентов. Но я не войду под колонны родного университета.

Бабка Авдотья нарочито громко шаркает за дверью туфлями и вздыхает. Но я не выхожу и не зову ее. Я не могу сейчас никого видеть. Даже детей. Я одинока, как Робинзон Крузо.

Сижу так до обеда, пока у дверей не раздаются резкий звонок и торопливый бабушкин голос:

— К тебе, Евгенья, голубчик. Выдь-ка...

В двери незнакомый мальчишка-посыльный. Он протягивает мне большой букет печальных осенних цветов — астр. В букете записка с теплыми словами моих прошлогодних слушателей.

Я не в силах удержаться даже до ухода мальчика. Я начинаю громко плакать, просто реветь белугой, выть и причитать совсем по-рязански, так что бабка Авдотья заливается мне в тон, приговаривая:

— Да ты ж, моя болезная... Да ты ж, моя головушка бедная...

Потом бабушка резко прерывает плач, закрывает двери и шепотом говорит:

— Отчаянные головушки, студенты-ти... Що им за те цвяты еще будеть... Евгенья, голубчик, а я тебе що скажу... Капкан, Евгенья, капкан круг тебе вьется... Беги, покудова цела, покудова на шею не закинули. Ляжить пословица — с глаз долой, из сердца вон! Раз такое дело, надо тебе отсюдова подальше податься. Давай-кось мы тебя к нам, в сяло, в Покровское, отправим...

Я продолжаю вслух рыдать, еще не вполне понимая смысл ее предложения.

— Право слово... Тамотка таких шибко грамотных, как ты, дюже надо. Изба-то наша стоит пуста, заколочена. А в садочке-то яблони.

Я прислушиваюсь.

— Что ты, Авдотья Васильевна? Как же это я все брошу: детей, работу?

— А с работы-то, вишь, и так выгнали. А детей твоих мы не обидим.

— Да ведь я должна партии свою правоту доказать! Что же я, коммунистка, от партии прятаться буду?

— Евгенья, голубчик... Ты резко-то не шуми. Я ведь не чужая. Кому правоту свою докладывать станешь? До бога — высоко, до Сталина — далеко...

— Нет, что ты, что ты... Умру, а докажу! В Москву поеду. Бороться буду...

— Эх, Евгенья, голубчик! Ума в табе — палата, а глупости — саратовская степь!

Муж мой только покровительственно усмехнулся, когда я рассказала про бабушкино предложение. Еще бы! Ведь мы владели истиной в ее конечной форме, а она была всего-навсего «баба рязанская».

А между тем несколько лет спустя, оглядываясь на прошлое, я с удивлением вспоминала, что ведь многие действительно спаслись именно таким путем. Одни уехали в дальние, тогда еще экзотические, районы Казахстана или Дальнего Востока. Так сделал, например, бывший ответственный секретарь казанской газеты Павел Кузнецов, который фигурировал в моем обвинительном заключении, как обвиняемый в принадлежности к «группе», но никогда не был арестован, так как уехал в Казахстан, где его не сразу нашли, а потом перестали искать. Он еще потом печатал в «Правде» свои переводы казахских акынов, прославлявших «батыра Ежова» и великого Сталина.

Некоторые «потеряли» партбилеты и были исключены за это, после чего тоже выехали в другие города и села. Некоторые женщины срочно забеременели, наивно полагая, что это спасет их от карающей десницы ежовско-бериевского «правосудия». Эти-то бедняжки здорово просчитались и только увеличили число покинутых сирот.

Да, люди искали всевозможные варианты выхода, и те, у кого здравый смысл, наблюдательность и способность к самостоятельному мышлению перевешивали навыки, привитые догматическим воспитанием, те, над кем не довлела почти мистическая сила «формулировок», иногда находили этот выход.

Что касается меня, то, оставаясь все на той же почве правдивости, нельзя не признать, что я выбрала самый нелепый из всех возможных вариантов самозащиты: пламенные доказательства своей невиновности, горячие заверения в преданности партии, расточаемые то перед садистами, то перед чиновниками, ошеломленными фантастической реальностью тех дней и дрожавшими за собственную шкуру. Да, бабушка Авдотья была права. Не знаю, была ли «ума — палата», но уж глупости-то действительно была «саратовская степь».

6. ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Он был удивительно противоречив для меня, этот последний год моей первой жизни, оборвавшейся в феврале 1937-го. С одной стороны, было очевидно, что я на всех

парах качусь к пропасти. Все более свинцовыми тучами затягивался политический небосклон. Шли процессы. Процесс Зиновьева — Каменева. Кемеровское дело. Процесс Радека — Пятакова.

Газетные листы жгли, кололись, щупальцами скорпиона впивались в самое сердце. После каждого процесса дело закручивалось все туже. Вошел в жизнь страшный термин «враг народа». Каждая область и национальная республика по какой-то чудовищной логике должна была тоже иметь своих «врагов», чтобы не отстать от центра. Как в любой кампании, как, скажем, при хлебозаготовках или поставках молока.

А я была меченая. И каждую секунду чувствовала это... Почти весь этот год я прожила в Москве, так как «дело», находившееся по моей апелляции в КПК, требовало постоянных посещений коридоров Ильинки.

Мой муж еще оставался членом ЦИК СССР, и поэтому жила я в комфортабельном номере гостиницы «Москва», а при моих постоянных поездках из Казани и в Казань меня встречали и провожали машины татарского представительства в Москве. Эти же машины доставляли меня и на Ильинку, где решался вопрос — быть мне или не быть. Таковы были гримасы времени и своеобразная «неравномерность» развития событий.

В это лето умер Горький, и на его похоронах я в первый и в последний раз видела Сталина. Я шла в рядах Союза писателей, так что имела возможность очень близко разглядеть его.

Было бы преувеличением, если бы я стала теперь, задним числом, приписывать себе особенно глубокие мысли о роли Сталина в назревавшей трагедии партии и страны. Эти мысли пришли позднее, по мере ознакомления со сталинизмом в действии. Но я не солгу, если скажу, что я без всякого обожания рассматривала тогда его лицо, поразившее меня своей некрасивостью и несходством с тем царственным ликом, который благостно взирал на нас с миллионов портретов. Даже больше,чем «без обожания». Правильнее будет сказать — с затаенной враждебностью, хотя еще и неосознанной, слабо мотивированной, инстинктивной.

А что творилось вокруг меня в этом отношении? Рядом со мной шел Федор Гладков, уже тогда старик. Надо было видеть религиозный восторг на его лице, когда он взглядывал на Сталина. А с другой стороны шла начинающая писательница из Вологды. Я запомнила экстатическое исступление, с которым она шептала: «Видела Сталина. Теперь можно и умереть...»

И хорошо запомнила вспыхнувшее во мне в ответ чувство раздражения и отчетливо прозвучавшее в моем мозгу слово: «идиотка!».

По-видимому, какое-то шестое чувство подсказывало, что этот человек будет палачом моим и моих детей. Во всяком случае, когда зав. школьным отделом ЦК Макаровский, очень ко мне расположенный, предложил мне однажды «поговорить при случае с хозяином» о моем «деле», я пришла в ужас. Нет, нет, пусть он хоть персонально меня не знает! Наивно монархическая идея о добром вожде, не знающем о злоупотреблениях своих злых чиновников, уже тогда, на ранних этапах моего крутого маршрута, не находила во мне отклика.

(Не знаю, вспоминал ли потом Макаровский, тоже попавший в тюрьму, как я была права в этом вопросе.)

В какой-то момент показалось, что мне повезло на Ильинке. Член партколлегии Сидоров, работник ПУРа, проявил ко мне внимание и сочувствие. Он возмутился формулировкой бейлинского решения, в котором говорилось между прочим: «запретить пропаганду марксизма-ленинизма». Ни в какие ворота не лезет! Усердие не по разуму.

Он обнадежил меня, что взыскание будет уменьшено. И действительно, к ноябрю я получила выписку, в которой «во изменение решения партколлегии по Татарии» строгий с предупреждением заменялся просто строгим. Пункт о запрещении преподавания и пропагандистской работы был совсем снят, а мотивировка «за примиренчество к враждебным партии элементам» была заменена более мягкой — «за притупление политической бдительности».

— А затихнет немного обстановка, подадите через годик на снятие,— сочувственно напутствовал меня Сидоров, и по искреннему выражению его лица видно было, что этот серьезный человек с большим партийным прошлым действительно надеется на возможность «затихания» обстановки.

Да, масштабов предстоящих событий не могли предвидеть даже такие умудренные опытом партийцы. Что же удивляться, что такая счастливая обладательница строгого БЕЗ предупреждения, как я, тут же покатила в Казань, почти совсем утешенная.

Увы, иллюзии развеялись очень быстро! Я буквально не успела распаковать чемоданы, как принесли посланную мне вслед телеграмму из КПК.

«Новое слушание вашего персонального дела назначено на такое-то. Немедленно выезжайте в Москву. Емельян Ярославский».

Позднее я узнала, что Бейлин, оказавшийся в Москве в момент облегчения моего взыскания, не мог стерпеть такого удара по самолюбию, обратился к Ярославскому с жалобой на Сидорова и с протестом против изменения его, бейлинского, решения. Кроме того, он представил Ярославскому дополнительные обвинения против меня. Я была виновна, оказывается, не только в связи с «ныне репрессированным Эльвовым», но и с «ныне репрессированным Михаилом Корбутом».

И опять бабка Авдотья сказала мне:

— Не езди в Москву-то, Евгенья, пра, не езди! В Покровское, да потихоньку...

И опять я ответила:

— Что ты, бабушка! Разве коммунист может бежать от партии?

И поехала. Поехала к Емельяну Ярославскому, который обвинил меня в том, что я «не разоблачила» неправильность статьи Эльвова и который САМ эту статью поместил в редактированной им, Ярославским, четырехтомной «Истории ВКП(б)». Было от чего взяться за голову!

В тот же вечер я снова выехала обратно в Москву.

7. СЧЕТ ПОШЕЛ НА МИГИ

С этого момента события понеслись с головокружительной быстротой. Последние два с половиной месяца до момента ареста я провела в мучительной борьбе между доводами рассудка и тем неясным ощущением, которое Лермонтов назвал «пророческой тоскою».

Умом я считала, что арестовывать меня абсолютно не за что. Конечно, в тех чудовищных обвинениях, которые ежедневно адресовывались газетами «врагам народа», явно ощущалось нечто гиперболическое, не вполне реальное, но все-таки — думала я — хоть что-то, хоть маленькое ведь наверняка было, ну голоснули там когда-нибудь невпопад. Но я ведь никогда не принадлежала к оппозиции. У меня ведь не было никогда и тени сомнений в правильности генеральной линии. «Если брать таких, как ты, то надо всю партию арестовать!» — поддерживал меня в этих умозаключениях муж.

Однако вопреки всем этим доводам рассудка меня не оставляло предчувствие близкой гибели. Казалось, я стою в центре железного кольца, которое все сжимается и скоро меня раздавит.

Ужасной была обратная поездка в Москву по вызову Ярославского. Вот когда я была на волосок от самоубийства!

В купе мягкого вагона нас оказалось только двое: я и знакомая врачиха — педиатр Макарова, возвращавшаяся из Казани после защиты диссертации.

Это была приятная молчаливая женщина с мягкими движениями и очень внимательным взглядом.

Мне казалось, что я довольно удачно маскирую свое состояние разговором о разных пустяках. Но она вдруг, без всякой видимой связи с темой болтовни, погладила меня по руке и тихо сказала:

— Я очень жалею своих знакомых-коммунистов. Тяжело вам сейчас. Ведь каждого могут обвинить.

Ночью на меня навалилась такая несусветная мука, что я, стараясь не шуметь, вышла из купе сначала в пустой коридор вагона, а потом и на площадку. Мыслей как будто никаких не было, но в непрерывном потоке сознания вдруг откристаллизировалось некрасовское четверостишие:

Тот, чья жизнь бесполезно разбилася,
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце не робкое билося,
Что умел он любить...

Это выстукивали колеса, это выстукивали молоточки, бившие в моих висках. На площадку я вышла именно для того, чтобы отделаться от этого назойливого стука. В первые минуты ноябрьский ветер, распахнувший легкий халатик,

отвлек мои чувства. Стало полегче. Потом снова навалилось.

Я приоткрыла дверь вагона. В лицо брызнул холодный воздух. Взглянула вниз в стучащую тьму колес. Явь окончательно слилась с каким-то мучительным сном. Один шаг... Один миг... И уже не надо будет к Ярославскому. И больше нечего будет бояться...

Кто-то мягко, но сильно взял меня за руку повыше локтя. Ей бы не педиатром, а невропатологом или психиатром быть, этой Макаровой. Не вскрикнула, не посыпала словами, а только властно увела в купе, уложила, погладила по волосам. А сказала только одну фразу:

— Ведь это все пройдет... А жизнь только одна...

...Я никогда не думала, что Ярославский, которого называли партийной совестью, может строить такие лживые силлогизмы. Из его уст я впервые услышала ставшую популярной в 1937 году теорию о том, что «объективноё и субъективное — это, по сути, одно и то же». Совершил ли ты преступление или своей ненаблюдательностью, отсутствием бдительности «лил воду на мельницу» преступника, ты все равно виноват. Даже если ты понятия не имел ни о чем — все равно. В отношении меня получалась такая «логическая» цепочка: Эльвов сделал в своей статье теоретические ошибки. Хотел он этого или не хотел,— все равно. Объективно, это опять-таки «вода на мельницу» врагов. Вы, работая с Эльвовым и зная, что он был автором такой статьи, не разоблачили его. А это и есть пособничество врагам.

На смену «притуплению бдительности», записанному совестливым и гуманным Сидоровым, пришла теперь новая формулировка моих злодеяний. Она была уже похлестче даже бейлинского «примиренчества». Теперь Ярославский предъявил мне обвинение в «пособничестве врагам народа».

Таким образом, точка над «i» была поставлена. Пособничество врагу — уголовно наказуемое деяние.

Сдержанность оставила меня. Я закричала на этого почтенного старика, затопала на него ногами. Я была способна броситься с кулаками, если бы между нами не сверкала полировкой широкая гладь его письменного стола.

Не помню уж, что именно я там выкрикивала, но суть моих слов сводилась к контробвинению. Да, я была доведена до такого отчаяния, что стала бросать в лицо ему простые вопросы, вытекающие из элементарного здравого смысла. А такие вопросы считались в те времена в высшей степени дурным тоном. Все должны были делать вид, что изуверские силлогизмы отражают естественный ход всеобщих мыслей. Достаточно было кому-нибудь задать вопрос, разоблачающий безумие, как окружающие или возмущались,или снисходительно усмехались, третируя спрашивающего как идиота.

Но в том состоянии аффекта, в котором я находилась в кабинете Ярославского, я позволила себе кричать ему:

— Ну хорошо, я не выступила! Но ведь вы-то не только не выступили, а еще сами отредактировали эту статью и напечатали ее в четырехтомной истории партии. Почему же вы судите меня, а не я вас? Ведь мне тридцать лет, а вам шестьдесят. Ведь я молодой член партии, а вы партийная совесть! Почему же меня надо растерзать, а вас держать вот за этим столом? И не стыдно все это?

На мгновение в его глазах мелькнул испуг. Он явно принял меня за сумасшедшую. Слишком уж дерзкими были мои слова, произнесенные в этой комнате, похожей не то на алтарь, не то на судилище. Но тут же снова накинул на лицо привычную маску ханжеской суровости и квакерской прямолинейности. Потом сказал с почти натуральной дрожью в голосе:

— Никто лучше меня не осознает моих ошибок. Да, я человек, не мыслимый вне партии, виноват в этом перед партией.

У меня уже висел на кончике языка новый безумный по дерзости вопрос:

— Почему же ваша ошибка искупается только ее осознанием, а я почему должна расплачиваться кровью, жизнью, детьми?

Но я не произнесла этих слов. Аффект пропал: на смену ему пришел ужас. Что это я наговорила? Что теперь со мной сделают? Потом на смену ужасу — беспощадная ясность: все безразлично, все бесполезно. Настало время или умирать, или молча идти на свою Голгофу вместе с другими, с тысячами других.

Когда мне сказали, чтобы я ехала в Казань, куда вскоре будет прислано решение, я заторопилась. Теперь-то я твердо знала, что счет моей жизни идет не на годы и даже не на месяцы. Счет пошел на миги, и надо было торопиться к детям. Что с ними будет, с моими сиротами?

8. НАСТАЛ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

И вот он наступил — этот девятьсот проклятый год, ставший рубежом для миллионов. Я встретила его, этот последний новый год моей первой жизни, под Москвой, в доме отдыха ЦИК СССР Астафьево, около Подольска.

Вернувшись в Казань после разговора с Ярославским, я застала Алешу, старшего сына, тяжелобольным малярией. Врачи советовали сменить климат. Наступили школьные зимние каникулы, и увезти его было можно. Муж достал путевки в Астафьево. Он был очень доволен, что я снова уеду.

— Лучше тебе сейчас поменьше быть в Казани, на глазах...

Теперь мучительная тревога терзала и его. Уже шли аресты. Они коснулись очень хорошо знакомых нам людей. Одним из первых был взят директор туберкулезного института профессор Аксянцев, старый член партии. Следом за ним — директор университета Векслин, чья безоглядная преданность партии вошла в Казани в поговорку. Этот человек в рваной шинелишке прошел всю гражданскую, переходя с фронта на фронт. Герой Перекопа...

Муж стал теперь больше бывать дома. Его измучили заседания, на которых он, как член бюро обкома, сидел в президиуме и должен был молча выслушивать, как склоняли и спрягали эльвовское дело и меня, как его участницу. Ему было непривычно оставаться по вечерам дома. Он молча мерил шагами комнату, время от времени останавливался и произносил:

— Кто его знает, Векслина-то... Человек увлекающийся! Может, и вправду сотворил что-нибудь...

Он стал теперь внимательно присматриваться к детям, с которыми раньше только шутил. Даже заметил, что у Васи вытертое пальтишко. Надо новое.

Но стоило мне начать откровенный разговор о происходящих событиях, как он немедленно становился на ортодоксальные позиции. Мне он, конечно, верил безоговорочно, знал, что я ни в чем не виновата. Но тех оценок положения, которые начинали довольно четко складываться у меня в сознании, он, член бюро обкома, не разделял. Его больше устраивало предположение, что в отношении меня персонально произошла ошибка. Он по-рыцарски вел себя на многочисленных собраниях, где от него требовали «отмежеваться» от жены. Там он заявлял, что знает свою жену как честную коммунистку. Но дома иногда...

— Что же происходит в нашей партии, а, папа? — спрашивала я.

— Сложно, конечно, Женюша. Ну что поделаешь! Особый этап в развитии нашей партии...

— Что же это за этап? Что всем членам партии предстоит ехать по этапу? — горько острила я.

Он раздражается.

— Ты прости, Женюша, но в таких шуточках нехороший привкус есть. Ты личную свою обиду отбрось. На партию не обижаются.

Иногда между нами возникали на этой почве серьезные конфликты. Помню одну тяжелую сцену поздно вечером в безлюдном Лядском садике напротив нашего дома. Мы вышли пройтись перед сном. Против воли разговор сворачивал все в ту же колею. Я сказала что-то злое и насмешливое по адресу Ярославского. Муж вспыхнул:

— Что ты говоришь! С тобой и впрямь в тюрьму попадешь!

— О, будь спокоен! И без меня тоже...

Я вырвала у него свою руку. Он, испугавшись своих резких слов, хотел удержать ее, но я снова рванулась, и так сильно, что мои маленькие золотые часики упали в сугроб. Мы искали их потом больше часа и не нашли.

В наших позах, когда мы, склонившись над сугробом, разрывали его голыми руками, в наших лицах, взбудораженных ссорой, уже чувствовалась тень вплотную надвинувшейся катастрофы. Самое страшное было в том, что каждый из нас читал на лице другого отчетливую мысль: ведь мы только делаем вид, что расстроены пропажей часов и обязательно хотим найти их. На самом деле — нам не до них. Ведь пропала жизнь. И еще: каждый делает вид, что эта ссора важна для него и волнует. А в действительности, что значит ТЕПЕРЬ супружеская ссора? Ведь мы уже вне жизни, вне обычных человеческих отношений. Но это был только подтекст, не высказанный даже самим себе.

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПАРТИИ

В начале февраля мы вернулись в Казань, и я сразу узнала, что меня вызывают в райком партии. Почему Ярославский решил передать разбор моего «дела» опять в Казань — не знаю. Может, после моих дерзостей ему больше не хотелось со мной встречаться? А вернее всего — было общее решение передать дела об исключениях в низовые организации. Ведь таких дел с каждым днем становилось все больше. КПК уже не справлялась с объемом работы.

Это случилось седьмого февраля. Секретарь райкома — мой бывший слушатель по Татарскому коммунистическому университету Бикташев. Надо было видеть, какой гримасой боли исказилось его лицо, пока зачитывалось «дело». Я почти не помню, какие именно обвинения предъявлялись мне на этот раз, какие формулировки пришли теперь на смену последней московской редакции. Я почти не слушала. И я, и все члены бюро райкома знали, что вопрос об исключении предрешен. И мне, и им хотелось сократить тягостную процедуру.

— Вопросы?

— Нет.

— Выступления?

— Нет.

— Может быть, вы хотите что-нибудь сказать, Е. С.? — хриплым голосом спрашивает Бикташев, не поднимая глаз, опущенных на лежащее перед ним «дело». Видно, как он боится, что я начну что-нибудь говорить. Неужели не ясно, что он сам страдает, что он ничего не может?

Но я понимаю все, и я уже ничего не хочу говорить. Я тихонько иду к двери и только говорю шепотом:

— Решайте без меня...

Все мы знаем, что это нарушение устава, что в отсутствие члена партии нельзя выносить о нем решений. Но разве теперь до устава?! И Бикташев только об этом спохватывается:

— А билет... Он с вами?

И, точно поперхнувшись, выкашливает:

— Вы оставьте его...

Пауза. Теперь мы с Бикташевым смотрим друг другу в глаза. Перед нами возникают одни и те же картины... Десять лет тому назад я, молоденькая начинающая преподавательница, учу его, полуграмотного татарского паренька, пришедшего из деревни. В том, что этот паренек стал секретарем райкома, немалая доля и моих усилий.

Сколько их было, трудностей, радостей преодоления, исправленных тетрадок! Какими они были веселыми и любознательными — эти узкие монгольские глазки! И какие они тусклые и покрасневшие сейчас...

Все это проносится передо мной и — уверена! — перед ним. И голос его уже откровенно дрожит, когда он повторяет:

— Оставьте билет... пока...

В этом коротком «пока» выражена слабая попытка утешить, обнадежить. Оставь, мол, пока, а там получишь обратно. Ведь не на век же все эти дела!

Мне делается жалко моего бывшего ученика Бикташева, хорошего, любознательного парня. Ему сейчас хуже, чем мне. В этом театре ужасов одним актерам даны роли жертв, другим — палачей. Последним хуже. У меня хоть совесть чиста.

— Да, билет со мной.

Он еще новенький. Только в 1936-м был всесоюзный обмен партбилетов. Как я берегла его, как боялась потерять! Я кладу его на стол.

На улице у дверей райкома дежурил мой муж. Пошли пешком. В трамвай нельзя было с такими лицами. Полдороги молчали. А потом он спросил:

— Ну, что?

— Оставила билет...

Он тихо охнул. Теперь и ему было уже ясно, как близок край пропасти.

10. ЭТОТ ДЕНЬ

Между исключением из партии и арестом прошло восемь дней. Все эти дни я сидела дома, закрывшись в своей комнате, не подходя к телефону. Ждала... И все мои близкие ждали. Чего? Друг другу мы говорили, что ждем отпуска мужа, который ему был обещан в такое необычное время. Получит отпуск — поедем опять в Москву, хлопотать. Попросим Разумова... Он член ЦК. В душе отлично знали, что ничего этого не будет, что ждем совсем другого. Мама и муж попеременно дежурили около меня. Мама жарила картошечку.

«Поешь, деточка, помнишь, ты любила такую, когда была маленькая?»

Муж, возвращаясь откуда-нибудь, звонил условным звонком и вдобавок громко кричал: «Это я, я, откройте». И в голосе его звучало: «Это еще я, а не они».

«Чистили» домашнюю библиотеку. Няня ведрами вытаскивала золу. Горели «Портреты и памфлеты» Радека, «История Западной Европы» Фридлянда и Слуцкого, «Экономическая политика» Бухарина. Мама со слезами заклинаний умоляла меня сжечь даже «Историю новейшего социализма» Каутского. Индекс расширялся с каждым днем. Аутодафе принимало грандиозные размеры. Даже книжку Сталина «Об оппозиции» пришлось сжечь. В новых условиях и она стала нелегальщиной.

За несколько дней до моего ареста был взят второй секретарь горкома партии Биктагиров. Прямо с заседания бюро, которое он вел. Зашла секретарша.

— Тов. Биктагиров, вас там спрашивают.

— Во время заседания? Что они?.. Я занят, скажите...

Но секретарша вернулась.

— Они настаивают.

Он вышел. Ему предложили одеться и «проехать тут недалеко».

Этот арест озадачил и потряс моего мужа еще больше, чем мое исключение из партии. Секретарь горкома! Тоже «оказался»...

— Нет, это уж что-то чекисты наши перегнули. Придется им многих повыпускать...

Он хотел убедить себя, что это проверка, какое-то недоразумение, временное и отчасти даже комическое. А вот в следующий выходной Биктагиров, возможно, будет снова сидеть в «Ливадии» за столом и с улыбкой рассказывать, как его чуть было не приняли за врага народа.

Но по ночам было очень плохо. Сколько машин проходило мимо окон нашей спальни, выходивших на улицу! И каждую надо было «прослушать», холодея, когда казалось, что она замедляет ход перед нашим домом. Ночью даже оптимизм моего мужа уступал место страху, великому СТРАХУ, сжавшему горло всей страны.

— Павел, машина!

— Ну и что же, Женюша? Город большой, машин много...

— Остановилась, право, остановилась...

Муж босиком подскакивает к окну. Он бледен. Преувеличенно спокойным голосом говорит:

— Ну вот видишь, грузовик!

— А они всегда на легковых, да?

Засыпали только после шести утра. А утром снова новые вести об «оказавшихся».

— Слышали? Петров-то оказался врагом народа! Подумать только — как ловко маскировался!

Это значило, что этой ночью увезли Петрова.

Потом приносили кучу газет. И уже нельзя было отличить, которая из них «Литературная», которая, скажем, «Советское искусство». Все они одинаково выли и кричали о врагах, заговорах, расстрелах...

Жуткие были ночи. Но это случилось как раз днем.

Мы были в столовой: я, муж и Алеша. Моя падчерица Майка была на катке. Вася у себя в детской. Я гладила белье. Меня часто тянуло теперь на физическую работу. Она отвлекала мысли. Алеша завтракал. Муж читал вслух книгу, рассказы Валерии Герасимовой. Вдруг зазвонил телефон. Звонок был такой же пронзительный, как в декабре тридцать четвертого.

Несколько минут мы не подходим к телефону. Мы очень не любим сейчас телефонных звонков. Потом муж произносит тем неестественно-спокойным голосом, которым он теперь так часто разговаривает:

— Это, наверно, Луковников. Я просил его позвонить.

Он берет трубку, прислушивается, бледнеет как полотно и еще спокойнее добавляет:

— Это тебя, Женюша... Веверс... НКВД...

Начальник секретно-политического отдела НКВД Веверс был очень мил и любезен. Голос его журчал, как весенний ручеек.

— Приветствую вас, товарищ. Скажите, пожалуйста, как у вас сегодня со временем?

— Я теперь всегда свободна. А что?

— О-о-о! Всегда свободна! Уже упали духом? Все это преходяще... Так вы, значит, могли бы сегодня со мной встретиться? Видите ли, нам нужны кой-какие сведения об этом Эльвове. Дополнительные сведения. Ох, и подвел же он вас! Ну, ничего! Сейчас все это выясняется.

— Когда прийти?

— Да когда вам удобнее. Хотите — сейчас, хотите — после обеда.

— А вы меня долго задержите?

— Да минут так сорок. Ну, может быть, час...

Муж, стоявший рядом, все слышит и знаками, шепотом настойчиво советует мне идти сейчас.

— Чтобы он не думал, что ты боишься. Тебе бояться нечего!

И я заявляю Веверсу, что приду сейчас.

— Может быть, забежать к маме?

— Не надо. Иди сразу. Чем скорее выяснится все это, тем лучше.

Муж помогает мне торопливо одеться. Я отсылаю Алешу на каток.

По какому-то странному совпадению маленький Вася, привыкший к моим постоянным отъездам и отлучкам и всегда совершенно спокойно реагировавший на них, на этот раз выбегает в прихожую и начинает настойчиво допытываться:

— А ты, мамуля, куда? Нет, а куда? А я не хочу, чтобы ты шла...

Но мне сейчас нельзя смотреть на детей, нельзя целовать их. Иначе я сейчас, сию минуту умру. Я отворачиваюсь от Васи и кричу:

— Няня, возьмите ребенка! Я не могу его сейчас видеть...

Да, пожалуй, лучше не видеть и маму. Все равно — совершается неизбежное и его не умолишь отсрочками. Захлопывается дверь. Я и сейчас помню этот звук. Все. Больше я уже никогда не открывала эту дверь, за которой я жила с моими дорогими детьми.

На лестнице встретилась Майка. Она шла с катка. Эта всегда все понимала интуитивно. Она не спросила ни слова, не поинтересовалась, куда мы идем в такое неурочное время. Прижалась плотно к стене и широко раскрыла глаза. Они были огромные, голубые. И такое недетское понимание горя и ужаса было на этом двенадцатилетнем лице, что оно снилось потом годами.

Внизу у входа встретилась еще наша старая няня Фима. Она сбежала вниз, чтобы что-то сказать мне. Но посмотрела в мое лицо и ничего не сказала, только мелко перекрестила вслед.

— Пешком?

— Да, пройдемся напоследок.

— Не говори глупостей. Так не арестовывают. Просто им нужны сведения.

— У меня нет сведений.

Долго идем молча. Погода прекрасная. Яркий февральский день. Снег выпал только утром. Он еще очень чист.

— Последний раз идем вместе, Паша. Я уже государственная преступница.

— Не говори таких глупостей, Женюша. Я уже говорил тебе. Если арестовывать таких, как ты, то надо арестовать всю партию.

— Иногда у меня и мелькает такая безумная мысль. Уж не всю ли и собираются арестовать.

Я уже жду привычной реакции мужа. Он должен сейчас прикрикнуть на меня за такие кощунственные слова. Но вдруг... Вдруг он разражается «еретической» речью. Выражает уверенность в честности многих арестованных «врагов народа», произносит гневные слова по адресу... По очень высоким адресам. И я рада, что мы опять мыслим одинаково. Я воображала тогда, что поняла уже почти все. А на деле меня ждало еще много горестных открытий.

Но вот и знаменитый дом — Черное озеро.

— Женюша, мы ждем тебя к обеду...

Какое жалкое у него лицо, как дрожат губы! Вспоминается его старый, уверенный, хозяйский тон старого коммуниста, партийного работника.

— Прощай, папа. Мы жили с тобой хорошо...

Я даже не говорю «береги детей». Я знаю, что он сможет их сберечь.

Он снова успокаивает меня какими-то общими словами, которых я уже не различаю. Я устремляюсь к бюро пропусков, но вдруг слышу срывающийся голос:

— Женюша!

Оглядываюсь.

— До свидания, Женюшенька!

И взгляд... Пронзительный взгляд затравленного зверя, измученного человека. Тот самый взгляд, который потом так часто встречался мне ТАМ.

11. КАПИТАН ВЕВЕРС

Я открыла двери очень смело. Это была настоящая храбрость отчаяния. Прыгать в пропасть лучше с разбега, не останавливаясь на ее краю и не оглядываясь на прекрасный мир, оставляемый навсегда.

Но будничная казенная неторопливость, с какой мне оформляли пропуск, обозначенное на нем время моего прихода и рядом пустое местечко, на котором должно было быть отмечено время моего ухода отсюда,— все это на какой-то момент вселило в меня мимолетную надежду: может, и впрямь ему надо только расспросить меня про Эльвова?

Поднимаюсь на второй, потом на третий этаж. По коридорам деловито проходят люди, из-за застекленной двери раздается треск пишущих машинок. Вот какой-то молодой человек, где-то виденный, даже рассеянно кивнул мне и обронил «здрасьте». Самое обыкновенное учреждение!

И я уже теперь совсем спокойно поднимаюсь на четвертый этаж и на секунду останавливаюсь у двери комнаты № 47. Стучу и, не расслышав ответа, переступаю порог. И сразу сталкиваюсь со взглядом Веверса.

Глаза в глаза. Их надо в кино крупным планом показывать, такие глаза. Совсем голые. Без малейших попыток маскировать цинизм, жестокость, сладострастное предвкушение пыток, которым сейчас будет подвергнута жертва. К этому взгляду не требовалось никаких словесных комментариев.

Но я еще сопротивляюсь. Я продолжаю делать вид, что считаю себя по-прежнему человеком, коммунистом, женщиной. Я вежливо здороваюсь с ним и, не дождавшись предложения сесть, с удивлением спрашиваю:

— Можно сесть?

— Садитесь, если устали,— пренебрежительно роняет он. На лице его та самая гримаса — смесь ненависти, презрения, насмешки,— которую я потом сотни раз видела у других работников этого аппарата, а также у начальников тюрем и лагерей. Эта гримаса, как потом выяснилось, входила в программу их профессиональной подготовки, и они ее репетировали перед зеркалом. Но тогда, столкнувшись с ней впервые, я была уверена, что она выражает персональное отношение Веверса ко мне. Несколько минут проходят в полном молчании. Потом он берет чистый лист бумаги и пишет на нем крупно, медленно, чтобы мне было видно: «Протокол допроса»... Потом вписывает мою фамилию по мужу. Я поправляю его, называя мою отцовскую фамилию.

— Что, бережете его? Не поможет...

Он снова поднимает на меня глаза. Сейчас они уже налиты серой, тягучей скукой.

— Ну-с, так как же ваши партийные дела?

— Вы ведь знаете. Меня исключили из партии.

— Еще бы! Предателей разве в партии держат?

— Почему вы бранитесь?

— Браните? Да вас убить мало! Вы — ренегат! Агент международного империализма!

Шутит он, что ли? Неужели такое можно всерьез? Нет, не шутит. Распаляя себя все больше, он орет на всю комнату, осыпая меня ругательствами. Правда, это еще пока только политические оскорбления. Ведь это только февраль 1937-го. К июню он уже будет угощать арестованных самой отборной площадной руганью.

Он заканчивает длинный период ударом кулака по столу. Стекло на столе звенит. Под аккомпанемент этого дискантового звука на меня обрушивается аккорд двухлетней пытки, короткая фраза:

— Надеюсь, вы поняли, что вы арестованы?

Зеленые с золотом круги на обоях веверсовского кабинета понеслись вскачь перед моими глазами. Качнулся и сам кабинет.

— Незаконно! Я не совершила никаких преступлений,— еле ворочая сухим языком, произношу я.

— Что? Незаконно! А это что? Вот санкция прокурора на ваш арест. Пятым февраля датировано. А сегодня пятнадцатое. Все руки не доходили. Мне уже сегодня звонили из

одного места. Что это, говорят, у вас враги народа свободно по городу разгуливают?

Я встаю и делаю шаг по направлению к телефону.

— Дайте мне возможность сообщить домой.

Он весело хохочет.

— Уморите вы меня! Да разве заключенным разрешаются телефонные разговоры?

— Тогда сами позвоните.

— Успеется. Аксенова это не так уж и интересует. Он ведь от вас уже отказался. Нечего сказать, пикантно! Член правительства — и такая жена! Да сейчас не в этом дело. Надо протокол заполнить, отвечайте на мои вопросы.

Он что-то пишет, потом прочитывает мне вопрос:

— Следствию известно, что вы являлись членом подпольной террористической организации при редакции газеты «Красная Татария». Подтверждаете ли вы это?

— Это бред! Никакой организации не было. Нигде я не состояла.

— Молчать!

Снова удар кулаком и жалобный дискантовый отзвук стекла.

— Вы мне этот дамский тон бросьте! Оттуляли в дамах. Теперь за решетку.

— Разве вы имеете право кричать и стучать на меня, я требую встречи с начальником управления, с товарищем Рудь.

— Ах, вы требуете? Ну, мы вам покажем требования!

Он нажимает кнопку звонка. Появляется женщина в форме тюремной надзирательницы.

— Обыскать!

Я еще совсем неопытная заключенная. Все мои сведения о тюремных порядках исчерпываются воспоминаниями старых большевиков да книгами о «Народной воле». Поэтому я не только с омерзением, но и с удивлением слежу за движением этих бесстыдных рук, шарящих по моим карманам, скользкими, улиточными ползками пробегающих по моему телу.

Личный обыск закончен. Из орудий террора обнаружены случайно оказавшиеся в сумочке маленькие ножницы для маникюра.

Капитан Веверс нажимает другую кнопку. Появляется конвоир — мужчина. Веверс снова с ненавистью и презрением в упор смотрит на меня своими свинцовыми глазами.

— А теперь в камеру! В подвал! И будете сидеть до тех пор, пока не сознаетесь и не подпишете все!

12. ПОДВАЛ НА ЧЕРНОМ ОЗЕРЕ

Черное озеро — это, собственно, название одного из городских садов в Казани. Когда-то, до революции, это было излюбленное место разгульных купчиков. Здесь были дорогой ресторан, эстрадный театр. Сейчас территория сада использовалась для различных выставок, а зимой здесь был каток.

Но после того, как областное управление НКВД переселилось на Черноозерскую улицу, прямо против сада, название «Черное озеро» перестали относить к саду. Слово приобрело тот же смысл, что «Лубянка» для Москвы.

— Не болтай, а то на Черное озеро попадешь.

— Слышали, его ночью на Черное озеро увели?

Подвал на Черном озере. Это словосочетание вызывало ужас. И вот я иду в сопровождении конвоира в этот самый подвал. Сколько ступеней вниз? Сто? Тысяча? Не помню. Помню только, что каждая ступенька отдавалась спазмами в сердце, хотя в сознании вдруг мелькнула почти шутливая мысль: вот так, наверное, чувствуют себя грешники, которые при жизни много раз, не вдумываясь, употребляли слово «ад», а теперь, после смерти, должны воочию этот ад увидеть.

Тяжелая железная дверь скрипит очень громко. Но это еще только преддверие ада. Прокуренное помещение без окон, освещенное лампочкой, висящей под потолком. За столом — бледный человек в форме тюремного надзирателя. У него тяжелые, набрякшие мешки под глазами, а глаза оскорбительно равнодушные, как у маринованного судака. Он смотрит на меня, как на пустое место. Единственно, что его интересует во мне,— это мои часы. Пояса у меня ведь нет, я женщина. А назначение этого пункта — изъятие часов и поясов у новых заключенных. Чтобы не знали, который час, и чтобы не на чем было повеситься. Часы мои ему нравятся. Они у меня красивые, заграничные. Муж подарил после того, как потеряли тогда в сугробе старые. Он одобрительно разглядывает часы, и в его судачьих глазах мелькают живые искорки. Потом он приступает к заполнению анкеты. Оказывается, анкета требуется даже для входа в ад. Затем они обмениваются короткими репликами, смысл которых сводится, по-видимому, к вопросу о том, в какую камеру меня отвести.

А вот и сам ад. Вторая железная дверь ведет в узкий коридор, тускло освещенный одной лампочкой под самым потолком. Лампочка горит особым тюремным светом, каким-то багрово-красным накалом. Справа сырая, серая, в подтеках стена. Трудно допустить, что это одна из стен того самого дома, где расположен кабинет капитана Веверса. А слева...

Слева двери, двери, двери... Они заперты на засовы и огромные ржавые замки. Висячие, первобытные, какими, наверное, до революции закрывались какие-нибудь купецкие амбары в глухой провинции. И за этими дверями люди? Конечно же! Коммунисты, товарищи мои, попавшие в ад раньше меня. Профессор Акоянцев, секретарь горкома Биктагиров, директор университета Векслин... И еще многие...

Холодное, разлившееся в груди отчаяние делает меня внешне абсолютно спокойной. Внутренне я подготовлена к одиночке. Поэтому, когда открывается со страшным громом и звоном одна из дверей, на которой написан № 3, и я вижу силуэт человеческой фигуры внутри камеры, я воспринимаю это, как неожиданный подарок судьбы. Значит, я буду не одна? Это уже счастье.

Дверь снова с тем же грохотом закрывается, шаги гулко удаляются в сторону, и я произношу спокойным голосом, обращаясь к стоящей у стены молодой женщине: «Здравствуйте, товарищ!» Она еще несколько секунд продолжает стоять у стены в той же позе, в которой я ее застала. Она красива, одета в дорогое изящное котиковое пальто, на фоне которого эффектно выделяются ее золотистые волосы. Потом она вглядывается в меня внимательно, тревожно, как бы ища в моем лице ответа на какой-то вопрос, затем грустно улыбается и говорит:

— Здравствуйте. Садитесь вот сюда, на табуретку. Пальто не снимайте. Здесь холодно... Вы так спокойны... У вас, наверное, дома никто не остался?

— Дети... Трое детей. Два родных сына и падчерица. Маленькому четыре с половиной года.

— Несчастье-то какое! Бедная вы моя!

Она стремительно приближается ко мне, приседает на корточки и опять устремляет прямо в мои глаза тот же пытливый взгляд.

— О чем вы хотите спросить меня?

Секунду она колеблется, потом берет меня за обе руки и, смеясь, говорит:

— И спрашивать не буду. Сама вижу. Вы хорошая. Дело в том, что я все время боюсь, как бы ко мне шпионку не подсадили, которая будет меня выспрашивать, чтобы я на себя наговорила и на папу. Папа ведь мой тоже здесь сидит. И брат... А мама совсем одна осталась. Больная. У нее руки покалечены после нападения хунхузов.

Я пока ничего не понимаю. То, что говорит эта молодая женщина, так далеко от моего замкнутого мирка научной и литературной партийной интеллигенции. Заграница, что это? Что это она говорит про хунхузов? Но ответное чувство симпатии возникает во мне. Это красивое простодушное лицо, прямо смотрящие карие глаза не могут принадлежать плохому человеку. И я пожимаю протянутые мне тонкие руки. Говорю успокоительно:

— Нет, я не шпионка. Я ни о чем не буду вас спрашивать. Вы можете ничего о себе не рассказывать, если не хотите. А я вам о себе расскажу все. Чтобы вы меня не боялись. Ведь мы вместе в таком страшном несчастье... Меня зовут Женей. Зовите меня так, хотя вы моложе меня. А вас как?

Ее звали Ляма Шепель. Настоящее имя ее было Лидия, но за ней закрепилось то имя, которым она сама называла себя в младенчестве.

— Я кавежединка.

— Кто?

Я явно не знала ни такой профессии, ни такой национальности.

Пройдет еще несколько месяцев, и я столкнулась в Бутырской тюрьме с десятками людей, называющих себя этим странным словом. Короче — это были русские люди, по большей части квалифицированные рабочие, служившие на Китайско-восточной железной дороге и приехавшие на советскую родину после того, как дорога была нами продана.

Многие из них прожили там по многу лет и возвратились на родину с чувством глубокого волнения, любви и желания хорошо поработать. Почти все они были арестованы как шпионы, всем предъявлялись чудовищные обвинения в том, что они якобы «завербованы» японской или маньчжурской разведкой.

Ляме было двадцать два года. Она окончила гимназию в Харбине и работала машинисткой в железнодорожной конторе. Отец ее был старым железнодорожником. Брат, старше ее на несколько лет, сочувствовал коммунистам, подвергался репрессиям в Маньчжурии, приехал за несколько лет до всей основной семьи в СССР и поселился под Казанью в промышленном городке Зеленодольске. Ляма с отцом и матерью приехала к нему только после продажи КВЖД, несколько месяцев тому назад. Уже месяц, как ее, отца и брата арестовали. Всех обвиняют в шпионаже.

— Целый роман сочинили! Не переживет папа. Сердце у него слабое. А мама, я уже говорила вам, не сможет себе на хлеб заработать. Ее хунхузы изуродовали, пальцы на руках перебили.

То, что я рассказала Ляме о себе, было выше ее понимания. При всех моих педагогических навыках я никак не могла втолковать этому детищу другого мира, в чем именно меня обвиняют. Все наши «потери» бдительности, «примиренчества», «гнилые либерализмы» звучали для нее китайской грамотой, вернее, абракадаброй, так как в китайской-то грамоте она как раз неплохо разбиралась. Зато она уже была опытной заключенной и сразу ввела меня во все подробности предстоящего мне существования.

— Сейчас скоро ужин, а там и койки спускать будут. Хоть бы ночью на допрос вас не вызвали, дали бы отдохнуть после первого потрясения.

Тут только я заметила, что две железные койки подняты к стене на крючках. Спускать их разрешалось с 11 до 6 утра по специальному сигналу. В 6 подъем и до 11 лежать нельзя. Только стоять или сидеть на табуретках.

— Сегодня хороший дежурный, всегда больше каши дает. А у того, косоглазого, с голоду умереть можно... На оправку сегодня, наверное, после ужина пойдем. Сегодня с той стороны начали.

Скоро из коридора начали доноситься какие-то ритмические постукивания, сливающиеся с грохотом открываемых замков. Постепенно в камеру просочился запах тухловатой вареной рыбы. Даже на фоне всепроникающего запаха сырости и параши эта рыбная вонь вызывала отвращение.

Я с удивлением наблюдала, как изящная, красивая Ляма с аппетитом уничтожила сначала свою, а потом и мою порцию этой рыбы и сухой овсяной каши.

— Я не отказываюсь от вашей порции сегодня, знаю, что в первые дни не едят.

После еды Ляма встала у дверей, и, как только раздался краткий возглас: «Посуду», — и чуть приоткрылась тяжелая дверь, она поставила посуду прямо на пол.

Из рук в руки мы им ничего не имеем права передавать.

После ужина повели на «оправку». Идти по коридору надо было гуськом, в абсолютном молчании. Уборная помещалась в самом конце коридора, и мы прошли мимо всех камер. Я жадно впилась взглядом в каждую дверь, точно можно было через ее толщу увидеть томящихся в камерах людей.

Ляма заботливо вводила меня во все тонкости устава этого монастыря и инструктировала насчет способов, которые применялись для обмана надзирателей и следователей.

— Встаньте спиной к двери, быстро! — свистящим шепотом бросила она мне, как только мы остались вдвоем в уборной. Потом мгновенным движением она рассыпала по кургузой деревянной полочке над умывальником немного зубного порошка и так же мгновенно написала зубной щеткой на образовавшемся белом фоне мои инициалы.

— Те, кто пойдет после нас, прочтут и, может быть, догадаются, если они казанцы, что это вы. Передадут соседям. Связь установить — самое главное.

— А как передадут?

— Стучат.

— Вы умеете?

— Учусь. Сосед каждый день стучит после обеда, когда смена дежурных. Вот что: когда пойдем обратно в камеру, старайтесь четко и легко отстукивать каблуками, чтобы было ясно, что походка женская. А проходя мимо пятой, покашляйте. Там, кажется, кто-то из крупных казанских партработников сидит. Может, узнает вас...

Окно камеры, кроме толстой решетки, загорожено еще толстым деревянным щитом, позволяющим видеть только крохотный кусочек неба.

— Темно здесь днем? Читать нельзя?

Ляма улыбнулась моей наивности.

— Темно, конечно. Подвал, а еще досками окно забито... А насчет чтения не беспокойтесь. Читать здесь не разрешают.— Ляма переходит на самый тихий шепот: — Посмотрите внимательно на наш щит на окне. Ничего не замечаете?

Нет, я решительно ничего не замечаю... Решетки... Доски... Мир закрыт. Но, оказывается, вот она, крохотная щель, в этот мир. Между второй и третьей досками просвет, примерно в палец ширины.

— Только бы не заметили они. А так, раз нас теперь двое, мы в эту щель во время прогулок все камеры пересмотрим и узнаем, кто где сидит. А там и связь наладить можно. Это самое главное. Чтобы знать, кого о чем спрашивали и кто что ответил. А то ведь они так врут, следователи, так врут...

И намолчавшаяся за месяц одиночки Ляма долго, до самого «отбоя» горячим шепотом рассказывает мне обо всем: и о коварстве следователей, и о каких-то давнишних пикниках на китайской реке Сунгари, и о том, как жалко пропадающих вещей. «Особенно вот эту шубку. Котик натуральный, теперь век такую не справишь, а истрепала здесь совсем, ведь и парашу носишь, и в сырости сидишь...»

Я усердно слушаю ее, полная сочувствия и даже какого-то странного чувства стыда перед этой милой девушкой из незнакомого мне мира. Хоть я и сижу рядом с ней, но мне еще кажется, что я, как коммунистка, несу ответственность за то, что так горячо ожидаемая страна отцов встретила Ляму, веселую, смышленую, хорошую русскую девушку, вот этой камерой.

Отбой. Потрясающий лязг спускаемых железных коек наполняет весь подвал дьявольской музыкой. Разглядываю свое новое ложе. Я пока еще очень брезглива, и я старательно прикрываю соломенную подушку в серой наволочке своим кашне и носовым платком. Ляма утешает:

— Может, вам передачу разрешат...

Ложимся. Ляма засыпает со счастливой улыбкой. Перед сном она говорит мне:

— Спокойной ночи, милая Женечка! Как я рада, что вы со мной! Только теперь я вижу, как страшно было одной целый месяц. Ой, дура, что я сказала-то! Как глупо! Рада! Не тому, конечно, рада, что вы арестованы, а тому, что попали в мою камеру. Вы ведь понимаете, да?

Я все понимаю. Вернее, я уже ничего не понимаю. Этот день вместил в себя слишком много. Я закрываю глаза, и передо мной несутся видения: то лица моих детей, то затравленный последний взгляд мужа, то раскаленные очи Веверса, то «маринованный судак», разглядывающий мои часы, то китайская речка Сунгари, по которой плывут лодки со странными людьми. Они из племени кавежединцев. Какое нелепое название... Ляма... Еще несколько часов тому назад я не знала о ее существовании. Сейчас она как сестра мне...

Я уже почти погружаюсь в тяжкий и неверный тюремный сон, полный кошмаров. Но спать в эту первую тюремную ночь мне не было суждено. Снова гром, лязг засовов и замков и чей-то скучный, нарочито тихий голос:

— Приготовьтесь на допрос!

13. СЛЕДСТВИЕ РАСПОЛАГАЕТ ТОЧНЫМИ ДАННЫМИ

Я часто думала о трагедии людей, руками которых осуществлялась акция тридцать седьмого года. Каково им было! Ведь не все они были садистами. И только единицы нашли в себе мужество покончить самоубийством.

Шаг за шагом, выполняя все новые очередные директивы, они спускались по ступенькам, от человека — к зверю. Их лица становились все более неописуемыми. По крайней мере я не могу найти слов, чтобы передать выражение лиц тех, кто стал уже Нечеловеком.

Но все это постепенно. А в эту ночь следователь Ливанов, к которому меня вызвали, выглядел самым обыкновенным служащим с легкой склонностью к бюрократизму. Спокойное сытое лицо, аккуратный почерк, которым он уже заполнил левую сторону протокола (вопросы), немного обывательские, чисто казанские интонации и даже отдельные словечки. Он говорил «ужо» вместо «потом», «давеча» вместо «раньше». Это напоминало няню Фиму и вызывало целый

комплекс домашних чувств. На минуту снова мелькнула надежда, что безумие может кончиться. Оно, безумие, оставалось там, внизу, где лязг замков, налитые страданием глаза золотоволосой девушки с реки Сунгари. А здесь — обычный мир нормальных людей. Вот она звякает за окном трамваями, знакомая старая Казань. И окно здесь не с решеткой и деревянным козырьком, а с красивой гардиной. И тарелка, оставшаяся от ужина следователя Ливанова, стоит не на полу, а на тумбочке, в углу кабинета. Может быть, он вполне порядочный человек, этот спокойный Ливанов, медленно записывающий мои ответы на ничего не значащие, почти анкетные вопросы: с какого года работала там-то и там-то, когда познакомилась с тем-то и тем-то... Но вот страница исписана, и следователь дает мне подписать ее.

Что это? Он только что задавал мне вопрос, с какого года я знакома с Эльвовым, и я ответила «с 1932-го». А здесь написано: «С какого года вы знакомы с ТРОЦКИСТОМ Эльвовым?» — и мой ответ: «ТРОЦКИСТА Эльвова я знаю с 1932-го».

— Я так не говорила.

Следователь Ливанов смотрит на меня с таким недоумением, точно дело идет и впрямь о точности формулировки.

— Но ведь он же троцкист.

— Я этого не знаю.

— Зато мы знаем это. Мы установили. Следствие располагает точными данными.

— Но я не могу подтвердить то, чего не знаю. Вы можете меня спрашивать, когда я познакомилась с ПРОФЕССОРОМ Эльвовым. А троцкист ли он и знала ли я его как троцкиста — это уже другой вопрос.

— А вопросы, извините, ставлю я. Вы не имеете права диктовать мне формулировки. Вы только отвечаете.

— В таком случае запишите мой ответ не своими словами, а точно так, как я его формулирую. Кстати, почему нет стенографистки? Это было бы самое точное.

Эти мои рекордные по наивности слова покрываются вдруг раскатами хохота. Хохотал, конечно, не Ливанов. Это в комнату вновь вошло само безумие в лице лейтенанта госбезопасности Царевского.

— А-а-а... Сидите уже за решеткой? А давно ли в нашем клубе доклад о Добролюбове делали? А? Помните?

— Помню. Это было действительно глупо. К чему вам Добролюбов!

Смысл реплики не доходит до этого взлохмаченного сухопарого парня с лицом маньяка.

— Так, стало быть, стенографистку требуете, ни больше ни меньше. Юмори-и-стка! Кажется, снова в редакции себя вообразили?

Он быстрыми скачущими шагами подходит к столу, пробегает глазами протокол, потом поднимает взгляд на меня. Его глаза отличаются от глаз Веверса тем, что в них наряду с упоением палачества живет какая-то темная тревога, какой-то подспудный ужас.

— Итак, сидите уже за решеткой? — снова издевательски обращается он ко мне с интонацией такой острой ненависти, точно я убила его ребенка или подожгла его дом. Потом продолжает уже более спокойно: — Вы понимаете, конечно, что ваш арест согласован с обкомом? Все раскрыто, Эльвов вас выдал. Да и муж ваш, Аксенов, тоже уже арестован и все рассказал. Он тоже троцкист.

Я мысленно оставляю это заявление со словами Веверса об отказе Аксенова от «такой жены». Да, Ляма была права. Врут они страшно.

— А разве Эльвов здесь?

— Да! Рядом с вами, в соседней камере. И все подписал против вас.

— Тогда дайте мне очную ставку с ним. Я хочу услышать, что он сказал обо мне. Пусть повторит в глаза.

— Ах, повидаться с дружком захотелось? — И он отпускает гнусную циничную фразу. Впервые в жизни я слышу такое по отношению к себе.

— Как вы смеете! Я требую, чтобы меня провели к начальнику управления. Здесь советское учреждение. Здесь никто не имеет права издеваться над человеком.

— А враги народа для нас не люди. С ними все позволено. Тоже мне люди.— И он снова разражается грязным гоготаньем. Потом он орет на меня во всю силу легких, стучит по столу точно таким движением, как Веверс, грозит мне расстрелом. Он требует, чтобы я подписала протокол.

С удивлением вижу, что спокойный, вежливый Ливанов взирает на это бесснование с полным равнодушием. Для него это, видимо, привычное дело.

— Почему вы разрешаете вмешиваться в следствие, которое ведете вы? — спрашиваю я его.

Ливанов улыбается почти добродушно.

— Да ведь Царевский прав. Чистосердечное раскаяние облегчит ваше положение. Запирательство бесполезно. Ведь следствие располагает точными данными.

— Какими?

— О вашей контрреволюционной деятельности в подпольной организации, возглавлявшейся Эльвовым. Подпишите лучше протокол. Тогда к вам будет вежливое, спокойное отношение. Передачу разрешим. Свидание с детьми и мужем.

Пока говорит Ливанов, Царевский выдерживает паузу, чтобы с новыми силами наброситься на меня снова. После трех-четырех часов такой комбинированной обработки я окончательно убеждаюсь, что приход Царевского, принятый мной за случайность,— часть продуманной методики.

Синий февральский рассвет уже холодеет в проеме окна, когда, наконец, появляется вызванный звонком Царевского конвоир. Вслед мне несутся те же слова, которыми проводил меня накануне капитан Веверс. Только голос Царевского чаще срывается на фальцет.

— В камеру! И будете сидеть до тех пор, пока не подпишете!

Спускаясь по лестнице в подвал, я ловлю себя на том, что тороплюсь в камеру. Там, оказывается, лучше. Там на меня смотрят человеческие глаза товарища по несчастью. И грохот замков лучше, чем визги исступленных Нечеловеков.

14. КНУТ И ПРЯНИК

За неделю я уже так основательно изучила все порядки, что, идя на допрос впереди конвоира, не ждала его указаний, а сама поворачивала все направо к кабинету Ливанова, где иногда вместо него ждал меня Царевский, а иногда оба сразу. Поэтому я была поражена, когда, дойдя до второго этажа, услышала вдруг позади себя приглушенный, но отчетливый голос конвоира:

— Налево!

Новый кабинет был гораздо комфортабельнее ливановского. Широкие зеркальные окна были почему-то не задернуты гардинами, и я не смогла сдержать легкого возгласа изумления и восторга, увидав в этих окнах, как на экране, каток Черного озера. Цветные лампочки украшали его праздничными гирляндами. Мне видны были сидящий на возвышении духовой оркестр и мелькающие фигуры конькобежцев. На секунду я замираю, не в силах оторваться от этого зрелища. Неужели такое еще существует на свете? На этом свете, где есть стоячие карцеры и «особые методы», которыми мне ежедневно угрожают.

— Красиво, правда? — раздается вдруг так называемый бархатный баритон.

Только тут я замечаю невысокую коренастую фигуру военного, стоящего у бокового окна.

— Сегодня праздник. День Красной Армии. Большое соревнование конькобежцев,— объясняет он таким голосом, точно мы сидим за чайным столом. И совсем уже задушевно добавляет: — Ваши старшенькие тоже, наверно, здесь? Алеша и Майя... Они ведь катаются на коньках?

Не галлюцинация ли это? Кто произнес в этих стенах имена моих детей? И я не выдерживаю. Сколько раз давала себе слово, что «они» не увидят моих слез. Но сейчас удар нанесен уж очень неожиданно. И слезы льются градом.

— О-о-о... Простите, расстроил вас. Да вы садитесь, пожалуйста. Вот сюда в кресло, здесь удобнее.

Мой собеседник совсем не похож на «тех». Скорее он напоминает покинутый университетский мир. Светлые глаза смотрят сочувственно. Он заводит со мной непринужденную беседу, совсем как будто не связанную с моим «делом». О жизненном призвании. Он уверен, что я сделала ошибку, выбрав путь педагога, научного работника.

— Вы же прирожденный литератор. Дали мне вчера вырезки с вашими газетными статьями...

Я еще не понимаю, к чему все это. Но скоро все выяснится.

— Такая порывистая, эмоциональная натура. Немудрено, что вы поддались на ложную романтику этого гнилого подполья...

Майор Ельшин выжидательно смотрит на меня. Но я уже стала ученая за эту неделю. Я твердо знаю теперь, что никакие страстные оправдания никому ничего не доказыва-

ют, только дают пищу для новых издевательств. Поняла, что «молчание — золото», что отвечать надо только на прямо поставленные вопросы, и то возможно короче.

— Да-а...— продолжает майор,— все мы были молоды, все увлекались, все могли ошибиться.

Тьфу ты, черт. Неужели он думает, что я не читала романов и повестей из истории революционного движения! Ведь в них все жандармские ротмистры именно этими самыми словами увещевали молодых студентов-террористов.

— Не курите? — любезно раскрывает он портсигар и продолжает, как бы рассуждая сам с собой: — Романтика... Огюст Бланки... Степняк-Кравчинский... Помните, «Домик на Волге»?

Заметно, что майор очень доволен случаем проявить такую блестящую эрудицию. Он вдохновляется и произносит целую небольшую речь — минут на десять,— смысл которой сводится к тому, что я веду себя неправильно. Я ведь не в гестапо попала. Это там были бы уместны гордое молчание, отказ от подписывания протоколов, нежелание назвать сообщников. А здесь ведь я в своей тюрьме. Он уверен, что в душе я осталась коммунисткой, несмотря на допущенные тяжелые ошибки. Надо разоружиться, стать перед партией на колени и назвать имена тех, кто толкнул порывистую, эмоциональную натуру на участие в гнилом подполье. А потом вернуться к детям. Кстати, они мне кланяются. Майор вчера беседовал по телефону с товарищем Аксеновым. Этот честный коммунист мучительно страдает, узнавая, что его жена все углубляет свои ошибки неправильным, прямо несоветским — уж майор скажет напрямик — поведением...

Молчу как убитая, стараясь глядеть в угол, поверх головы майора. Он неправильно истолковывает мой взгляд, относя его к тарелке с бутербродами, стоящей на тумбочке в углу.

— Простите, не догадался вам предложить. Пожалуйста. Может быть, вы проголодались? Вы немного бледны. Впрочем, это вам идет. Такая интересная женщина. Немудрено, что этот Эльвов потерял голову, не так ли?

Горка бутербродов с нежной розоватой ветчиной и слезящимся швейцарским сыром вырастает передо мной. Проголодалась ли я? Всю эту неделю я почти ничего не ела, кроме куска черного хлеба с кипятком, не в силах преодолеть брезгливость к тюремным мискам, к вонючей рыбе.

— Спасибо. Я сыта.

— Ай-ай-ай. Вот и это плохо. Считаете нас врагами? Не хотите из наших рук принимать пищу?

Снова молчу, стараясь теперь не глядеть не только на майора, но и на бутерброды. Тогда он с кротким вздохом убирает их со стола и кладет на их место несколько листов писчей бумаги и автоматическую ручку.

— Напишите нам всё. Всё, что было, с самого начала. Я пока займусь своими делами, а вы пишите. Как можно подробнее. Оттените главных заправил. Напишите, кто из редакционных и университетских был особенно активен в нападках на линию партии. Да и в среде татарских писателей... Да уж не мне учить вас писать.

— Боюсь, майор, что это не мой жанр.

— Почему же?

— Да ведь вы сами говорили, в каких жанрах я пишу. Публицистика. Переводы. А вот жанр детективного романа — не мой. Не приходилось. Вряд ли я смогу сочинить то, что вам хотелось бы.

Майор Ельшин криво усмехается, но продолжает оставаться любезным. По-видимому, его амплуа строго ограничено «пряником», и кнут ему применять не положено.

— Пишите. Посмотрим, что выйдет у вас.

— Что же писать об университетских? Ведь они все уже арестованы,— пытаюсь я выудить у своего любезного собеседника какие-нибудь сведения.

— Почему же все? Вот, например, профессор Камай. Кто же его арестует? Не за что! Бывший грузчик, татарин, ставший профессором. Преданный член партии.

— Да, это, наверное, последний остался профессор из грузчиков. Теперь вы больше профессоров на грузчиков переделываете.

Терять мне уже нечего — теперь я убеждена в этом,— и потому изредка позволяю себе немного дерзить.

— Ай-ай-ай,— по-отечески журит меня майор Ельшин,— ну, сами скажите, разве от этой вашей шуточки не отдает троцкистским душком? Разве не взята она из гнилого арсенала троцкистского оружия?

Пожалуй, перо и бумагу надо использовать. И я пишу. Пишу подряд четыре часа заявление на имя начальника управления НКВД, которого я еще здесь не видела, но с которым познакомилась еще до ареста на одном из партактивов. Пишу о недопустимых приемах следствия, об угрозах и бессонных ночах, о Царевском и Веверсе. Прошу очной ставки с Эльвовым, свидания с мужем. Описываю весь ход своего «дела» сначала в партийных инстанциях, потом в подвале. Заканчиваю заявлением, что я твердо решила не лгать партии и не приписывать себе, а тем более другим коммунистам фантастические злодеяния, измышляемые следователями в неизвестных мне целях.

Майор Ельшин уж очень устал. Через два примерно часа он звонит куда-то, и на смену ему приходит... все тот же Царевский. Именно ему и приходится сдать написанное мною заявление. Он приходит в исступление: брызжет слюной, изрыгает ругательства, хватается за револьвер. Но я знаю, что убивать им запрещено, тем более что следствие еще не закончено. Об этом мне подробно рассказала Ляма, мой милый тюремный инструктор. И я молчу. Молчу и мечтаю о своей камере. Но он держит меня до самого подъема, до шести утра. Позднее я узнала, какой счастливый номерок мне достался в этой лотерее. Ведь мое следствие кончилось еще в апреле, то есть до того, как царевские и веверсы получили право не только изрыгать непотребные ругательства, но и пытать физически, надругаться над телами своих жертв.

15. ОЖИВШИЕ СТЕНЫ

Меня вдруг перестали вызывать на допросы. Шли дни за днями, тюремные будни обрели некий ритм, определяемый выдачей кипятка, пятнадцатиминутной прогулкой в тюремном дворике под двумя взятыми наперевес штыками, обедом, «оправкой». Следователи как будто забыли о моем существовании.

— Это они нарочно,— говорила Ляма,— меня вот уже три недели не вызывали. Это чтобы человек осатанел от тюрьмы и начал с отчаяния подписывать всякую галиматью.

Но я была так истерзана первым знакомством с черноозёрским правосудием, что была рада этой передышке.

— А мы давайте не осатанеем, Ляма. Давайте используем это для изучения обстановки. Сами же вы говорили, как важно завязать связи. Ведь он все стучит, правда?

Да, он все стучал, наш сосед слева, каждый день после обеда. Но, замученная допросами, я еще как следует не прислушивалась к стуку. А Ляма приходила в отчаяние от непостижимости тюремной азбуки. Постепенно мы установили одну закономерность: в те дни, когда наш сосед слева уходил «на оправку» раньше нас — а это мы безошибочно определяли по шагам в коридоре,— в уборной, на полочке для мыла, по рассыпанному тонким слоем зубному порошку обязательно было выдавлено чем-то тоненьким, может быть, булавкой — «Привет!» И как только мы возвращались в камеру, сосед сейчас же выстукивал нам в стену что-то короткое, лаконичное и немедленно замолкал. Эти стуки отличались от длительных послеобеденных передач, которыми он старательно пытался обучить нас азбуке. Так повторялось несколько раз, и наконец меня осенило.

— «Привет»! Он выстукивает «привет»! И пишет и выстукивает одно и то же слово. Теперь, когда мы знаем слово, мы ведь можем сообразить, как обозначаются входящие в него буквы.

Подсчитали.

— Поняла! — восторженно прошептала Ляма.— Каждая буква обозначается двумя видами стуков — раздельными и частыми. Всего он простучал шесть букв. Шесть? То есть п-р-и-в-е-т!

Впоследствии, сидя в тюрьмах долгими месяцами и даже годами, я имела возможность наблюдать, до какой виртуозности доходит человеческая память, обостренная одиночеством, полной изоляцией от всех внешних впечатлений. С предельной четкостью вспоминается все когда-нибудь прочитанное. Читаешь про себя наизусть целые страницы текстов, казалось, давно забытых. В этом явлении есть даже нечто загадочное. Во всяком случае, в этот день, после опознания выстуканного в стену привета, я была поражена той отчетливостью, с какой перед моим мысленным взором вдруг предстала страница книги, читанной примерно в двадцатилетнем возрасте. Это была страница из книги Веры Фигнер «Запечатленный труд». На этой странице приводи-

лась тюремная азбука. Я взялась за виски и голосом сомнамбулы сказала Ляме, сама поражаясь своим словам:

— Весь алфавит делится на пять рядов. В каждом — пять букв. Каждая буква обозначается двумя стуками — раздельными и частыми. Первые обозначают ряд, вторые — место буквы в данном ряду.

Потрясенные открытием, перебивая друг друга, забыв на минуту об опасности подслушивания дежурным надзирателем, мы составили нашу первую передачу. Она была коротка: «К-т-о в-ы?» — спросили мы своего соседа.

Да, все было правильно. Мы почувствовали через каменную глыбу восторг нашего адресата. Наконец-то его поняли! Увенчалось успехом его безмерное терпение. Там-там-там-там! Этим радостным мотивчиком он отстукал... что понял нас. С тех пор именно этот стук стал условным знаком взаимопонимания. И вот он стучит нам ответ. Теперь уже не дурочкам, которым надо тысячу раз повторять «привет», а понимающим людям, которым он сообщил свое имя: «С-а-г-и-д-у-л-л-и-н». Что? Сагидуллин? Ляме это имя ничего не говорит, но мне... Стучу гораздо смелее: «Тот самый?» Да, он утверждает, что он «тот самый» Гарей Сагидуллин, имя которого уже много лет упоминается в Казани только с суффиксом «щина»: «Сагидуллищина». Это был один из разделов программы в сети партийного просвещения. Буржуазный национализм. Султангалеевщина и сагидуллищина. Но ведь он был арестован в 1933 году. Как же попал сюда сейчас?

За стеной почувствовали мое смятение. Поняли его причину. И вот я принимаю передачу: «Был и ос-тал-ся ле-нинцем. Клянусь седь-мой тюрь-мой...— А дальше уж что-то совсем непонятное: — Верьте мне, Женя!»

Откуда он знает, что меня зовут Женя? Откуда, через стенку при такой изоляции, узнал, кто сидит рядом? Мы переглядываемся испуганно. Слов не надо. И так ясно. Призрак провокации встает перед нами.

И он опять почувствовал, что означает наше замешательство. Терпеливо все объяснил. Оказывается, и у него в оконном щите есть щелка. Давно видел нас на прогулке. Узнал меня, так как знал в лицо, хоть и не были знакомы. Видел меня в Москве, в Институте красной профессуры. Сидит один. Привезли на переследствие. Предъявляют дополнительные обвинения. Пахнет вышкой.

С этого момента наши тюремные дни насытились интересным содержанием, хотя внешне ничего не изменилось. Уже с утра я мечтала о послеобеденном часе смены дежурных, когда они, сдавая один другому свое людское поголовье, несколько отвлекались от подглядывания в глазки и подслушивания. Тогда наступал самый удобный час для стенного телеграфа. Новый мир раскрывался передо мною в лаконичных стуках Гарея. Мир лагерей, ссылок и тюрем, мир трагических развязок, приводивший попавших в него людей то к полному душевному краху, то измельчанию, опустошенности, то к рождению настоящего мужества. Я узнала от Гарея, что все, кто был арестован в тридцать третьем или тридцать пятом, привезены сейчас на так называемое «переследствие». Никаких новых обстоятельств, требующих пересмотра их дел, нет и не было. Просто надо было, как цинично выражались следователи, «перевести все дела на язык 37-го года», т. е. заменить полученные этими людьми пятилетние и трехлетние сроки заключения более радикальными мерами истребления крамолы. Еще важнее была другая цель — вынудить этих «опытных» оппозиционеров (у некоторых из них вся оппозиция заключалась в какой-нибудь еще неапробированной мысли по вопросам теории. Как, скажем, у Василия Слепкова в «Проблемах методологии естествознания») давать свои подписи под сфабрикованными следователями чудовищными списками так называемых завербованных . Подписи вымогались угрозами, руганью, лживыми обещаниями, карцерами (к избиениям начали обращаться только начиная с июня — июля, после процесса Тухачевского и др.).

Гарей страстно ненавидел Сталина, и на мой вопрос о причинах всего происходящего кратко и твердо простучал:

— Коба. Восемнадцатое брюмера. Физическое истребление лучших людей партии, мешающих или могущих помешать окончательному установлению его тирании.

Впервые в жизни передо мной встала задача самостоятельного анализа обстановки и выбора линии поведения.

«Ведь вы не в гестапо попали»,— звенели у меня в ушах слова майора Ельшина. Да, насколько проще и легче было бы все, если бы это было гестапо! Я очень твердо знала, как должен вести себя коммунист, попавший туда.

А здесь? Ведь надо самой определить, кто они, эти люди, держащие меня здесь. Переодетые фашисты? Или жертвы какого-то неслыханного обмана, какой-то изощренной провокации? И как должен коммунист вести себя в «своей» тюрьме, выражаясь словами того же майора?

Все эти мучительные вопросы выстукивала я Гарею, который был на десяток лет старше меня годами и на пятнадцать — по партийному делу.

Но то, что он советовал, не подходило мне и вызывало удивление: как можно предлагать такое? До сих пор не понимаю, что толкнуло его, Слепкова и многих других из «ранее репрессированных» вести себя так, как он советовал мне:

— Говори прямо о несогласии с линией Сталина, называй как можно больше фамилий таких несогласных. Всю партию не арестуют. А если будут тысячи таких протоколов, то возникнет мысль о созыве чрезвычайного партийного съезда, возникнет надежда на «его» свержение. Поверь, внутри ЦК его ненавидят не меньше, чем в наших камерах. Может быть, такая линия будет гибельна для нас лично, но это единственный путь к спасению партии.

Нет, так поступить я не могла. Хоть я и чувствовала смутно, еще не зная этого точно, что вдохновителем всего происходящего в нашей партии кошмара является именно Сталин, но заявить о несогласии с линией я не могла. Это было бы ложью. Ведь я так горячо и искренно поддерживала и индустриализацию, и коллективизацию. А ведь это была основная линия.

Тем более нечестно было бы называть чьи-то имена, зная, что одного упоминания имени какого-либо коммуниста в этих стенах вполне достаточно для его гибели, для сиротства его детей.

Нет уж, если догматические навыки, привитые мне всем воспитанием, пустили в моем сознании такие глубокие корни, что я не смогу дать самостоятельного анализа положения в стране и в партии, то буду руководствоваться просто голосом совести. А значит — говорить правду только о себе, не подписывать никаких провокационных выдумок ни о себе, ни о других, не называть ничьих имен, не верить никаким софизмам, оправдывающим ложь и братоубийство. Они не могут быть нужны той партии, в которую я так верила, которой решила отдать всю жизнь. Все это я, конечно, гораздо короче, перестучала Гарею. В течение двух-трех дней я настолько освоила технику перестукивания, а через неделю так здорово овладела ею, что мы с Гареем часто перестукивали друг другу стихи. Мы понимали друг друга с полуслова, давая об этом знать специальным сигналом, что тоже ускоряло наше общение, сокращая слова. Удар кулака означал опасность со стороны надзора, и справедливость требует отметить, что Гарей давал этот сигнал куда чаще, чем я. Я, наверное бы, попалась, если бы не он. Он не терял бдительности даже при самом интересном разговоре. Я никогда не увидела этого человека. Его расстреляли. Я не имела возможности уточнить его политические взгляды. Со многим из того, что он говорил, я была не согласна. Но я знаю одно: с покоряющим мужеством переносил он седьмую по счету тюрьму, одиночку, перспективу расстрела. Сильный, настоящий был человек.

16. «ПРОСТИШЬ ЛИ ТЫ МЕНЯ?»

Пошел второй месяц в тюрьме. После первых активных допросов меня продолжали выдерживать без выхода наверх. Только однажды меня вызвали к следователю Крохичеву наверх, который передал мне записку от мамы, состоящую из двух слов «Дети здоровы». Потом он сообщил, что мне разрешена передача, и, наконец, пристально глядя на меня красным, как у всех следователей, глазом, нечленораздельно буркнул, что был Пленум ЦК, февральско-мартовский пленум; что, возможно, дела мои не так-то плохи, надо только вести себя разумно.

Однако долго питать радостные иллюзии мне не пришлось, так как Гарей на другой же день простучал, что наши местные хозяева сначала было не поняли смысла решений пленума, наивно прочтя их буквально. Но теперь уже получены дополнительные инструкции. Понимать все надо наоборот, идут новые арест..., а на допросах стали шире применять зверские методы.

Однажды после обеда, в неположенный час, вдруг загромыхали замок и засов на нашей двери. Вошли два надзирате-

ля. Они поставили посередине камеры кривоногую железную койку.

— Третья! — взволнованно шепнула Ляма.

— Горячий сезон, путевок не хватает,— пошутила я.

Через десять минут дверь снова прогрохотала, и в камеру вошла молодая женщина с красными пятнами на щеках, с расширенными от ужаса глазами. Лицо показалось мне знакомым. Оказалось — это Ира Егерева, аспирантка биофака университета, гидробиолог. Я встречала ее в коридорах университета, знала, что это единственная избалованная дочка из профессорской семьи. Что она могла иметь общего с политическими «преступниками»? Какие извилистые пути привели ее сюда?

Четыре года назад она посещала семинар Слепкова и даже немного кокетничала с красивым талантливым профессором. Сейчас она была арестована по обвинению в участии группы правых. Была она очень беспартийной и понятия не имела, чем отличаются правые от левых, и вообще с чем все это едят.

Не успела Ира кратко ознакомить нас со своей трагикомической историей, как раздался короткий стук в стену.

— Я не один,— простучал Гарей.

Его новым соседом стал Бари Абдуллин, второй секретарь обкома партии. Незадолго до моего исключения из партии у меня была с ним неприятная встреча. Я приходила в обком жаловаться, что у меня не принимают членских взносов. Секретарь парторганизации боялся принимать их у меченого человека. Как я ни уговаривала его, доказывая, что раз я еще не исключена, то платить взносы обязана,— это не помогло.

Абдуллин принял меня в обкоме. Я спросила его, что мне делать: оставаться в партии на таком положении, когда у тебя не хотят принимать взносов, или положить билет на стол, дав этим новую пищу для обвинений?

Не поднимая глаз от бумаг, он отвстил тоном, категорически пресекавшим возможность дальнейших разговоров.

— Партия имеет основания не доверять вам, особенно после того, как вы отказались признать свои ошибки.

А до этого мы были с ним друзьями, несколько лет жили рядом на даче.

И вот он со мной, в подвале Черного озера, в одной камере с тем самым Сагидуллиным, имя которого он произносил раньше только тоном самого ортодоксального негодования. Секретарь обкома, человек, которым гордился татарский рабочий класс. Неужели Гарей прав, утверждая, что Сталин решил физически уничтожить весь цвет партии?

К вечеру из тревожного стука Гарея мы узнали, что Абдуллину предъявлено обвинение в пантюркизме, в связях с Турцией, в шпионаже, а также, вероятно, в том, что у алжирского бея под самым носом шишка.

— Следствие полагает, что Абдуллин хотел включить бывшую Казанскую губернию в состав Оттоманской империи,— ехидно комментировал Гарей.

Однако через несколько дней стало не до смеха. Тон передачи резко изменился.

— Абдуллина держали на конвейере двое суток непрерывно. А когда он все-таки отказался подписать предъявленный ему бред, увели обратно не в камеру, а в стоячий карцер.

Содержание в этом карцере принадлежало к числу тех «особых методов», которыми мне постоянно грозил Царевский. Помещался этот карцер в «подвале подвала», то есть в самом подполье, куда не проникал ни один луч света. Я прежде думала, что стоячим карцер называется потому, что в нем нет табуреток. Наивность! Стоячий карцер имеет такую площадь, на которой человек может ТОЛЬКО стоять, и то опустив руки вдоль туловища. Сесть там попросту НЕТ МЕСТА.

— То есть человек замурован в стене?

— Вот именно!

Подавленные, мы сидели почти двое суток в полном молчании. Даже Ира перестала спрашивать меня, что такое правый уклон, в котором ее обвиняют. И Гарей не стучал. Настроение не изменилось даже тогда, когда мне принесли обещанную Крохичевым передачу. Я только тупо рассматривала присланный мамой махровый халатик, напоминающий о пляже, о море, о доброжелательных улыбающихся людях. На фоне этих воспоминаний еще рельефнее вырисовывалась фигура замурованного в стене человека. И не просто человека, а Бари Абдуллина, который еще недавно делал доклад на партактиве на международные темы, который бегал по дачным аллейкам, везя на плечах свою дочурку, а по воскресеньям играл в волейбол в одной со мной команде. Наконец раздался стук Гарея.

— Приволокли без чувств. Разрешили опустить койку. Ввели камфару. Сейчас лучше. Просит папирос. Нет ли у тебя?

Да, они были. Две пачки. Не знаю, почему маме пришло в голову положить их в передачу. Я никогда не курила. Может быть, она думала, что в такой обстановке надо курить? Или приняла в расчет моих возможных товарищей? Так или иначе, они были. Но как передать? Гарей простучал точную инструкцию. Если завтра нас поведут на оправку раньше, чем их, то мы должны захватить с собой папиросы, неся их под полотенцем. Та, что понесет, должна идти первой. Остальные, идущие гуськом, должны растянуться по возможности дальше. Когда входишь в коридорчик, ведущий в уборную и душевую, надо наклониться и быстро положить папиросы в маленькое отверстие под дверью душевой. Это налево. Та, что пойдет третьей, должна в самых дверях споткнуться о порог и задержать таким образом конвой.

Мы стали напряженно готовиться к ответственной и тонкой операции. Прежде всего возникла дискуссия внутри нашей камеры. Осторожная Ира возражала против передачи целой пачки. Ее могут заметить, она будет высовываться из отверстия. Тогда нас всех сгноят в карцере. Ляма, наоборот, выдвинула программу-максимум. Что значат несколько папирос для человека в таком состоянии? Обе пачки! И еще мыло в придачу! Да, пусть Женя отдаст ему туалетное мыло, присланное мамой. Пусть он, бедный, хоть умоется дочиста после такого ужаса. А то им ведь еще меньше, чем нам, обмылочки дают.

Я заняла среднюю позицию. Или обе пачки папирос без мыла или одну пачку и мыло. Иначе обязательно попадемся. После долгих споров решили: одну пачку папирос и мыло.

— Тогда давайте еще кусочек сливочного масла. У нас его в передаче целых триста граммов. Знаете, как ему сейчас важно питание. Фосфор для мозга. Чтобы не потерять выдержку.

Милая Ляма! Она не сдавала марксистского минимума, как Ира, недавно защитившая кандидатскую. Она была просто машинисткой и массу свободного камерного времени отводила рассказам о своих пропавших заграничных туалетах. Но когда в дальнейшем мне приходилось сталкиваться с подонками человечества, я старалась себя утешить мыслями о Ляме, о ее настоящем бесстрашии, великодушии, размахе.

Упаковка нашей посылки была делом нехитрым, так как сама пачка была разорвана и выкинута надзирателями. Папиросы передавались только в рассыпном виде, после тщательной проверки каждой штучки — не спрятана ли в ней записка? Мыло тоже передавалось без обложки и было проткнуто во многих местах перочинным ножом. Масло — в банке. Даже самый ничтожнейший клочок бумаги был здесь тяжелым криминалом. Чем же связать папиросы? Пробовали волосами. Мы с Лямой надергали друг у друга порядочный пучок. Но волосы скользили и расплетались.

— Ах, мы, глупые! — хлопнула себя по лбу Ляма,— у нас ведь ниток сколько угодно...

Мой махровый халат... Из него были надерганы отличные прочные нитки. Папиросы туго и надежно перевязаны. К неистово благоухающему земляничному мылу привязали два тонких ломтика хлеба, густо намазанного маслом.

Сама операция была проведена блестяще. Наиболее ответственную и трудную задачу — идти первой и положить передачу в отверстие — взяла на себя Ляма. Я должна была идти третьей, возможно более растягивая шествие и, главное, натурально споткнуться у порога уборной, задержав этим надзирателя. Ире предлагалось идти между нами, и ей мы отводили, так сказать, негативную задачу: не делать страшных глаз и идти, как обычно.

Все разыгралось как по нотам, Ляма змейкой проскользнула в дверь коридорчика, когда Ира, и я, и замыкающий шествие надзиратель были еще довольно далеко. Она отлично успела уложить вещи в отверстие и даже проверить — не заметно ли? Я так здорово инсценировала боль в коленке, споткнувшись о порог, что конвоир даже буркнул: «Смотреть надо...» Семь-восемь минут, которые прошли между нашим возвращением из уборной и приходом наших соседей, тянулись очень долго. Но вот снова грохот замка. Скорей бы уж заперли! Дежурный надзиратель удаляется в конец коридора.

— Там-там-там-там! — радостно выстукивает Гарей. А потом уже медленно и членораздельно:

— Ум-ные! Сме-лые! Доб-рые!

У всех нас такое чувство, какое, наверное, испытывают солдаты после боя. Усталость и изумление перед собственным геройством. Быстрее всех отвлекается от героических мыслей Ляма. Она расспрашивает, красивая ли жена у Абдуллина и хорошо ли она одевается. К вечеру стена вдруг заговорила необычным голосом, кто-то стучал медленно и осторожно, очень неопытной рукой:

— Же-ня! Же-ня,— зовет стена. Это Абдуллин. Его осторожные стуки складываются наконец во фразу, понятную только нам:

— Простишь ли ты меня?

— За что он прощения просит? Может, у вас с ним роман был, Женечка?

А Абдуллин, видимо, до основания потрясенный всем происходящим, никак не успокаивается. Стучит и стучит.

— Как ты могла пойти на такой риск? В ответ на мое бездушие? Что было бы, если бы вы попались?

— А попадаться не надо. Надо овладеть тюремной техникой. А техника, как известно, в период реконструкции решает все.

17. НА КОНВЕЙЕРЕ

За меня снова взялись. Меня поставили «на конвейер». Непрерывный допрос. Они меняются, а я остаюсь все та же. Семь суток без еды и даже без возвращения в камеру. Хорошо выбритые, отоспавшиеся, они проходили передо мной, как во сне. Ливанов, Царевский, Крохичев, Веверс, Ельшин и его «ассистент» — лейтенант Бикчентаев, коротенький розовощекий парнишка с мелкими кудряшками, похожий на закормленного орехами индюшонка.

Цель конвейера — истощить нервы, обессилить физически, заставить подписать то, что им требуется. В первые дни я еще отмечала про себя индивидуальные особенности каждого из сменяющихся следователей. Ливанов — по-прежнему спокоен, официален. Он настаивает на том, чтобы я подписала самую чудовищную чушь с таким видом, точно это самая естественная и притом незначительная часть некой канцелярской процедуры. Царевский и Веверс всегда орут, угрожают. Веверс при этом нюхает белый порошок — кокаин. Нанюхавшись, он и хохочет надо мной.

— Ха-ха-ха! Что стало из бывшей университетской красотки! Да вам сейчас сорок лет можно дать! Не узнал бы Аксенов свою кралю. Да еще немного поупрямитесь, так и совсем в бабусю превратитесь. Вы еще в резиновом карцере не были? Ах, нет? Ну, значит, еще все впереди...

Майор Ельшин остается неизменно галантным и «гуманным». Он любит говорить о моих детях. Он слышал, что я хорошая мать. А оказывается, я о своих детях совсем не думаю. Осведомившись, почему это я стала такая «бледненькая», и, услышав в ответ, что меня допрашивают без сна и еды уже четверо или пятеро суток, он «изумляется».

— Неужели стоит так себя мучить, чтобы не подписать вот этого чисто формального пустякового протокола? Подписывайте быстро и ложитесь спать. Прямо здесь, на диване. Я скажу, чтобы вас не тревожили.

А в пустяковых протоколах говорилось, что я по поручению Эльвова организовала при Союзе писателей Татарии филиал редакционной террористической группы, завербовав туда следующих людей. Дальше шел список татарских писателей, начиная с тогдашнего председателя Союза Кави Наджми.

— Жалеете Наджми? А он вас не жалел...— загадочно бросает майор.

— Это дело его совести.

— Да что вы — евангельская христианка, что ли?

— Просто честный человек.

Майор снова не упускает случая блеснуть эрудицией и произносит краткую речь на тему марксистско-ленинского учения о морали. Честно то, что полезно для пролетариата и его государства.

— Для пролетарского государства не может быть полезно истребление первого поколения татарской советской творческой интеллигенции, к тому же партийной.

— Мы имеем точные данные, что эти люди — враги народа.

— Тогда зачем же вам в дополнение к этим точным данным еще и мои показания?

— Для документального оформления.

— Я не могу оформлять, что мне неизвестно.

— Не верите нам?

— Как же я могу вам верить, когда вы меня ни за что ни про что держите в тюрьме, да еще применяете незаконные методы следствия?

— Что же мы делаем незаконного?

— Уже много дней не даете мне спать, пить и есть, чтобы вынудить у меня лживые показания.

— Пожалуйста, обедайте, сейчас принесут. Подпишите только. Сами себя мучаете...

Лейтенант Бикчентаев, который теперь всегда приходит вместе с майором, видимо, проходит практику, стоит «на подхвате», повторяя концы фраз, как годовалый младенец, начинающий говорить.

— Сами виноваты,— говорит майор.

—...виноваты,— как эхо откликается лейтенант.

— Только задерживаете следствие...— Это майор.

—...следствие! — подтверждает лейтенант.

Однажды майор Ельшин составил протокол о моих отношениях с татарской интеллигенцией.

— Для чего вам, человеку, знающему французский и немецкий, потребовалось приняться за изучение татарского языка?

— Для литературно-переводческой работы.

— Но ведь это язык некультурный...

— Некультурный? А вы тоже такого мнения, лейтенант?

Индюшонок молчит, смущенно улыбается. После этой прелюдии мне предлагают подписать протокол, в котором сказано, что по заданию троцкистского центра я пыталась наладить беспринципный блок с буржуазно-националистическими элементами татарской интеллигенции. Я еще острю:

— Да, всю жизнь мечтала объединить мусульманский мир для торжества ислама.

Майор похохатывает, но есть и пить мне не дает и спать не отпускает.

Тогда мне казалось, страдания мои безмерны. Но через несколько месяцев я узнала, что мой конвейер был детской игрушкой сравнительно с тем, что практиковалось позднее, начиная с июня 1937 года. Мне не давали спать и есть, но я сидела, а не стояла на ногах сутками. Мне давали иногда воду из следовательского графина. Меня не били. Правда, однажды Веверс чуть не убил меня, но это произошло под влиянием кокаиновых паров, в состоянии невменяемом и страшно испугало самого Веверса. Произошло это, кажется, в пятую или шестую конвейерную ночь.

Я уже была в полубредовом состоянии. Чтобы оказать «давление» на психику, практиковалось усаживание арестованного очень далеко от следователя, иногда через всю комнату. В данном случае Веверс усадил меня у противоположной стены и стал орать свои вопросы через весь большой кабинет. Речь шла о том, с какого года я знаю профессора Корбута, примыкавшего в 1927 году к троцкистской оппозиции.

— Не помню, с какого года точно, но давно, еще до голосования его за линию оппозиции.

— Чтоо-о? — Распаленный кокаином и моим упорством, Веверс окончательно сатанеет.— Оппозиция? Вы именуете эту банду убийц и шпионов оппозицией? Ах вы...

Большое каменное пресс-папье с веверского стола со всего размаха летит в меня. Только увидев дыру в стене, на расстоянии сантиметра от моего виска, я осознала, какая опасность мне грозила. Веверс испугался до того, что подал мне сам стакан с водой. Руки его тряслись. Убивать следственных до смерти им еще не разрешалось, он немного увлекся. На седьмые сутки конвейера меня отвели этажом ниже к полковнику, фамилии которого не могу вспомнить. Здесь впервые мне было предложено стоять во время допроса. Я засыпала даже стоя. Тогда по обеим сторонам около меня было поставлено по конвоиру, которые все время расталкивали меня, приговаривая: «Спать нельзя!». В сознании вдруг всплыла аналогичная сцена из фильма «Дворец и крепость». Точно так допрашивали Каракозова. Так же мучили бессонницей. Потом все помутилось у меня в голове. Как сквозь густую пелену, я видела брезгливую мину полковника, заметила револьвер, лежавший на столе, очевидно для устрашения. Очень раздражали меня, помню, кружки на обоях. Такие же, как в кабинете Веверса. Они непрерывно плясали перед глазами. Совсем не помню, что я отвечала этому полковнику. Кажется, я больше молчала, только изредка повторяя: «Не подпишу!». Он то грозил, то

уговаривал, обещал свидание с мужем, с детьми. Потом все смешалось. Я упала. Глубокий обморок длился, по-видимому, так долго, что они вынуждены были остановить свою машину. Я очнулась в камере на своей койке. Открыв глаза, я увидела склоненное надо мной, залитое слезами милое лицо Лямы. Она вливала мне в рот по каплям апельсиновый сок, только что присланный в передаче Ире. Скоро послышались тревожные вопросы в стенку. Гарей и Абдуллин беспокоились.

— Пришла в себя? Отлично. Поцелуйте за нас.

Принесли ужин. Я съела две порции омерзительной похлебки, именуемой у нас в камере «суп-ротатуй». На закуску Ира торжественно выложила два квадратика шоколада из своей передачи. Я только успела подумать о том, как добры люди, как меня снова вызвали к следователю. Конвейер продолжался.

18. ОЧНЫЕ СТАВКИ

Второй тур конвейера продолжался только пять суток и проводился с ослабленным режимом. Часа на три ежедневно меня стали отпускать в камеру. Правда, это делалось всегда не раньше шести утра, так что, возвращаясь в камеру, я заставала койки уже подвешенными к стене, и полежать мне не удавалось. Но даже посидеть спокойно на табуретке, положив голову на Лямино плечо, съесть несколько кусков сахара (а в эти дни мне уступался весь камерный сахар, в количестве шести пиленых кусочков) — все это немного восстанавливало силы. Правда, дежурные надзиратели бдительно следили, чтобы я не закрывала глаза. «Спать днем нельзя»,— разъяснялось мне. В эти дни мы узнали от Гарея о смерти Орджоникидзе. Я так и не знаю, откуда он получал информацию, сидя в одиночке, но знаю, что уже в 1956 году после XX съезда партии, после реабилитации и восстановления в партии, я услышала на партсобрании в зачитывавшемся докладе Хрущева ту же историю смерти Орджоникидзе, которую узнала в тридцать седьмом в стенной телеграмме Гарея.

...Второй конвейер тоже не достиг цели. Я не подписала ни сельшинского варианта о беспринципном блоке с татарской националистической интеллигенцией, ни веверской стряпни о террористических актах, замышлявшихся якобы против секретаря обкома. Не хочу становиться на геройские или мученические котурны. Я далека от мысли объяснять свой отказ от подписывания лживых провокационных протоколов каким-либо своим мужеством. Я не осуждаю тех товарищей, которые под воздействием невыносимых мук подписали все, что от них требовали.

Мне просто повезло: мое следствие закончилось еще до начала широкого применения «особых методов». Правда, в смысле приговора мое упорство не принесло мне никаких выгод. Я получила те же 10 лет, что и те, кто поддался на провокацию и подписывал так называемые «списки завербованных». Но у меня осталось великое преимущество — чистая совесть, сознание, что по моей вине или по моему малодушию ни один человек не попал в сеть «Люцифера».

Итак, отказавшись от намерения получить мои «чистосердечные признания», руководители моего следствия поручили как-нибудь закончить все дело лейтенанту Бикчентаеву. Теперь меня вызывали на допрос только днем. После двух-трех сеансов пересливания из пустого в порожнее Бикчентаев с важным видом заявил мне, что так как я ни в чем не сознаюсь, то с завтрашнего дня они начнут «уличать» меня при помощи очных ставок. Это сообщение заинтересовало и взволновало, хотя вообще-то ко всем заявлениям «индюшонка» можно было относиться только смешливо. С такой опереточной важностью восседал он за столом с тремя телефонными аппаратами, так лоснилась и сияла его толстенькая мордочка, из которой глупость сочилась, как жир из баранины. Но очные ставки? Неужели Эльвов и вправду здесь? Это не исключено. Возможно, такое же преследствие, как у Гарея. Неужели он будет давать мне очные ставки? Что же он может утверждать? Можно еще понять, что подписывают ложь в отношении самих себя, но как можно говорить ее прямо в глаза предаваемому товарищу! Однако человек, которого я застала на другой день в кабинете Бикчентаева, был не Эльвов. Это был литсотрудник отдела культуры редакции, которым я заведовала. Володя Дьяконов? Что ему делать тут? Или он тоже арестован? Независимо от этих недоумений, я рада видеть Володю. Старые знакомые. Наши отцы до сих пор на «ты», они учились вместе в гимназические времена. Я способствовала приему Володи на работу в редакцию. Очень охотно, почти любовно учила журналистской работе этого парня, который был моложе меня лет на пять. Много раз он говорил, что любит меня, как сестру. Приятно видеть такое близкое лицо. И прежде чем Бикчентаев успевает отпустить приведшего меня конвоира, я протягиваю Володе обе руки.

— Володя! Как мои дети? Отвечайте скорее...

Бикчентаев поднимается со стула. Он вот-вот лопнет от охватившего его возмущения. Такое неслыханное нарушение режима! Обвиняемый, бросающийся в объятия уличающего его свидетеля! Ибо, как это ни странно, Володя приглашен сюда в качестве свидетеля моих «преступлений». Он пришел давать мне «очную ставку».

— Порядок очной ставки такой,— разъясняет Бикчентаев, немилосердно коверкая русские слова,— я задаю «вапрус». На него сначала отвечает «свидитил» Дьяконов, потом обвиняемая...

Мою фамилию он произносит с ударением на последнем слоге и неимоверно гортанным Г.

— Как, Володя, это вы дасте мне очную ставку? В чем же вы можете уличить меня? Или вы тоже арестованы и не выдержали нажима, подписали разную ерунду на себя и на меня?

Бикчентаев стучит по столу кулаком. Но это не страшно, а смешно. Кулачишко у него пухленький, с ямочками.

— Обвиняемая! Прекратите оказывать давление на свидетеля. А вы, Дьяконов, ведите себя как положено, а то прикажу вас тоже арестовать и отправить в тюрьму.

Ага! Значит, Володя не арестован? Что же означает этот фарс? Но Володино лицо вытесняет мысль о фарсе. Он изжелта-бледен, веки дергаются, синие губы трясутся. Вместо ответа на мой вопрос о детях, он лепечет:

— Я-я-я... Я болен, Женя. Я только что перенес энцефалит.

— Свидетель Дьяконов,— торжественно возглашает Бикчентаев,— вчера на допросе вы заявили, что в редакции газеты «Красная Татария» существовала подпольная контрреволюционная террористическая группа и обвиняемая входила в нее. Подтверждаете ли вы это сейчас, в присутствии обвиняемой?

Страшно смотреть, что делается с Володей. Нервный тик так искажает его правильные черты, что они кажутся уродливыми. Он почти нечленораздельно мычит.

— Это... Это... Я, собственно, говорил, что те люди, о которых вы спрашивали, занимали в редакции руководящие должности. А больше я ничего не знаю...

Бикчентаев грозно хмурит то место, где у других людей брови, и поворачивается ко мне:

— А вы подтверждаете это?

— Что же тут подтверждать? Он просто перечислил всех заведующих отделами редакции... О подпольщине и терроре говорите вы, а не свидетель. Он об этом и не заикается.

Бикчентаев зловеще улыбается и пишет протокол. Он записывает сначала свой вопрос, потом ответ Дьяконова в такой редакции: «Да, я подтверждаю, что в редакции «Красной Татарии» существовала подпольная контрреволюционная группа». Потом подсовывает листок Володе.

— На очной ставке каждый вопрос и ответ подписываются отдельно. Подписывайте!

Володя еле удерживает ручку в дрожащей руке и медлит.

— Володя,— мягко говорю я,— ведь это фальшивка. Вы ничего подобного не говорили. Подписав это, вы убиваете столько людей, ваших товарищей, которые так хорошо к вам относились.

Бараньи глазки Бикчентаева лезут на лоб.

— Как вы смеете оказывать давление на свидетеля! Я вас сейчас в нижний карцер отправлю! А вы, Дьяконов, ведь подписали все это вчера, когда были здесь один. А теперь отказываетесь! Я вас сейчас же прикажу арестовать за ложные показания.— И он притворно тянется к звонку, которым вызывают конвоиров.

И Володя, как кролик под взглядом удава, выводит подпись, напоминающую письмо паралитика и ничуть не похожую на тот бойкий росчерк, которым он подписывал свои статьи на темы новой морали. Потом еле слышно шепчет:

— Простите меня, Женя. У меня только что родилась дочь. Я не могу гибнуть.

— А о моих трех детях вы и не подумали, Володя? И о детях тех, кого вы тут написали?

Бикчентаев опять страшно орет и стучит, но я его не боюсь. Карикатурных толстяков нельзя ставить на такие

палаческие роли. Получается снижение плана. Я добавляю:

— Главное, Володя, вы не подумали о себе. Ведь если вы действительно знали, что существует такая группа и не сообщали о ней, куда следует, пока вас не вызвали, то есть с 34 до 37 года, то вы, выходит, ей содействовали. А это ведь уже уголовное дело!

Володя бледнеет и синеет еще больше. Теперь по его щекам катятся откровенные слезы. А окончательно взбешенный Бикчентаев на этот раз действительно звонит и приказывает пришедшему конвоиру увести меня в карцер.

Но увести меня не успевают, так как в комнату входит Царевский, шепотом что-то сообщает Бикчентаеву. Меня выводят из кабинета в коридор, а когда через пять минут меня приводят обратно, я вижу, что Володи уже нет, а на его месте...

Нет, это был действительно день сюрпризов! На его месте моя многолетняя подруга Наля Козлова. Ей я тоже в свое время помогла устроиться в редакции и тоже в моем отделе. В студенческие годы мы были всегда вместе. Шутливое прозвище вечно что-то сочинявшей Нальки было — Наташа Козлете. Сколько зачетов и экзаменов подготовлено вместе, сколько стихов вместе прочитано, сколько доверено друг другу «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»! И вот она тоже вслед за Володей Дьяконовым пришла сюда, чтобы помочь моим палачам. У меня перехватило горло. Неужели все демоны сговорились сделать мое тридцатилетнее сердце сразу столетним? Чтобы я только и могла повторять вслед за Герценом: «все рухнуло... свобода мира и личное счастье»... А может быть, Наля решила спасти меня и делает какой-то хитрый ход, пока еще не понятный мне? И я с надеждой ловлю ее взгляд. Но она отводит глаза в сторону.

Сейчас лейтенант Бикчентаев вполне доволен. Ему не приходится нервничать, как со слабовольным, слезливым Дьяконовым. Свидетельница, привыкшая к газетной работе, дает четкие формулировки, что Бикчентаеву остается только бодро и торопливо скрипеть пером. Вот она уже подтверждает своей подписью, что в редакции существовала подпольная террористическая группа и что я активно участвовала в ней. Она даже конкретизирует свои показания. Оказывается, если Кузнецов (секретарь редакции) играл главным образом организаторскую роль, то я в этой фантастической группе выполняла обязанности агитпропа. Коварно улыбаясь, Бикчентаев задает вопрос, который должен меня доконать.

— Считаете ли вы контрреволюционные связи обвиняемой случайными? Или она имела такие же и в студенческие годы?

И моя подружка Налька — милая, смешная, богемистая Наташа Козлете — отчеканивает как по-писаному:

— Нет, ее связи с троцкистским подпольем нельзя считать случайными. Еще в ранней юности она дружила с ныне репрессированными Михаилом Корбутом, Григорием Волошиным. Скорее всего их связывало политическое единомыслие.

Вдруг на столе Бикчентаева отчаянно трещат все три телефона сразу. Наш Юлий Цезарь прикладывает по трубке к каждому уху и, упиваясь собственной ролью в историческом процессе, слушает сразу двоих, предварительно крикнув третьему: «Подождите!»

Я пользуюсь моментом. Когда-то в студенческие годы мы обе с Налей Козловой были отличницами кафедры французского языка. И я вполголоса говорю ей по-французски:

— Благородную роль играешь! Как в кино или в романе Дюма! Ты что, рехнулась?

Не поднимая глаз, она сухо отвечает по-французски же:

— Если ты будешь меня задевать, я скажу еще и про Гришу Бердникова.

Гриша был членом партии с февраля 1917 года. Последнее время работал в Свердловске. Сейчас, видимо, был арестован, поскольку Козлова пугала меня им. Наверно, связь с ним казалась Нальке особенно страшной, потому что Гриша работал в «Известиях», когда их редактировал Бухарин. Я была с ним знакома ровно столько же, сколько все остальные в нашей редакции. Но Козлова понимала, что даже простое упоминание еще одного репрессированного имени будет отягощать мое положение. Меня захлестнуло раздражение.

— Попробуй,— прошипела я,— тогда я сейчас же меняю свою тактику со следователем. Подпишу все глупости, которые они сочиняют, а тебя объявлю активным участником группы. Скажу — я сама завербовала тебя...

В этот момент мой мудрый следователь, оторвавшись от телефонов, уловил звуки чужого языка.

— На каком языке вы оказываете давление на свидетеля?

— На французском.

Снова удар пухленького кулачка по столу, снова вопли о подземном карцере.

— Извините, лейтенант,— говорю я любезно,— я просто привела поговорку. Примерно, «век живи — век учись»... Я никак не думала, что вы не понимаете по-французски.

Свидетельница Козлова взглядывает на меня с испугом. Как можно так издеваться над тем, в чьих руках твоя судьба. Но я-то точно знаю, что ничем не рискую. Я так хорошо изучила умственные способности лейтенанта Бикчентаева, что уверена: он примет мои слова буквально. Так и есть. Примиренным голоском заявляет:

— Никто не говорит, что кто-то чего-то не понимает. Но официальный язык следствия — русский, и будьте добры придерживаться этого языка. Эту же поговорку вы могли сказать по-русски...

Хорошее настроение уже не оставляет лейтенанта до конца, и, закончив протоколы, он дает их еще раз подписать свидетельнице Козловой. Я вижу, как слегка разбрызгиваются чернила под такой знакомой с юных лет подписью. Бикчентаев аккуратно промакивает ее тяжелым прессом, потом элегантно вручает Нальке пропуск:

— Вы свободны, товарищ Козлова.

В дверях Налька вдруг мнется, лицо ее покрывается красными пятнами. Потом она протягивает мне свернутую газету:

— Возьми, сегодняшняя.

— Спасибо. Не надо. В тюрьме газет читать не разрешают. Книги тоже запрещены.

Снова трещит телефон. Бикчентаев не успевает обрушиться на меня. Он берет трубку и одновременно нажимает звонок, вызывающий конвоира. А Налька все медлит с уходом. Эта деталь (нельзя читать!), видимо, раскрыла ей что-то, чего она не додумывала.

— Значит, ты не знаешь никаких новостей? — быстро говорит она вдруг, пока Бикчентаев занят телефоном.— Орджоникидзе умер. И еще Ильф...

— Завидую им. Сами умерли. А мне ведь теперь, на основании твоих и Володиных ложных показаний, расстрел...

Глаза Нальки наливаются ужасом. Она пятится к выходу.

Да, только при «индюшонке» Бикчентаеве возможны такие вольности. Веверс или Царевский проморили бы в карцере неделю за одну попытку такого разговора. А этот только повизжал и уже без всякой элегантности предложил Козловой немедленно идти домой, «пока я не аннулировал пропуска»... Даже в карцер забыл меня отправить. Уж очень удачна была «очная ставка»!

Я возвращаюсь в камеру потрясенная и ничего не отвечаю на вопросы Лямы. Не отвечаю и на стук Гарея. Наступает ночь. Нет ничего страшнее тюремной бессонницы. А она пришла ко мне после «конвейера». Ровно дышат мои соседки, мерно поскрипывают в коридоре сапоги дежурного. Время от времени — грохот замков, шаги, шепот. Кого-то ведут на ночной допрос. Каждый звук отзывается в висках. Налька! Как мы с ней плавали наперегонки на даче в Васильеве! А как зайцами на симфонические концерты пробирались! Да, нам было по восемнадцати, и мы дружили. Светает. Через решетку, через деревянный щит в камеру пробирается солнце. Малюсенький блик. Он выглядит на грязно-серой стене, как крохотный золотой жучок, заползший в большую навозную кучу. Ведь уже апрель. Весна 1937 г.

19. РАССТАВАНЬЯ

Это утро началось, как обычно. Проверка. Оправка. Кипяток. Хлеб. Даже, пожалуй, лучше, чем обычно, потому что Ляма показала сегодня «класс», утащив у старшего надзирателя иголку. Иголки выдавались для пользования на пять минут не чаще раза в неделю. Выдавал их «старшой», который всегда имел при себе несколько штук, воткнутых в наружный карман гимнастерки. «Старшой» приходил каждое утро, проверяя свое поголовье, и бдительно осматривал нехитрое имущество камеры. Он выдвигал ящик тумбочки, приподнимал за углы соломенные подушки, даже заглядывал в парашу. Так и в этот день. И когда он заглядывал, наклонившись, в ящик тумбочки, Ляма и ухитрилась каким-то особенно пластичным и молниеносным жестом вы-

тянуть у него одну из торчащих иголок. Мы надергали ниток из моего махрового халата и начали потихоньку штопать чулки, как вдруг в самое неурочное время загремел замок нашей камеры: «С вещами...»

Меня! С вещами... Значит, совсем. Страшное волнение охватило всех нас.

— Это на волю. Домой,— выпалила Ира, наиболее склонная к иллюзиям.— К нашим зайдите. И пусть они в знак того, что вы были и что они все узнали обо мне, положат в передачу конфеты «Снежинка».

Побледневшая Ляма прикрикнула на Иру:

— Бросьте ерундить! Чего это — после очных ставок да вдруг домой! Не в карцер ли? Или в этап?

Все разъяснил стук Гарея, как всегда отлично информированного:

— Во дворе «черный ворон». Собирают этап из тех, у кого окончено следствие. Отвозят в тюрьму на улице Красина. Здесь нужны места для новых.

В этот день я впервые столкнулась с той разновидностью душевной муки, которую приносят тюремные расставания. Нет более горячей дружбы, чем та, что создается тюрьмой. И вот теперь разрываются эти кровные узы. Те же безжалостные руки, которые отобрали у меня детей, мужа, мать, отнимают милую сестричку Ляму и верного друга Гарея. Уходим друг от друга навсегда, бесследно. Как в смерть. А может быть, и действительно в смерть. Ведь у каждого из нас, кроме, может быть Лямы, большие шансы на «высшую меру».

— Косыночку на память, Женечка, родная!

Дрожащими руками Ляма сует мне китайский шелковый платочек. Я отдаю ей свое кашне. Бросаемся друг другу на шею с коротким рыданием. Косыночку соблазнительную, заграничную — у меня потом, уже в лагере, украли уголовницы. Ляму я больше никогда не встречала и о ее судьбе ничего не узнала. Только в памяти навсегда остались золотые волосы, добрые ловкие руки и глаза — «круглые да карие, горячие до гари». Волнение Гарея (он снова один, Абдуллина терзают на самом усовершенствованном конвейере) передается даже через толстенную стену. На ней вспыхивают полные дружбы и преданности слова, немного патетические, как всегда у Гарея.

— Прощай, родная! Мужества и гордости! Верю в нерасторжимость кровных тюремных уз. Помню до смерти. Она, правда, недалеко. А впрочем, кто знает... Вдруг — «оковы тяжкие падут, темницы рухнут...»

В коридоре идет бурная организационная работа. Формируется этап в старую тюрьму. Хлопают двери, грохочут и скрипят засовы, шепчутся надзиратели. На фоне этого движения удобно отстучать Гарею последние прощальные слова.

...Наша дверь... За мной! Мое имущество — узелок с бельем — галантно выносит конвоир. Мне вдруг неожиданно возвращают часы. Они не заводились с того памятного дня. Они все еще показывают 2 часа дня 15 февраля 1937 г. Дата моей гибели. Ведь все, что шло потом, это были посмертные блуждания в аду. А может, в чистилище? Может, Гарей прав и еще падут тяжкие оковы? Что было бы со всеми нами, если бы не обманчивый свет этой постоянной надежды?

20. НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Так вот это, значит, и есть «черный ворон»? Крытая, крашенная темно-синей краской машина для перевозки заключенных. Сколько раз я видела такие на улице, не останавливая на них внимания. Думала — колбаса, молоко...

Внутри машина разделена на крошечные, абсолютно темные клетки-кабинки. В каждую заталкивается человек. Дышать нечем. Вещи свалили в коридорчике между двумя рядами клеток. Вот и я замурована в такой собачий мир. Но теперь я уже опытная заключенная, ученица Гарея. И я сразу, не позволяя себе задумываться над ужасом положения, принимаюсь за налаживание связей. Пока сапоги конвойных еще топочут снаружи, стучу направо и налево. Кто? Кто? И слышу слева ответ: «Ефрем Медведев». Необыкновенная удача. Знакомый. Ремка Медведев, аспирант института марксизма. «Когда?» «20-го апреля». Совсем недавно. Теперь я узнаю, как там, в городе. Кто взят после меня. Оказывается, и стучать не надо. Можно просто шептать. Все слышно. А шум мотора заглушает эти звуки для конвоира, сидящего в коридорчике машины. И я слышу живой, настоящий Ремкин голос.

— Здорово, Женя. Аксенова видел на улице в начале апреля. Он вернулся из Москвы. Хлопотал о тебе, ничего не вышло. Ребята твои здоровы. Старшие горюют очень.

— Кто взят после меня?

— Спроси лучше, кто не взят...

И он перечисляет десятки фамилий из числа городского партактива, научных работников, инженеров. Через глухую стенку слышно, как кто-то охает по-татарски. Долго не отвечает на мои вопросы, но наконец, преодолев страх, называет свою фамилию. Не знаю его. Говорит, что он председатель райисполкома одного из сельских районов. Нас везут довольно долго. Мне очень душно и тяжко, но я отвлекаюсь от своих ощущений, прислушиваясь к голосу Ефрема Медведева. «Ягода-то тоже сидит,— говорит Рема,— сейчас Ежов. Тот самый, что был заворгом ЦК. Жутковатый, говорят, тип из него вытанцовывается».

«Черный ворон» останавливается. Нас вводят по одному. Каждого проглатывают ощерившиеся черной пастью ворота старинной тюрьмы, видавшей еще пугачевцев. Опять все, как на Черном озере. Анкета. Новое отобрание часов. По недосмотру надзирателей происходит «столкновение поездов» — запрещенная встреча заключенных. Я увидела обросшего черной щетиной Аксянцева, директора туберкулезного института. Поговорить не пришлось: испуганный своей ошибкой конвой буквально растащил нас в разные стороны. В каждом монастыре свой устав. Здесь отняли не только часы, но и пояс с резинками. Медсестра с ящичком лекарств, по совместительству обыскивающая заключенных женщин, жалостливо морщит веснушчатый носик:

— Какие у нас раньше были женщины и какие теперь! То были девки-воровки да уличные. А теперь все такие дамы пошли культурные, чего даже жалко смотреть. Нате вот вам бинтик, чулки подвязать, а то как без резинок-то? Не показывайте только никому, смотрите!

Воровато оглянувшись и установив, что мы одни в крохотной тюремной амбулатории, где происходил личный обыск, она торопливо осведомляется:

— Что вас заставило-то, а? Ну, против Советской власти что вас заставило? Ведь я знаю — вы Аксенова, предгорсовета жена. Чего же вам еще не хватало? И машина, и дача казенная, а одежда-то, поди, все из комиссионных? Да и вообще...

Кажется, ее представления о роскошной жизни исчерпаны. Я устало улыбаюсь.

— Недоразумение. Ошибка следователей.

— Тш-ш-ш...— она косится на дверь,— а что, может, правда, мой отец говорил, будто вы все идейно пошли за бедный народ, за колхозников, то есть, чтобы им облегчение?

К счастью, приход надзирательницы освобождает меня от необходимости отвечать. А вообще-то любопытны эти попытки найти хоть какое-то разумное основание происходящего. Я поднимаюсь с надзирательницей по выщербленной каменной лестнице на второй этаж. Здесь уже не подвал, но запах плесени, грязи, параши еще острее, чем на Черном озере.

Вони и грязи здесь больше, чем на Черном озере, но сразу чувствуется более слабый режим. Тюрьма долгое время существовала как уголовная, и еще не успела перестроиться применительно к потребностям. Разве на Черном озере, с его безмолвными надзирателями, был бы возможен подобный разговор при обыске? Из камер доносятся довольно громкие голоса. Надзиратель, принявший меня на втором этаже, не выглядит истуканом. Он рассматривает меня со смешанным выражением веселого любопытства и сочувствия.

— В шестую давай! Там вроде почище бабенки,— добродушно тыкает он.

Это на Черном озере тоже не допускалось. Впоследствии я установила совершенно точный закон: чем грязнее тюрьма, чем хуже кормят, чем болтливей и грубее конвоир и надзор,— тем меньше опасности для жизни. Чем чище, сытнее, чем вежливее конвоиры,— тем ближе смертельная опасность. Двери в камерах здесь не железные, а деревянные, с большими пыльными «глазками». Замки тоже висячие, но не слишком большого размера.

— Принимайте новенькую!— фамильярно провозглашает надзиратель и даже улыбается.

Дверь запирается. Я оглядываюсь. О-о-о! Здесь целое общество. Все устремляются ко мне с расспросами. Из одного угла раздается странный, почти торжествующий возглас: «Здорово! Да ведь это жена Аксенова!»

Худая, немного кособокая, совсем седая женщина с папи-

росой в зубах, почему-то явно довольна, что я в тюрьме. Она встает и протягивает мне руку.

— Дерковская. Член партии социалистов-революционеров. Знаю вашего супруга. Приходила к нему как просительница. Не думал он тогда, что через несколько месяцев его жена будет со мной в одной камере сидеть. Да... Откровенно говоря, я рада, что коммунисты наконец-то сидят. Может быть, практически освоят то, чего не могли понять теоретически. Однако устраивайтесь. Поговорим потом.

Устраиваться оказалось делом не простым. Камера переполнена. Рассчитанная на троих, она вмещала уже пятерых. Я шестая. Вдобавок к трем деревянным топчанам вдоль стен наскоро сколочены еще сплошные нары посередине. Пока соседки сдвигали свое тряпье, снова загремели двери и в камеру ввели... Иру Егереву. «Черный ворон» совершил второй рейс и привез из черноозерского подвала еще партию людей, чье следствие закончилось или приближалось к концу.

Появление Иры отвлекает общее внимание от меня. Ира еще хорошо одета. Ведущий ее следствие Царевский разрешал ей еженедельные передачи, не то из подспудного обожания изнеженной профессорской дочки, существа из незнакомого ему мира, не то в благодарность за то, что неискушенная в политике Ира быстро сдавалась на его замысловатые силлогизмы и подписывала всякую чушь. По ходу устройства на нарах и распаковывания вещей Ира показывает новым соседкам свои платья, рассказывает историю каждого из них. Над вонючей камерой плывут благоуханные слова: «Вот в этом я в прошлом году, в Сочи, всегда на теннис ходила. Потом стало узко. А сейчас опять впору. Похудела здесь».

Отзывчивей всех на Ирины воспоминания о Сочи и теннисе оказывается высокая, круглолицая, склонная к полноте молодая женщина, с лицом, напоминающим мопассановскую Пышку. Это Анечка. В камере ее зовут Аня-большая, чтобы отличить от Ани-маленькой, расположившейся у противоположной стены. Аня-большая — москвичка, сейчас работала в Казани, в управлении железной дороги. Ей двадцать восемь лет. Детей и мужа у нее нет, но есть некий Вова, из постели которого Аню вытащил месяц тому назад, на рассвете, следователь, производивший арест. Вова побледнел: «Что ты натворила?» «Абсолютно ничего»,— пожала плечами бесстрашная Пышка и, чмокнув на прощание дрожащего Вову, смело вышла со следователем. Везли ее сюда на легковой машине. «Я его спрашиваю: в чем вы меня обвиняете? В чем-нибудь антиморальном или в антисоветском?» Отвечает: «В антисоветском». «А-а-а,— говорю,— ну, тогда вам придется извиниться... Только хмыкает, змей полосатый! И в чем же дело, как вы думаете? Анекдоты! Два анекдота! Семь лет хотят дать за них. По три с половиной за каждый». И тут же выкладывает оба. Анин следователь составил два отличных протокола. Один на тему об оскорблении величества (Сталина), другой — о клевете на колхозный строй. Веселая Пышка возмутилась и крикнула в лицо следователю: «Ну и рассказала, ну и что? Я ведь не на собрании рассказала, а дома, за столом, в узком кругу. А во-вторых, не правда, что ли? Небось, вас вот, к примеру, в колхоз калачом не заманишь!» И подписала оба протокола. Теперь Аня-большая ждала суда. Семь лет были уже ей определенно обещаны. Аня-большая была первым встретившимся мне представителем мощного племени анекдотистов, так называемых болтунов, обладателей «легкой» статьи 58-10, выгодно отличающихся своей беспартийностью от нас, террористов, диверсантов, шпионов и т. д. В тюремном быту Аня-большая оказалась милейшим человеком, легким, уступчивым, склонным к немного циничному, но добродушному юмору. Когда подавленные горем соседки не хотели с ней болтать, она не сердилась. Тогда она пела. Ее излюбленным номером был «Банново-лимонный Сингапур» и некая заунывная «Беседка». Когда Аня, переходя со своего натурального сопрано на густейшее контральто, гудела «ты уж не верне-е-ешься», ее ближайшая соседка Лидия Георгиевна стонала, как от зубной боли.

Лидии Георгиевне Менцингер было уже пятьдесят семь лет. Она была арестована в третий раз. Немка-колонистка, в прошлом учительница немецкого языка, она была фанатично религиозной сектанткой, «адвентисткой седьмого дня». Я до сих пор отчетливо вижу ее огромные карие глаза, налитые конденсированным отчаянием. Глядя в эти глаза, я вспоминала рассказ Леонида Андреева о воскресшем Лазаре. В рассказе говорилось, как все сидели за столом и ликовали по поводу чуда воскресения, а Лазарь сидел среди этих веселых людей и смотрел на всех вот такими же глазами, как у Лидии Георгиевны. Потому что он уже познал, что такое Смерть. Я уже говорила в начале этих записок, что жадное любопытство к жизни во всех ее проявлениях, даже в уродстве, жестокости, глупости порой отвлекало меня от собственных страданий. Такое же чувство я наблюдала и у многих других моих спутников, шедших по крутому маршруту. Кроме того, у многих были еще и иллюзии. Все происходившее было слишком нелепо, чтобы длиться долго, думали многие. И это ожидание, что вот-вот разверется какое-то гигантское недоразумение, широко откроются двери и каждый побежит к своему очагу, поддерживало бодрость.

У Лидии Георгиевны не было ни любопытства, ни иллюзий. Она отлично знала, что надеяться не на что. Знала также, что ничего особенно любопытного для нее не произойдет. Ведь у нее все уже было. Я встречала потом массу религиозников самых различных толков. Все они обязательно агитировали за свою веру, вербовали неофитов. Лидия Георгиевна не делала этого. Она молчала сутками, сидя с ногами на своем топчане и глядя поверх наших голов своим взглядом андреевского Лазаря. Аня-маленькая была женотделкой. «Я никогда не была беспартийной,— говорила она, все время поправляя падавшую на лоб прядь своих подстриженных по-женотдельски прямых русых волос,— октябренком была, потом пионеркой, комсомолкой, потом коммунисткой».

И правда: вне партии, вне своеобразного стиля жизни, выработанного в партийной среде 20—30-х годов, невозможно было представить себе Аню-маленькую. Аня то и дело забывала, где она находится. То с увлечением начинала рассказывать, как ей удалось перестроить работу среди женщин на ткацкой фабрике, и планировала, что там надо еще предпринять, кого из работниц выдвинуть, то жалела, что не перешла на работу в пригородный райком, куда секретарь ее звал и где перспективы куда шире. А секретарь этот сидел в той же тюрьме, как раз под нами... Только после допросов Анечка возвращалась с посеревшими губами, ложилась лицом к стене и молчала до ночи. Ночью она подходила ко мне, ложилась рядом, горячо шептала: «Тш-ш-ш, Женя... Чтобы не слыхали беспартийные. Такая, понимаешь, разношерстная публика. Даже эсеры есть... Истолкуют еще по-своему. Но ты только послушай...» Ее обвиняли во «вредительстве в партийной работе» и в связях с врагом народа. Этот «враг» был секретарь одного из казанских городских райкомов партии и, кроме того, приходился Ане-маленькой мужем. Любимым красавцем мужем очень простенькой, даже не миловидной Ани.

— Я и сама-то всегда удивлялась, как это Ваня меня полюбил. Сколько за ним девчат бегало! Но вот уже семь лет живем, и все он любит меня, вижу, что любит. Он за душу меня любит, за партийное мое сердце. А следователь...

Аня захлебывается слезами. Следователь, оказывается, говорит ей, что ее брак сам по себе подозрителен. Красавец мужчина женат на замухрышке. Наверное, скорее всего это фиктивный брак, заключенный по заданию вредительского центра.

— А как же тогда Борька и Лидочка? От фиктивного, что ли?

Я глажу Аню-маленькую по худенькому, почти детскому плечику.

— Не слушай ты этого Ирода! Весь партактив знает, как тебя Ваня любит.

— Тш-ш-ш! Не ругай следователя. Нина может услышать. Беспартийная работница. Скажет — уж если коммунисты следователей ругают, так что же мне тогда?

Но Нина Еременко крепко спала по ночам, только изредка испуганно вскрикивая. Зато днем она очень нервировала остальных обитателей камеры. Поджав ноги калачиком, она мерно раскачивалась на нарах, повторяя все одну и ту же фразу: «Когда же конец-то?»

Никакие принципиальные споры, отвлекавшие нас от тяжелых мыслей, не интересовали Нину. Никакие курортные воспоминания Иры Егеревой не будили в ней ответных чувств. Черноморский пляж и теннис — все это было слишком далеко от разнорабочей фабрики «Спартак», нескладной девчонки с неотмывающимися руками и неистребимым запахом сырой кожи, который шел от Нины вопреки двухмесячной давности. Нине было двадцать лет, из которых пять она проработала на фабрике «Спартак». Погубили ее именины. Да, Лелька-рыжая позвала ее на именины, а она и пойди, дура такая! А пошла-то, вправду сказать, из-за Митьки

Бокова. Он уже столько раз подъезжал. Да не как-нибудь, а все про семейную жизнь заговаривал. Я, говорит, если что, своей жене работать не дам. Пусть домохозяйкой живет. Ну и пошла, чтобы лишний раз с ним повидаться. Еще брошку Лельке купила в ювелирном. Хорошую, позолоченную. А там, на именинах, ребята выпили. Ну, и кто-то будто на Сталина что-то сказал... Вот лопни глаза — не слыхала! А теперь двенадцатый пункт предъявляют. Недонесение. Ты, говорят, обязана была, как советская пролетарка, на другой день на изменников в НКВД заявить, а ты их покрыла.

И вот уже два месяца сидит Нинка, поджав ноги калачиком, и твердит: «Когда же конец-то?» И ничто ей не мило. Даже конфет у Иры не берет, когда та угощает из передачи. Когда Аня-большая уж очень надрывно поет про беседку, Нина начинает рыдать. Главное, она боится, что Митька Боков не дождется ее, на другой женится. И уплывет у Нины из рук синяя птица — счастливая судьба неработающей домохозяйки. Иногда мы пытаемся утешать Нину тем, что Митька Боков скорее всего сидит тоже. Ведь и он не донес на кого-то. Но тут лицо занудливой девчонки хорошеет и озаряется внутренним светом, словно далекий огонек сквозит сквозь пепел, и она начинает страстно доказывать, что Митьку Бокова не возьмут: без него в цеху ведь совсем невозможно. Спаси Бог! Пусть уж лучше он на Лельке женится, только бы цел был. Пусть уж одна Нинка пропадает. Так уж, видно, ей на роду написано. А Аня-маленькая, привыкшая работать именно с такими, как Нинка, пуще всего боится, как бы у Нины не возникло «нездоровое отношение к партии в целом». Поэтому свои горести после допросов Аня-маленькая поверяет только мне, как партиец партийному. Еще больше Аня опасается ушей Дерковской, эсерки.

— Понимаешь, Женя, ведь, по сути дела, она — настоящий классовый враг. Меньшевики и эсеры. Правда, по учебникам я их иначе представляла. Такая, в общем, славная и несчастная старуха. Но жалости нельзя поддаваться... И материала против партии нашей им нельзя давать.

Да, я тоже поддаюсь жалости, особенно когда речь заходит о Вовке, двадцатилетнем сыне Надежды Дерковской. Вова родился в 1915 году, в одиночке царской тюрьмы. Родители его, оба эсеры, сидели с небольшими перерывами с 1907 года. Февраль 1917 освободил семью, и двухлетний Вова увидел родину матери — Петроград. Но уже в 1921 году они снова были в ссылке. Отец Вовы умер на Соловках. Странствуя с матерью из ссылки в ссылку, Вова попал в Казань. Здесь он провел последний светлый промежуток своей жизни и здесь его застал 1937 год. Бог знает в который раз — уж не меньше, чем в десятый — была арестована Надежда, мать Вовы. Но на этот раз вместе с ней был арестован и 22-летний Вовка, только что ставший, к великой радости матери, студентом пединститута.

— Вовка виноват только в том, что родился в царской тюрьме, а вырос в ссылке,— говорит Дерковская,— он ничуть не эсер. Аполитичен. Прекрасный математик. Ездил он за мной только потому, что очень меня любит. Нас ведь и всего-то двое на свете...

С необычайной яркостью представляю себе на месте Вовки подросшего Алешу. Еще можно как-то продолжать жить, внутренне сопротивляясь, когда лично тебя подхватила и закрутила некая злая сила, которая хочет отнять у тебя здоровье, разум, превратить тебя в труп или в бессловесную рабочую скотину. Но когда все это проделывают с твоим ребенком, с тем, кого ты растила и сберегала... И я жалею Дерковскую едкой щемящей жалостью, хотя она действительно первая живая эсерка, которую я увидела, хоть она и резко высказывает мне в глаза свои мысли.

— Аксенов, муж ваш, мне понравился, как никто из коммунистов, облеченных властью,— рассказывает она, прикуривая одну папиросу от другой,— я приходила к нему, когда меня уволили с работы. По-хорошему, не по-палачески говорил он со мной. Лично мне вас жалко. Но вообще-то, не скрою, рада, что коммунисты наконец тоже почувствовали на себе многое, о чем мы им давно говорили...

Мне любопытно дознаться, что же противопоставляют нашей программе современные эсеры. После нескольких бесед становится ясно, что никакой позитивной программы нет. Все, что говорит Дерковская, носит только негативный характер по отношению к нашему строю. Их между собой больше всего связывают старые связи, укрепившиеся в бесконечных ссылках и тюрьмах. В дальнейшем, уже в лагере, я имела много случаев убедиться, как сильны эти связи, принявшие почти кастовый характер. Однажды у Дерковской кончились папиросы. Привыкшая дымить беспрерывно, она жестоко страдала. Как раз в это время мне снова принесли передачу, в которую мама снова положила две пачки папирос.

— Вот и ваше спасение пришло,— весело сказала я, обнаружив эти пачки.

Но вдруг я заметила, что она, покраснев, отворачивается, говорит «спасибо», но папирос не берет.

— Минуточку. Сейчас.

Подсаживается к стенке и начинает стучать. Рядом сидит Мухина, секретарь их подпольного (настоящего!) областного комитета. Дерковская стучит уверенно. Она не знает, что я свободно прочитываю ее стук. «Одна коммунистка предлагает папирос. Брать ли?» В ответном стуке Мухина осведомилась, была ли эта коммунистка в оппозиции. После вопроса Дерковской и моего ответа: «Нет, не была». Мухина категорически выстукивает: «Не брать!»

Папиросы остаются на столе. Ночью я слышу тяжкие вздохи Дерковской. Ей, тонкой, как сухое деревце, легче было бы остаться без хлеба. А я лежу с открытыми глазами на средних нарах, и в голову мне приходят самые еретические мысли о том, как условна грань между высокой принципиальностью и узколобой нетерпимостью и еще о том, как относительны все человеческие системы взглядов и как, наоборот, абсолютны те страшные муки, на которые люди обрекают друг друга.

21. КРУГЛЫЕ СИРОТЫ

Тюрьма, в которой я сейчас находилась, как уже говорилось, впервые за двадцать лет после Октября стала местом заключения политических. До 1937 года они вполне умещались в подвале Черного озера. Зато теперь все три казанские тюрьмы были битком набиты «врагами народа». Однако традиции, сложившиеся в бывшей уголовной тюрьме,— привычка к грязи, грубости и некоторая свобода режима — еще продолжали существовать по инерции. Стучать здесь можно было почти беспрепятственно, так как тонкий звук перестукивания тонул в общем гуле этого перенаселенного знойного, вонючего ада. (На Черном озере гулко отдавался даже тоненький звучок гареевской булавочки.) Замечания по этому поводу делались дежурными как-то вяло и не всерьез. Благодаря вольности мы скоро установили связь чуть ли не со всей тюрьмой. Стекла в ветхом окне были выбиты, а деревянный щит имел несколько иную форму, чем в подвале. Он резко расширялся кверху, пропуская в камеру больше света и являясь в то же время звукоуловителем. Если подойти к окну и громко сказать что-нибудь прямо в глубь щита, то в нижней камере можно было все слышать. Однако разговаривать так громко все же опасно. И вот был изобретен так называемый «оперный» метод общения. Инициатором его явился сидящий в камере, расположенной под нами, секретарь пригородного райкома партии. Фамилии не помню, звали его Сашей. Однажды на исходе знойного мучительного дня, когда надзиратели были отвлечены раздачей «баланды», мы услышали неплохой баритон, исполняющий арию Тореадора по такому неожиданному либретто:

Сколько вас там, женщины-друзья?
Сколько вас там, спойте вы нам!
Спойте
Фамилии свои подряд,
Здесь все
Вас знать хотят,
Да, знать хотя-а-ат,
Да, знать хотят, хотят!

Мы быстро поняли, что от нас требуется. На самые различные мотивы были пропеты наши, а потом и их фамилии. Установилась тесная вокальная связь, дававшая возможность своевременно узнавать все новости. А их было много. Ежедневно мы слышали имена новых арестованных, узнавали, какие обвинения им предъявлены, как усиливаются «особые методы» при допросах. Нам удавалось даже наладить обмен записками через уборную. Писали на развернутых бумажках от папирос, на самых тоненьких и маленьких клочках, все тем же огрызком карандаша, который Ляма украла у следователя и на прощание подарила мне. Саша, секретарь пригородного райкома, вначале был полон «титанического самоуважения». Все происходящее казалось ему маленьким кратковременным недоразумением. В вокальных беседах с Аней-маленькой он даже продолжал приглашать ее после «выхода отсюда» идти на работу в «мой район». С вельможными бархатными интонациями перечис-

лял преимущества этого района сравнительно с тем, где работала до ареста Аня-маленькая. Даже сидя рядом на нарах с двумя беспартийными инженерами и вынося по очереди с ними парашу, он не мог отделаться от покровительственного тона в отношении этих людей. Я не хочу сказать, что Саша был глуп. Хочу только подчеркнуть силу инерции и гипнотическую власть представлений, полученных в начале жизни. Отрезвление, как у тысяч таких Саш, началось после применения на допросах «активных методов». Однажды один из беспартийных инженеров пропел нам на мотив князя Игоря, что Сашу привели после допроса с рассеченной губой, которая распухла и кровоточит. Нет ли у нас чего-нибудь смягчающего, вазелина, например? Потом, папирос бы ему... Есть папиросы, но как передать? Через здешнюю уборную нельзя. Это настоящая клоака, и как возьмешь в рот хоть что-нибудь, побывавшее в ней? Возникла мысль опустить папиросы на ниточке через окно... Из моего уже совсем облысевшего махрового халата были опять надерганы нитки. Папиросы привязали, как червяка на удочку, и все сооружение было спущено через отверстие в нижней части деревянного щита. «Нижние» удачно сняли при помощи деревянной ложки две папиросы. Но третья застряла между окнами двух этажей, и, выйдя на прогулку, мы увидели, как она ярко белеет на солнце. Вернувшись в камеру, мы спели на мотив популярной студенческой песни:

Саша, Саша, над твоим окошком
папироса белая висит.
Ты ее достань попробуй ложкой,
А то всем нам здорово влетит.

Раздавшийся в ответ раскатистый баритон звучал отлично:

Да, да, я слышал,
Ах, все теперь я понял,
Ее достать решился
Сегодня вечерком...

В такие минуты мы чувствовали себя расшалившимися школьниками. Именно в один из таких моментов, когда мы вопреки всему весело смеялись, мне и суждено было принять новый удар. Было уже почти темно, когда Саша потребовал меня к окну: «Ну, как там, как там наша папироска?» — шутливо пропела я. Но в ответ услышала не спетые, а сказанные слова: «Женя, соберись с силами. У тебя новое горе. Твой муж здесь. Арестован несколько дней тому назад...»

Я опустилась на нары... И сейчас не могу спокойно писать об этой минуте. С момента ареста я категорически запрещала себе думать о детях. Мысль о них лишала меня мужества. Особенно страшными были конкретные мысли о мелочах их жизни. Васька любил засыпать у меня на руках и всегда говорил при этом: «Мамуля, ножки закутай красным платочком...» Как он сейчас смотрит на этот красный платочек, ненужным комком валяющийся на диване? Алеша и Майя наперебой жаловались мне на Ваську и дразнили его: «Васенька-поросенка! Любимчик! Ябеда!» Иногда Васька звонил мне на работу и спрашивал: «Ето университут? Позовите мамулю...» Как точно об этом у Веры Инбер:

Смертельно ранящая — только тронь —
Воспоминаний взрывчатая зона...

До этого дня, когда эти смертельно ранящие воспоминания подкрадывались ко мне, я оттоняла их короткой формулой: «Отец с ними!» И вот... А я наивно думала, что эта чаша минует наш дом. Ведь по тюремному телеграфу я узнала, что он снят с поста предгорисполкома, но не исключен из партии и даже назначен на новую работу — начальником строительства оперного театра. Это казалось мне признаком того, что с ним будет все хорошо. Ведь других вот не понижали в должности, не снимали с работы, а просто брали сразу в тюрьму. Нелепая была затея — устанавливать какие-то закономерности в действиях безумцев. Наваливалась ночь, душная, непроглядная, провонявшая парашей и испарениями сгрудившихся в кучу давно не мытых людей, пронизанная стонами и вскриками спящих, полная до краев отчаянием. Напрасно я стараюсь переключить мысли на «мировой масштаб». Нет, сегодня мне не до судеб мира. Мои дети! Круглые сироты. Беспомощные, маленькие, доверчивые, воспитанные на мысли о доброте людей. Помню, как-то раз Васька спросил: «Мамуля, а какой самый кичный зверь?» Дура я, дура, почему я ему не ответила, что самый «кичный» — человек, что именно его надо особенно опасаться!

Я больше не сопротивляюсь отчаянию, и оно вгрызается в меня. Особенно терзает воспоминание о пустяковом эпизоде, происшедшем незадолго до моего ареста. Малыш забрался в мою комнату, стащил со столика флакон хороших духов и разбил его. Я застала его собирающим черепки и источающим нестерпимое парфюмерное благоухание. Он смущенно взглянул на меня и сказал с наигранным смешком: «Я просто хлопнул дверью, духи упали сами». «Не ври, противный мальчишка!» — крикнула я и сильно шлепнула его. Он заплакал.

Сейчас этот эпизод жег меня адской мукой. Казалось, нет на моей совести более черного преступления, чем этот шлепок. Маленький мой, бедный, совсем одинокий в этом страшном мире. И чем он вспомнит мать? Тем, что она ударила его за какие-то идиотские духи. Как я могла сделать это? И главное — теперь уже ничем, ничем не искупить... Боль этой ночи была так остра, что расплескалась на много лет вперед и дошла до сегодняшнего дня, когда я, спустя больше чем двадцать лет, пишу об этом. Но я должна писать. Как у Инбер: «Без жалости к себе, без снисхожденья иду по этим минным заграждениям». Конечно, мне никогда не сказать так точно и афористично, как В. Инбер. Но думаю, что нам было страшнее в наши тюремные ночи, чем им в блокадной ленинградской тьме. В их страданиях был смысл. Они чувствовали себя борцами с фашизмом. А мы, терзаемые под прикрытием привычных слов, были лишены даже этого утешения. Зло с большой буквы, почти мистическое в своей необъяснимости, кривило передо мной свою морду. Не то сон, не то явь. Какие-то чудовища с картин Гойи наползают на меня. Сажусь на нары и оглядываюсь. Все спят. Только место Лидии Георгиевны пусто. Она стоит около меня. Ее маниакальные глаза устремлены на меня с простой человеческой теплотой. Она гладит меня по голове и несколько раз повторяет по-немецки слова библейского многострадального Иова: «То, чего я боялся, случилось со мной, то, чего я ужасался, пришло ко мне». Это было толчком. Всю ночь я старалась заплакать и не могла. Сухое горе выжигало глаза и сердце. Сейчас я упала на руки этой чужой женщине из неизвестного мне мира и разрыдалась. Она гладила меня по волосам и повторяла по-немецки: «Бог за сирот. Бог за сирот».

22. ТУХАЧЕВСКИЙ И ДРУГИЕ

Мы уже давно заметили, что ранним утром в очень ясную погоду сквозь разбитые стекла нашего окна можно слышать обрывки доносящихся с улицы звуков радио. Репродуктор был, видимо, где-то поблизости, да и деревянные щиты играли роль звукоуловителей. В это летнее утро мы явственно услышали повторяемые с большой экспрессией слова «Красная Армия», «Вооруженные силы» в сочетании со словами «враги народа».

— Что-то опять стряслось,— буркнула, протирая глаза, Аня-большая.— Нет, зря я раньше не интересовалась политикой. Довольно забавная штука, оказывается. Каждый день новые фортеля!

— Если неблагополучно в армии — это значит, что расшатаны самые глубокие основы нашего государственного строя,— взволнованно заявила Дерковская.

— Думаете, к Учредилке, что ли, вернемся? — запальчиво бросила ей Аня-маленькая, а сама потихоньку сжала мне пальцы и тоскливо прошептала: — Неужели и в армии враги народа?

Все мы замерли у окна. Но ветер доносит только жалкие обрывки слов. Вот как будто «на страже», а вот, похоже, что сказали «изменников». И потом, точно назло, совсем ясно два слова: «мы передавали». Потом треск и маршевая музыка. Что случилось? Стучим направо и налево. Все в смятении, никто ничего не знает. Только к вечеру получили более точные сведения. Произошло это при таких обстоятельствах. В самый разгар дневной жары, когда все мы, изнемогая от духоты и грязи, в одних трусах и лифчиках валялись на нарах, открылась дверь камеры и раздался добродушный басок дежурного по прозвищу Красавчик:

— Ну, девки, потеснись! Принимай новенькую!

Мы зашумели. Это немыслимо. И так нас семеро в трехместной камере. Куда же восьмого? Дерковская стала грозить голодовкой, но Красавчик, не искушенный в истории революционного движения, еще добродушнее хмыкнул:

— В тесноте, да не в обиде...

И, легонько подтолкнув новенькую в спину, запер за ней дверь камеры наружным замком. Она так и осталась, точно

вписанная в рамку двери. Прошло несколько минут, пока я опознала за гримасой ужаса, исказившей эти черты, знакомое лицо Зины Абрамовой, Зинаиды Михайловны, жены председателя Совнаркома Татарии Кияма Абрамова. Значит, берут уже и таких, как Абрамов? Член ЦК партии, член Президиума ЦИК СССР.

— Зина!

Нет, совсем невозможно узнать в этой, до нутра потрясенной женщине вчерашнюю «совнаркомшу» с ее сановитой осанкой. Она больше похожа сейчас на ту провинциальную татарскую девчонку, торговавшую папиросами в сельской лавке, девчонку, на которой лет за двадцать до этого женился Киям Абрамов. Выражение ужаса смыло все детали показного грима. Обнажились и классовые (простая крестьянка), и национальные черты. Татарский акцент, с которым Зина яростно боролась, проступил с особой силой в первых же сказанных ею словах.

— Нет, нет, меня сюда только на минуточку!

В ответ раздалась полная яда реплика Ани-большой:

— Ах, на минуточку? Ну, тогда я двигаться не буду на нарах. Постойте там пока.

Сарказм не дошел.

— Да, да, я постою, ничего.

Я никогда особенно не симпатизировала вельможной Зинаиде Михайловне. Она была куда хуже своего мужа, хоть и любившего выпить, хоть и обросшего немного бюрократическим жирком, но все же оставшегося добрым человеком, не забывшим своего пролетарского прошлого. Зина же, превратившаяся из Биби-Зямал в Зинаиду Михайловну, резко порвала все нити, связывавшие ее с татарской деревней. Туалеты, приемы, курорты заполнили все ее время. Улыбки были дозированы в строгом соответствии с табелем о рангах. Мне, правда, перепадало больше любезности, чем полагалось бы по скромному чину жены предгорисполкома. Объяснялось это пристрастием Зины к печатному слову. Время от времени она любила выступить со статьей то в газете, то в журнале «Работница». Тогда-то и требовалась моя помощь. Сейчас, однако, все это было не важно. Потрясенную, почти потерявшую от ужаса сознание женщину, стоявшую в дверях камеры, надо было приласкать и успокоить, насколько это было возможно. Я отлично помнила, как поддержала меня в мои первые тюремные дни Лямина доброта. И я подошла к Зине, обняла и поцеловала: «Успокойся, Зина. Пойди ляг пока на мое место. А потом подумаем, куда тебя положить...» К моему изумлению, Зина восприняла мой поцелуй, как укус ядовитой змеи. Дико закричав, она отпрыгнула от двери, чуть не свернув парашу. У меня мелькнула было догадка об остром психозе, но последующие слова Зины все разъяснили: «В двери глазок. Часовой увидит... Подумает — старые друзья. А ты ведь, про тебя в газетах писали».

Эти слова сразу вооружили против Зины всю камеру.

— Вот моральный уровень членов вашей партии! — патетически воскликнула Дерковская.

— А вы верите нынешним газетам? — прищурившись, осведомилась Ира.— Там вон и про меня писали, что я «правая», а я беспартийная и до тюрьмы даже не знала, что такое правый уклон.

— Думаю, что для мадам будет отведен лучший диван в кабинете следователя, так что мы уж на нарах тесниться не будем...— Аня-большая демонстративно повернулась к стене.

Часа три Зина простояла, как распятая, в амбразуре двери. Никто не предлагал ей места на нарах, да она и сама, поднимаясь на цыпочки, брезгливо озиралась кругом, боясь прикоснуться к чему-нибудь. Ее белоснежная воздушная блузка казалась на фоне камеры нежной чайкой, непонятно зачем приземлившейся на помойной яме. Потом за Зиной пришли. По ее лицу молнией сверкнул восторг. Ведь ей так и говорили: «Мы вынуждены вас задержать на пару часов». Она даже улыбнулась нам на прощанье.

— Полная кретинка! — резюмировала Аня-большая.— Ведь и впрямь вообразила, что ее на волю повели! Куда же мы все-таки ее положим? На нарах даже воробья не сунешь. А тут такая дебелая сорокалетняя тетя...

Прошло несколько часов. Возвращаясь с вечерней оправки, мы услышали стоны, доносящиеся из нашей камеры. Зина Абрамова лежала на полу, у самой параши. Белая кофточка, смятая и изодранная, была залита кровью и походила теперь на раненую чайку. На обнажившемся плече синел огромный кровоподтек. Мы застыли в ужасе. Началось! Это был первый случай (по крайней мере такой наглядный для нас) избиения женщины на допросе. Зина была почти без сознания, на вопросы не отвечала. Поднять в такой тесноте ее оплывшее тело на нары нам не удалось. Приложив к ее лбу мокрое полотенце, мы в абсолютном молчании улеглись спать.

— Женечка! — донеслось вдруг из Зининого угла.

Сейчас это звучало уже совсем по-татарски: «Жинишка!»

— Женечка, милочка! Не спи, страшно! Скажи, стрелять нас будут, да?

До сих пор не могу простить себе той мелочной мстительности, с какой я ответила:

— А ты не боишься со мной разговаривать? Обо мне ведь много кой-чего писали в газетах!

Сказала — и тут же почувствовала стыд за сказанное. Такой детской обидой задрожали ее пухлые губы, разбитые бесстыдной рукой.

— Иди ложись на мое место, Зиночка. А я посижу с тобой. Успокойся. Продумай все происходящее. Наша судьба будет зависеть от общего хода событий. Ты утром была еще на воле. Скажи, о чем передавало радио? Что случилось в Красной Армии?

— Ой, Женечка, милочка, страшно! Ой, джаным, нельзя ведь это здесь говорить-та... Ну скажу, не уходи... Тебе только... Тухачевский... Оказался...

— А еще кто?

Но на нее уже снова нашел приступ опустошающего страха. Не отвечая на мой вопрос, она судорожно теребит мои пальцы, повторяя:

— Будут расстреливать? Будут, да?

Аня-большая проснулась и садится на нарах. Она вытаскивает из-под соломенной подушки футляр от очков Лидии Георгиевны, блестящий и глянцевитый. Он заменяет Ане отобранное зеркальце. Это свое первое при каждом пробуждении движение Аня повторяет и сейчас. Она вытаращивает глаза и протирает их уголки, оскаливает зубы и рассматривает их, поправляет безнадежно размочалившийся перманент.

— Хорошо! — говорит она, зевая.— Теперь смена нашей Нинке пришла. Надо их срепетировать на дуэт. Нинка — контральто: «Когда же конец-то?»,— а новая дама — сопрано: «Женечка, милая, стрелять нас будут?» А потом вместе: «Ах мы зануды, ах мы зануды!»

Мне по-настоящему жалко Зину. Кроме того, меня почти физически тошнит от негодования при мысли о том, что некий бандит типа Царевского-Веверса только что бил кулачищем по лицу эту сорокалетнюю женщину, мать двоих детей. Но еще сильнее жалости — желание узнать, что случилось сегодня в стране, в армии, в нашей безумной тюремной жизни. И я с холодным расчетом отвечаю на Зинины стоны:

— Чтобы ответить на твой вопрос, надо знать обстановку в стране. Скажи мне, кто еще взят вместе с Тухачевским и за что. Тогда я пойму масштаб событий. Тогда будет яснее, уцелеем ли мы лично или нас убьют.

— Ой, Женечка, милочка! Как говорить-та! Дежурный слушает... Скажет — информацию дает заключенным. Хуже нам тогда будет.

Зина встает с моего места и, кряхтя, снова укладывается на голый пол, у самой параши.

— Спи, Женя! Охота тебе с этой тлей возиться! Завтра мужики все узнают и в окно нам пропоют,— ворчит Аня-большая.

Но не успеваю я закрыть глаза, как Зина снова приподнимается и садится на полу. Она страшна. Распухшая, потерявшая приметы возраста и общественного положения, даже приметы пола. Просто стонущий кусок окровавленной плоти.

— Страшно мне, Женечка, милая. Ты ведь ученая, высшее образование имеешь (у нее получается «бысшее образование»). Скажи только: стрелять нас будут?

— Послушайте, гражданка,— негодующе вмешивается вдруг Дерковская,— чего же вы лезли в политическую жизнь, если вами так владеет страх за вашу драгоценную жизнь? И почему вы обращаетесь за моральной поддержкой к тому, кому не доверяете? Ведь вы оскорбили Женю, своего товарища по партии, вы оттолкнули ее, когда она подошла к вам с лаской. Вы не хотите ответить на вопрос о том, что происходит на воле. А ведь она сидит уже пятый месяц, и ей важно знать, что делается за тюремной стеной...

Зина отмахивается от нее, как от жужжащего комара.

— Молчи, бабушка! Ты за что сидишь-то? За веру, что ли? Богомолка, видать...

Дерковская пренебрежительно улыбается:

— Новую внучку дарует судьба. Моя фамилия Дерковская. Член обкома партии социалистов-революционеров.

— Член обкома? Врешь ты, бабушка. Я обком весь по пальцам знаю. Да и не похожа ты на старую большевичку. Язык у тебя вроде не нашенский.

Да, с Зиной надо, конечно, на другом языке. Я присаживаюсь на корточки возле того места, где рядом с вонючей парашей лежит бывшая «первая дама Татарстана» и, с напряжением вспоминая татарские слова, выбор которых у меня крайне ограничен, все же слепляю фразу: «Успокойся. Засни. Не бойся меня. Это все ведь неправда, что про меня там писали. Сейчас вот и про тебя так напишут. Завтра я тебе много расскажу, и ты мне все расскажешь». Я глажу ее по волосам. Потом называю имена ее детей. Ремик... Алечка... Надо беречь себя ради них. Да, это был правильный подход. Зина вытирает мокрым полотенцем свое распухшее лицо и вдруг быстрым страстным шепотом рассказывает мне по-татарски обо всем. От яростного желания узнать все мои скудные сведения в татарском языке как-то волшебно расширяются сами по себе. Я понимаю почти все. Да, теперь-то Зина и сама поняла, что все это была ложь про меня. Ведь вот и про нее выдумали же, что она буржуазная националистка, что Каюм — турецкий шпион. А сегодня с утра по радио... Никто ничего понять не может. Тухачевский, Гамарник, Уборевич, Якир и еще многие с ними... Все начальники военных округов. Как понять-та? И у нас в Казани все взяты. И председатель ТатЦИКа, и первый секретарь горкома, и почти все члены бюро обкома. Большего Зина рассказать не может. И без того она заметила немало для своего кругозора. Она замолкает, оглядывается вокруг себя и вдруг со всей беспощадностью осознает свое положение, видит крупным планом и парашу, и тараканов на полу, и свою изорванную одежду.

— Эх, Женечка, милочка! Знала бы ты, на каких кроватях я лежала!

Перед ней, видимо, проносятся видения царственных альковов из дорогих номеров гостиницы «Москва» и правительственных санаториев. Спи, бедная Зина! Ты так же мало заслужила те пышные ложа, как и этот тюремный пол с тараканами и парашей. Быть бы тебе веселой, круглолицей Биби-Зямал из деревни под Буинском. Траву бы косить, печь хлеб. Так нет же, понадобилось кому-то сделать из тебя сначала губернскую помпадуршу, а теперь бросить сюда. И всех-то нас история запишет под общей рубрикой «и др.». Ну, скажем, «Бухарин, Рыков» или «Тухачевский, Гамарник и др.». Смысл? Дорого дала бы я тогда, чтобы понять смысл всего происходящего.

23. В МОСКВУ

Тюрьма гудела. Казалось, толстые стены рухнут под напором неслыханных новостей, передаваемых по стенному телеграфу. «Сидит весь состав правительства Татарии». «При допросах теперь разрешены физические пытки». «В Иркутске тоже сидит все руководство». Иркутском казанцы интересовались особенно живо, потому что наш бывший секретарь обкома Разумов был с 1933 года секретарем Восточно-Сибирского крайкома партии и увез с собой целый хвост казанцев. Звал он много раз и нас с Аксеновым и был очень обижен нашим отказом. Когда я встретила его как-то в Москве, в период моих предарестных мытарств, он торжествующим тоном говорил: «Ну что, убедились, каково жить без своего секретаря? Были бы у меня — разве я допустил бы, чтобы с вами так разделались?»

За все два месяца пребывания в этой старой тюрьме меня ни разу не вызвали на допрос. Тем более я разволновалась, когда на другой день после прихода к нам Зины мне велели приготовиться ехать на Черное озеро на допрос. Кругом только и говорили о кампании избиений и пыток. Неужели и эта чаша не минует меня? Дерковская, точно прочтя мои мысли, категорически заявила:

— Абсолютно нечего бояться. Во-первых, сейчас два часа дня и светит солнце. А для всех этих дел у них существует ночь. Во-вторых, ваше дело закончено. Скорее всего вас и вызывают только затем, чтобы объявить об окончании следствия.

Она была права. Меня вызвали, чтобы я подписала протокол об окончании следствия, а также о том, что злодеяния мои квалифицированы по статье 58, пункты 8 и 11. Дело мое передается на рассмотрение Военной коллегии Верховного суда. Объявил мне об этом тот же Бикчентаев. Он был в прекрасном настроении. Солнце отражалось в графине с водой и в эмалированных кукольных глазах «индюшонка». Он старательно писал, оформляя бумаги и давая их мне подписывать. Время от времени он взглядывал на меня весело и вопросительно, как бы требуя одобрения своей неутомимой деятельности. Казалось, я должна была восхищаться тем, как здорово все спорилось в его ловких руках.

— Итак,— благодушно заявил он наконец,— дело ваше будет слушаться Военной коллегией Верховного суда СССР и, значит, в ближайшие дни вы будете отправлены в Москву.— Он снова выжидательно посмотрел на меня, точно удивляясь, почему я не рада такому известию. И как бы желая все же добиться моего отклика, добавил: — На меня вам обижаться нечего. Я вел дело объективно. Даже прошел мимо вашей связи с японским шпионом Разумовым. А ведь и об этом можно было неплохой протокол составить.

— С кем? С японским шпионом? Вы имеете в виду секретаря Восточно-Сибирского крайкома партии? Члена партии с 1912 года и члена ЦК?

— Да, шпиону Разумову удалось, обманув бдительность партии, пробраться на руководящие посты. Да, до революции он действительно состоял в партии. По заданию царской разведки...

Сколько раз Царевский и Вевере грозили мне составить протокол о моих попытках «дискредитировать руководство обкома в лице его бывшего секретаря тов. Разумова»! Напрасно я уверяла их, что мы с Разумовым были друзьями и то, что они именуют дискредитацией руководства, было всего только приятельской пикировкой. Они продолжали твердить свое, хотя протокола так и не составили. Он им был не особенно нужен. Материала для передачи дела в Военную коллегию, с их точки зрения, и так хватало. А теперь... Итак, секретари обкомов из лиц, охраняемых и являющихся якобы объектом террористических заговоров, на наших глазах превращались в субъектов, руководящих такими заговорами. До сих пор мы знали, что в нашей тюрьме сидит 16-летний школьник, обвиняемый в покушении на секретаря обкома Лепа. А сейчас уже сидит все бюро обкома и сам Лепа. В камере мое сообщение об отправке в Москву произвело сенсацию. Все переглядывались молча. Наконец Дерковская спросила:

— Он объяснил вам, что значит 8-й пункт?

— Нет. Да я и не спросила. Не все ли равно.

— Нет. Это обвинение в терроре. А пункт 11 — значит группа. Групповой террор. Страшные статьи. И вас передают военному суду.

Впоследствии я часто думала о том, что мое тогдашнее поведение могло показаться моим сокамерникам очень мужественным. На деле это было не мужество, а недомыслие. Я никак не могла осознать всей реальности нависшей надо мной угрозы смертного приговора. Совершенно непостижимо, как я пропустила мимо ушей — точнее мимо сознания — объяснение Дерковской насчет того, что по этим пунктам положено минимум 10 лет строгого тюремного заключения. Минимум. Я знала, что максимум — расстрел, но ни на минуту не верила, что меня могут расстрелять. Настоящий предсмертный ужас пришел ко мне позднее, уже в Москве, в Лефортовской тюрьме. Здесь же, в ежеминутном потоке безумных новостей, наводящих на мысль о совершившемся государственном перевороте, все воспринималось как какая-то нереальная сумятица и неразбериха. Казалось, еще немного — и партия, та ее часть, которая оставалась на воле, схватит безумную руку, сожмет ее железным кольцом и скажет: «Довольно! Давайте разберемся, кто же тут настоящий изменник!»

Меня провожала тепло и любовно вся камера в полном составе, без партийных различий. Пришивали пуговицы и штопали чулки. Давали советы и просили помнить адреса их родных. Я слушала все, как во сне. Меня терзала одна мысль. Дерковская сказала, что перед отправлением в этап должны дать свидание с родными. И я уже ясно видела жгучие глаза мамы, растерянные, испуганные личики детей, которые увидят меня через решетку. Надо ли это? Может быть, для них это воспоминание будет мученьем на всю жизнь? Все эти сомнения оказались лишними. Опыт Дерковской, вынесенный из царской тюрьмы, не пригодился. Здесь не было места «гнилому либерализму», а также «ложному гуманизму». Никакого свидания с родными мне не дали. Я никогда не увидела больше Алешу и маму.

24. ЭТАП

— С вещами!

Какое содержание скрывается за этой короткой формулой! Ты снова между перекладинами чертова колеса. Оно

вертится и волочит тебя за собой. От всего близкого, дорогого — навстречу безымянной пропасти. Ты лишена свободы. Тебя волокут, как вещь, куда вздумается хозяевам. Лидия Георгиевна, адвентистка седьмого дня, использует наконец напряженность момента для пропаганды своих взглядов.

— И всегда-то мы песчинки, которые несутся с неведомым ветром. А сейчас нам послано испытание, чтобы вы осознали, в чьих руках судьба ваша.

Но когда вершителями моих дней и судеб становятся негодяи, вроде Царевского,— это унизительно. Подчиняться им — постыдно. От этого надо бы уйти. Но на это как-то еще нет сил.

— Помилуй вас Бог от такого шага! Убьете душу живую.

Дерковская, забыв об эсеровской принципиальной непримиримости к коммунистам, утирает слезы.

— Скучно теперь будет в камере. Некому стихи почитать. Блока вы меня полюбить заставили.

— Что же это вы плачете обо мне, не спросясь у Мухиной! — шучу я.— Еще разрешит ли она вам плакать о коммунистке, не примыкавшей к оппозиции?

Она сердито отмахивается и громко сморкается в полотенце. А я им читаю на прощание тоскливые стихи О. Мандельштама:

Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня!
Чужие люди, верно, знают,
Куда они везут меня...

Этап в Москву на заседание Военной коллегии Верховного суда собирали немаленький. Это мы безошибочно различали своим обостренным слухом. «Брали» из многих камер. Из нашей двоих: меня и Иру. Последнее обстоятельство особенно возмущало всех, в том числе и самое Иру.

— Ну вы-то ладно! — говорила она.— Вы хоть член партии! А я при чем, чтобы меня на Военную коллегию...

Мысль о том, что принадлежность к Коммунистической партии является отягчающим обстоятельством, уже прочно внедрилась в сознание всех. Что же такое? «Восемнадцатое брюмера» Иосифа Сталина? Или как еще назвать все это? И вот мы готовы. Пожитки связаны в узлы. Выслушаны последние советы и пожелания, приняты напутствия по стенному телеграфу и по вокальному радио. Мы с Ирой сидим еще на тех же нарах, но нас уже здесь нет. Как сквозь сон слышу причитания Зины Абрамовой:

— Тебе хорошо, Женечка, милочка! У тебя высшее образование, не пропадешь... А я вот...

Если бы она знала, как мало пригодилось мне в дальнейшем образование и как пригодилась физическая устойчивость!

Дверь открывается. Нас выводят в коридор, сводят вниз по лестнице. Что это? Ошибка конвоя? Внизу, у самой двери, переплетенной железными прутьями, сидят на своих узлах две отлично знакомые женщины. Обе наши, университетские. Юля Карепова, биолог, и Римма Фаридова, историк. Нет, не ошибка. Нас объединили сознательно. Всех нас везут в Москву. Жадно набрасываемся друг на друга с расспросами. Выясняется, что Юля и Ира по одному делу — члены слепковского семинара. Теперь их встреча уже не опасна для следователей, ведь следствие закончено. Мое предположение, что Римма, как бывшая аспирантка Эльвова, вероятно, привлекается по моему делу, оказывается неверным.

— Нет,— беззаботно говорит Римма,— я татарка, и им удобнее пустить меня по группе буржуазных националистов. Вначале я действительно проходила у них как троцкистка, но потом Рудь завернул им дело, сказал, что по троцкистским элементам у них план перевыполнен, а по националистам они отстают, хоть и взяли многих татарских писателей.

Все эти оригинальные глаголы Римма употребляет без всякой иронии, точно речь идет о выполнении самого обычного хозяйственного плана. Как будто она не видит во всем происходящем ничего странного.

Вообще Римма выглядит чудесно, лучше всех нас. Только позднее я поняла причину этого. С первого же допроса Римма пошла на все. Десятки людей из татарской интеллигенции и вузовского партактива были принесены в жертву ее относительному тюремному благополучию. Одной из этих жертв оказался и муж Риммы, бывший культпроп обкома, умный, сдержанный, молчаливый человек, похожий на китайца и прозванный в «Ливадии» Конфуцием. Именно показания жены дали основания для вынесения ему смертного приговора. За все это Римма получила тридцать сребреников реальных, в виде постоянных передач, а тридцать — иллюзорных, в виде обещания дать ей, как «чистосердечно раскаявшейся и помогшей следствию», не тюрьму, не лагерь, а только ссылку, да еще всего на три года. Юля Карепова поразила меня рассказом о поведении Слепкова. Он, оказывается, тоже был привезен для «переследствия» из уфимской ссылки, где находился после трех лет политизолятора. По рассказу Юли, Слепков пошел на все, чего требовали от него следователи. Дал список «завербованных», свыше 150 человек. Давал любые «очные ставки», в том числе и Юле. Это был какой-то гнусный спектакль, в котором и Слепков, и следователь были похожи на актеров из кружка самодеятельности, произносящих свои реплики без тени правдоподобия. Глядя Юле в лицо пустыми глазами, Слепков повествовал о том, как он в Москве «получил от Бухарина террористические установки», а приехав в Казань, поделился ими с некоторыми членами подпольного центра, в том числе с Юлей. Она, мол, полностью согласилась с установкой и выразила готовность быть исполнителем террористических актов. Юля, задохнувшись от изумления и гнева, закричала на него: «Лжете!» Он патетически воскликнул: «Надо разоружаться. Надо стать на колени перед партией».

Таким образом, Юлино дело выглядело куда лучше оформленным, чем мое. Вместо моих «свидетелей», которые якобы знали о существовании подпольной группы, но сами в ней не участвовали, здесь признания делал сам так называемый «руководитель бухаринского подполья» в Казани. И он же разоблачал «члена группы» — бедную круглоглазую Юльку, ортодоксальнейшую из всех партийных ортодоксов. До сих пор не понимаю, что заставило Слепкова поступить подобным образом. В жизни он казался обаятельным человеком, привлекавшим к себе сердца не только блестящей эрудицией, но и человеческой добротой. Неужели это была вульгарная попытка купить себе жизнь ценой сотен других жизней? Или, может быть, это была та самая тактика, о которой говорил Гарей: хитроумное решение — подписывать все, доводя до абсурда, стараясь вызвать взрыв негодования в центре партии? Это было так же непонятно, как и многое другое в том фантастическом мире, в котором я обречена была теперь жить, а может быть, и скоро умереть. Мы все четверо должны были предстать перед военным судом по обвинению в политическом терроре. Римма уверяла, что, по ее сведениям, в этом этапе мы четверо — единственные женщины среди многих мужчин. Казалось бы, все это должно было вызвать у нас мысли о возможности смертной казни. Это было бы логично. Но нарушение логики, являвшееся законом этого безумного мира, видимо, коснулось и нас. Так или иначе ни одна из нас не допускала мысли о подобном исходе. Ира настойчиво твердила о своей беспартийности, дававшей ей, по ее мнению, колоссальное преимущество сравнительно с нами, тремя коммунистками. Римма верила в обещанную следователем «вольную ссылку», а мы с Юлей успокаивали себя разговорами о массовости происходящего действа, о том, что «всех не расстреляешь», и еще почему-то судьбе Зиновьева, Каменева и Радека. Уж если им дали по десять лет, так неужто нам больше? Наивность этого рассуждения можно извинить, принимая во внимание, что мы уже полгода сидели в тюрьме и не наблюдали изо дня в день того жуткого процесса, который теперь, после смерти Сталина, получил академическое название «нарушения социалистической законности». И вот ворота старой тюрьмы снова захлопнулись за нами. «Черный ворон» уже заполнен. Из его закрытых кабинок доносятся покашливания и вздохи. Поскольку мы уже соединены вчетвером, нас можно больше не прятать друг от друга. Поэтому нас размещают прямо на узлах, в узком коридорчике «черного ворона». Сквозь трещинку во входной дверце можно кое-что видеть. Не простым глазом, конечно, а наметанным, тюремным, скрупулезно наблюдательным и проницательным до неправдоподобия. Вот запахло липой. Это значит — проезжаем мимо памятника Лобачевского. Большая выбоина в асфальте — заворот на Малую Проломную. Остальное дополняет воображение. Оно фиксирует картины дорогого мне города, моей второй родины, «где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил...». Ничего, что сентиментально. В такую минуту можно себе позволить. Стоп. Запахло горячими рельсами, паровозной гарью. Раздалось деловитое пыхтение, потом короткие тревожные вскрики паровозов.

— Выходь давай!

Нет, это не знакомый вокзал. Это где-то на отдаленном участке пути. А как же свидание с детьми, с мамой? Ведь

Бикчентаев обещал. Нет. На перроне только целый выводок следователей и конвойных. После темноты «черного ворона» в глазах рябит от звезд и блестящих пуговиц. У некоторых из них ордена. На этом фоне резко выделяется Веверс, одетый в элегантный штатский костюм цвета голубиного крыла. На его физиономии, внимательной и напряженной, знакомая гримаса — смесь ненависти и презрения,— та самая, которой их обучают в спецшколах.

— Сюда! Сюда! — Самый обыкновенный жесткий купированный вагон. Четыре места. У двери каждого купе — отдельный часовой. Только дверь среднего купе свободна и открыта. Там едут следователи, сопровождающие в Москву свой ценный груз. Толчок. Паровоз прицепили. Еще толчок. Поехали... От чего уезжаем — было ясно. От своих детей, брошенных на произвол судьбы (Ах, если бы только судьбы! На произвол НКВД — это пострашнее!), от мамы, от университета, от книг, от чистой, светлой жизни, полной сознания правильности выбранного пути. А куда? Ну, это знают только те, кто везет нас.

25. БУТЫРСКОЕ КРЕЩЕНИЕ

С первого момента прибытия в Москву нас охватило ощущение колоссальных масштабов того действа, в центр которого мы попали. Исполнители всех операций были перегружены донельзя, они бегали, метались, что называется, высунув языки. Не хватало транспорта, трещали от переполнения камеры, круглосуточно заседали судебные коллегии. Мы еще долго оставались в вагоне давно прибывшего в Москву поезда, прислушиваясь к торопливому топоту ног на перроне, к отрывочным возгласам, к таинственным лязгам и скрипам. Наконец мы погружены в «черный ворон». Снаружи он объемистее казанского и выглядит даже приятно, окрашен в светло-голубой цвет. Безусловно, прохожие уверены, что в нем хлеб, молоко, колбаса. Но клетки, в которые запирают людей, еще душнее и невыносимей казанских. Клетки выкрашены масляной краской, воздух не проникает в них, и уже через несколько минут начинаешь по-настоящему задыхаться, тем более в этот раскаленный, пахнущий плавленным асфальтом июльский день. Изнемогая, истекая потом, со слипшимися волосами и открытыми ртами, мы сидим, запертые в клетки, терпеливо ждем. Долго ждем, потому что, наверное, не хватает шоферов. Вокруг машины не прекращается тот же топот торопливых ног, те же перешептывания, стуки, хлопанье каких-то дверей. Нелегкий труд у этих людей. Каким-то шестым чувством мы догадываемся, что конвоя в нашей машине еще нет, и начинаем переговариваться вслух. Оказывается, вся большая машина полна казанцами. Но женщин действительно только четыре. Это мы. А среди мужчин здесь почти все правительство Татарии последнего состава и много членов бюро обкома. Здесь и Абдуллин, которого ждал расстрел. Мы успели обменяться с ним последними приветствиями. Но вот топот тяжелых сапог совсем близко. Захлопываются двери, шумит оживший мотор. Тронулись... Едем далеко. Значит, в Бутырки. Ведь Лубянка-то близко от Казанского вокзала. Становится совсем невыносимо. Кто-то кричит: «Откройте, дурно!» Корокий ответ: «Не положено!» Руки и ноги затекли. Сознание затуманивается. Перед глазами бегут странные картины. Вспоминаю, что во время Великой французской революции на гильотину возили в открытых тележках. Не мучили удушьем. А старый Ьротто у Франса даже читал, стоя в тележке, Лукреция до самого последнего момента. Усилием воли, чтобы не потерять сознания, стараюсь занять его — мысленно воспроизвожу вид улиц, по которым мы едем. Потом все путается. Я прихожу в себя от резкого запаха нашатырного спирта. Машина стоит. Дверка моей душегубки открыта, и некто в белом халате сует мне в нос едко пахнущий флакончик. Потом методически открываются следующие дверки, и туда тоже суют флакончик. Значит, и мужчины не выдержали этого пути. Дорогу от «черного ворона» до так называемого Бутырского вокзала я прошла, по-видимому, в полубессознательном состоянии, так как я его сейчас никак не могу вспомнить. Я вспоминаю себя уже сидящей на своем узле с вещами в огромном холле, действительно напоминающем вокзал. Большое, гулкое, довольно чистое помещение со снующими взад и вперед людьми обоего пола в формах, не так уж сильно отличающихся от железнодорожной. Очень много дверей. Какие-то кабины, похожие на телефонные будки. Потом я узнала, что это так называемые «собачники» — закутки без окон, куда заводят заключенного, когда он должен ждать чего-нибудь. Основной закон тюрьмы — строгая изоляция. Каждый из нас должен не видеть никого, кроме соседей по камере. Условный звонок у дверей сигнализирует приближение новой группы заключенных. К нам подходит надзирательница и тихо говорит мне:

— Следуйте за мной.

Еще минута — и я в собачнике. Заперта снаружи. Одна. Нас снова разлучили. Я едва успеваю оглядеться. Кабина чуть пошире телефонной будки, выложенная изразцовыми плитками. Вверху лампочка. Табуретка. Замок снова щелкает, меня опять ведут. Теперь я в большой комнате, битком набитой голыми и полуодетыми женщинами. Черными галками выделяются надзирательницы в темных куртках.

Баня? Медосмотр? Нет. Массовый личный обыск вновь прибывших.

— Раздевайтесь. Распустите волосы. Раздвиньте пальцы рук. Ног... Откройте рот. Раздвиньте ноги.

С каменными лицами, точными деловитыми движениями надзирательницы роются в волосах, точно ищут вшей, заглядывают во рты и задние проходы. На лицах одних обыскиваемых женщин — испуг, на других — омерзение. Бросается в глаза огромное количество интеллигентных лиц среди арестованных. Работа идет быстрым темпом. На длинном столе растет гора отобранных вещей: брошки, кольца, часы, сережки, резинки, записные книжки. Это ведь москвички, арестованные только сегодня. Они только что из дома, и у них много всяких милых мелочей. Им еще тяжелее, чем мне. У меня бесспорное преимущество — полугодовой опыт и то, что мне уже нечего терять.

— Одевайтесь!

Ко мне вдруг подходит молодая девушка, почти девочка, с коротко остриженными «под мальчика» волосами:

— Вы член партии, товарищ? Не удивляйтесь, что я спрашиваю об этом здесь. Мне по вашему лицу кажется, что вы коммунистка. Ответьте, мне это очень важно. Да? Ну вот, а я комсомолка. Катя Широкова меня зовут. Мне восемнадцать лет. Я не знаю, как себя вести. Посоветуйте. Смотрите, вон та немка спрятала в волосы несколько золотых вещей. Должна ли я сказать надзирательнице? Я просто теряюсь. С одной стороны, донос — это противно. А с другой — ведь это советская тюрьма, а она, может быть, настоящий враг?

— А мы с вами, Катя?

— Ну, это, конечно, ошибка. Лес рубят — щепки летят. Я уверена, что выпустят. Но страшно трудно решить, как вести себя вообще и вот в данном случае...

Я смотрю на женщину, указанную Катей. Вижу лицо необычайно нежной красоты и обаяния. Потом я узнала, что это была известная немецкая киноактриса Каролина Неер-Гейнчке. Вместе с мужем инженером она приехала в 1934 году в СССР. Два колечка, удачно спрятанные от бдительных очей надзирательницы, были памятью о муже, которого она считала уже мертвым. Ловким движением актрисы, часто снимавшейся в приключенческих фильмах, она сумела спрятать две золотые вещицы в золотом изобилии своих волос. Милая, забавная мордочка Кати Широковой устремлена на меня с требовательным вопросом.

— Вам хочется получить директиву, Катюша?

— Ну, хотя бы в данном случае. Вот с этой немкой...

— Знаете что, Катя... Поскольку мы голые сейчас и в буквальном и в переносном смысле слова, то, я думаю, лучше всего будет руководствоваться в поступках тем подсознательным, что условно называется совестью. Она вам, кажется, подсказывает, что донос — это гадость?

Так были спасены два колечка Каролины Гейнчке. Впрочем, ненадолго, как и сама Каролина. Но об этом позже.

До глубокой ночи я проходила все этапы бутырской обработки. После обыска — снятие отпечатков пальцев, процедура не менее унизительная, чем обыск. Затем фотографирование в профиль и фас, а под конец — долгожданная баня, радостная и сама по себе, и как что-то разумное, выводящее хоть на время из круга дантова ада. Нигде люди не сходятся так быстро, как в тюрьме, особенно в моменты, подобные вот такой «обработке». Общий страх перед ближайшим будущим, общее чувство растоптанности человеческого достоинства. Мы проходили все процедуры этого дня вместе, эти сорок женщин, с которыми меня свели нынче утром, во время личного обыска. Вместе ждали своей очереди, страстным шепотом доверяя друг другу суть наших «дел», имена наших детей, наши боли и обиды. Понимали друг друга с полуслова. И вот мне уже кажется, что все будет гораздо легче, если меня не разлучат с этой милой черноволосой Зоей из Московского пединститута, о которой

я уже знаю столько, сколько можно узнать за десять лет закадычной дружбы. И она тоже бросается ко мне со вздохом облегчения, когда я выхожу из очередного «собачника», где меня фотографировали:

— Вместе будем, Женечка. Наверное, и в камеру вместе поведут. Хорошо бы...

Нет, и эти маленькие утешения нам не даны. Нас разлучают, как на невольничьем рынке. И, выйдя из душа, я вижу, что уже нет в коридоре ни Зои, ни Кати Широковой, ни золотоволосой Кароллы.

— Налево! — командует конвойный.

Меня ведут по сумрачным бутырским коридорам. Потом конвоир передает меня другому, и я слышу шепот: «Спецкорпус». А здесь меня принимает женщина-надзирательница, в темной куртке, со строгим монашеским лицом. Двери в спецкорпусе обычные, без средневековых засовов и замков, запираются просто на внутренний ключ. Вот он повернулся за мной, и я стою со своим узлом в дверях, озираясь кругом. Огромная камера битком набита женщинами. Мерный ритм сонного дыхания прорезывается то и дело стонами, вскриками, бормотаньем. Достаточно постоять у дверей минуту, чтобы понять: здесь не просто спят, здесь видят мучительные сны. По сравнению с известными мне двумя казанскими тюрьмами здесь почти комфортабельно. Большое окно. За его решеткой, правда, тоже есть щит, но не деревянный, а из матового стекла. Вместо нар — деревянные раскладушки. Гигантская параша в углу плотно закрыта крышкой. Все места заняты. Подождав немного, я развязываю узел, вынимаю из него свое байковое домашнее одеяльце (клетчатое, Алешенькино, родное) и стелю его прямо на пол, поближе к окну. С наслаждением вытягиваю ноги. Тело гудит от усталости. Я уже готова погрузиться в сладкое бездумье, как вдруг открывается дверная форточка, и в нее просовывается голова надзирательницы.

— Запрещается на полу. Встаньте!

— Но ведь нет мест.

— Посидите до утра. Утром переведем в другую камеру. Скоро уже утро.

Как только дверная форточка захлопывается, на одной из коек поднимается фигура со всклокоченными волосами.

— Товарищ! Идите ложитесь. Я все равно спать не могу. Не стесняйтесь. Честное слово, посижу с большим удовольствием.

В ее голосе кавказский акцент. «С ба-альшим удовольствием»... Она торопливо укладывает меня на свою раскладушку. Я уже забыла, что можно лежать на чем-нибудь, кроме соломы. От подушки моей новой знакомой пахнет чем-то забытым — чистотой, давнишними духами. Женщина понимает без слов:

— Это у нас в Армении проявили гнилой либерализм — подушку мне разрешили. И немного белья тоже принесли из дома. Здесь подушку хотели отнять, да следователь заступился. Он меня на данном этапе обхаживает. Думает — подпишу.

От усталости, что ли, но этот голос кажется мне знакомым. Лица разглядеть не могу. Лампочка уже выключена, а тусклый рассвет только еще брезжит сквозь решетку и матовый щит.

— Устроились? Ну вот и великолепно.

Это слово рассеивает мою дремоту. Я напрягаю память. Нет, определенно: кто-то из моих знакомых очень часто и именно так произносил это слово. Вэ-ли-ко-лэпно! И эта кудрявая всклокоченная голова... Я беру женщину за руку.

— Как вас зовут? Имя ваше как?

— Нущик,— говорит она.

И в этот момент я вскакиваю и бросаюсь ей на шею.

— Нущик! Посмотри пристальней! Не узнаешь?

— Женька? Ах, я ишак! Женьку не узнать! — Мы с плачем и хохотом перебиваем друг друга воспоминаниями. Восемь лет назад, молоденькими аспирантками, мы спали с ней рядом в большой комнате ленинградского Дома ученых.

— Почти такая же комната была? Да?

— Ну, положим...

Это был большой зал в бывшем дворце великого князя Сергея Александровича, на Халтурина, рядом с Эрмитажем. Огромное, во всю стену, зеркальное окно выходило на Дворцовую набережную. Призрачный свет фонарей озарял по ночам эту комнату, в которой жило десять аспиранток.

— А помнишь, как я тебя один раз ночью разбудила?

Еще бы не помнить! С утра Нущик до одурения зубрила диамат. Предстоял экзамен. И вот она разбудила меня ночью, чтобы задать вопрос: «Скажи, дорогая, кого он с головы на ноги поставил? Гегеля? Вэ-ли-ко-лэпно...»

Мы вспоминаем наперебой эти милые времена...

— А хочешь, я тебе сейчас за ту услугу отплачу: объясню, кто сейчас все поставил с ног на голову? Или сама догадалась?

Приблизительно догадалась, конечно. Но пусть Нущик скажет. И она шепчет мне в самое ухо:

— Сталин!

Мы долго шепчемся, и я засыпаю буквально на полуслове. Просыпаюсь от устремленного на меня взгляда. Рядом с Нущик, в ногах постели, женщина лет сорока пяти. На лице — острое страдание. Подсела ко мне, заметив, что я проснулась, сжимая руки, спросила:

— Скажите, процесс уже был? Их уже расстреляли, да?

— Кого? Какой процесс?

— Боитесь говорить?

— Вот что, Женька,— вмешивается Нущик,— тут бояться нечего. Это жена Рыкова. Скажи, что с ее мужем. Ведь мы сидим уже два месяца... Ничего не знаем.

Я стараюсь как можно яснее растолковать, что сижу уже полгода, что меня привезли из другого города, я ничего не знаю о предстоящем процессе Рыкова. Но она не верит мне: ведь меня только что привезли, а после бани у меня довольно свежий вид. И главное — она не верит потому, что даже за засовами тюрьмы людей не покидает великий Страх. Они уже попали в сети Люцифера, но им все еще кажется, что можно выпутаться, что у соседа дело страшнее, что надо быть осторожным и ничего не рассказывать. Много их прошло перед моими глазами, этих тюремных дипломатов, уверяющих, что они уже за год до ареста не читали газет, ничего рассказать не могут. А сколько я видела заключенных, ведущих в повышенном тоне ультрапатриотические разговоры в наивном расчете на то, что надзиратель услышит и доложит, где надо. Обидно, что меня приняли за одну из них. Но разубеждать некогда. Открывается дверная форточка, снова просовывается голова надзирательницы. «Подъем! Приготовиться на оправку!» Камера откликается скрипом раскладушек. Все встают. Жадно вглядываюсь в лица. Кто они? Вот эти четверо, например? Какие-то нелепые вечерние платья с большими декольте, туфли на высоченных каблуках. Все это, конечно, смятое, затасканное. Какая-то «убогая роскошь наряда». Нущик приходит мне на помощь:

— Что ты, дурочка! Какие там «легкого поведения»! Все четверо — члены партии. Это гости Рудзутака. Все были арестованы у него в гостях, ужинали после театра, и туалеты театральные. Уже три месяца прошло, а передачу не разрешают. Вот и маются, бедняги, в тюрьме с этими декольте. Я уж вон той, пожилой, вчера косынку подарила. Как говорится, хоть наготу прикрыть.

Все 38 человек одеваются быстро, боясь опоздать на оправку. В камере стоит приглушенный гул от всеобщих разговоров. Многие рассказывают соседкам своим сновидения.

— Почти все суеверными стали,— говорит Нущик,— вон там, у окна, старуха. Каждое утро сны рассказывает и спрашивает, к чему бы. А вообще-то она профессор... А вон ту видишь? Ребенок, правда? Ей шестнадцать лет. Ниночка Луговская. Отец — эсер, сидел с 35-го, а сейчас всю семью взяли — мать и трех девочек. Эта — младшая, ученица восьмого класса.

И вот мы все — со мной 39,— из которых самой младшей шестнадцать, а самой старшей, старой большевичке Сурина,— семьдесят четыре, находимся в большой, не очень грязной уборной, тоже напоминающей вокзальную. И все торопимся, точно поезд наш уже трогается. Надо все успеть, в том числе и простирнуть белье, что строго запрещено. Но приходится рисковать. Ведь большинству передачи не разрешают, и люди обходятся единственной сменой белья. За Ниночкой Луговской все ухаживают. Ей стирают штанишки, расчесывают косички, ей дают дополнительные кусочки сахара. Ее осыпают советами, как держаться со следователями. Почти физически чувствую, как сердце корчится от боли, от пронзительной жалости к молодым и старикам. Катя Широкова или вот эта Ниночка, которая чуть постарше нашей Майки... Или Сурина... Почти на двадцать лет старше мамы. Да, это было большим преимуществом моего положения. Счастье, что мне уже за тридцать! И счастье, что еще за тридцать только. У меня свои зубы, я вижу без очков (а очки у всех отняли, и все близорукие и дальнозоркие мучаются страшно!), и желудок, и сердце, и все другие органы работают у меня отлично. А в то же время я уже

окрепла душевно, не сломаюсь, как эти тростиночки — Нина, Катя... Значит, выше голову! Я еще счастливее многих. Только вот одно. Мне кажется, что я больше всех страдаю от унизительности всего, что со мной, со всеми нами проделывают. Кажется, предпочла бы самые тяжелые физические страдания этому сверлящему чувству растоптанности, поруганности. А от этого надо избавляться вот так: каждую минуту твердить себе, что они не люди, те, кто все это делает. Ведь я бы не чувствовала себя оскорбленной, если бы в моих волосах рылась свинья или обезьяна, ища там «вещественные улики» моих преступлений!

26. ВЕСЬ КОМИНТЕРН

Надзирательница не разрешила мне войти вместе со всеми в камеру.

— Подождите.— И, заперев двери за вошедшими женщинами (я даже не успела попрощаться с Нущик), она ведет меня дальше по коридору и указывает на открытую дверь:

— Сюда!

Камера точно такая же, как та, в которой я ночевала, пуста и открыта. Обитательниц увели на оправку.

— Вот ваша койка,— показывает надзирательница на одну из раскладушек, недалеко от двери, а значит, и от параши. Но в целом обстановка мне нравится. Сквозь матовый щит просачивается солнце. 35 раскладушек аккуратно застелены. А главное... Не обманывает ли меня зрение? Нет, именно так: на каждой постели — книги. Я дрожу от восторга. Родные мои, неразлучные мои, ведь я не видела вас почти полгода! Шесть месяцев почти я не перелистывала вас, не вдыхала терпкого запаха типографской краски. Беру первую попавшуюся. «Туннель» Келлермана на немецком. Вторую. Томик Стефана Цвейга, и тоже на немецком. А вот Анатоль Франс по-французски, Диккенс — по-английски... Очень быстро убеждаюсь в том, что все находящиеся здесь книги — иностранные. Обращаю внимание на предметы одежды, разбросанные по раскладушкам. На этих тряпках, помятых и затрепанных, тоже какой-то заграничный налет. Неужели я попала в камеру иностранок? Поворот ключа. Двери снова открываются, и в камеру входят 35 женщин. Их стайка гудит сдержанным разноязычным гулом. Они замечают меня и окружают плотным кольцом. Доброжелательные лица. Немецкие, французские, ломаные русские вопросы. Кто я? Когда взяли? Что нового на воле? Отвечаю по-русски. Потом тоже спрашиваю:

— А вы кто, товарищи? Вижу, что иностранки, но какого типа — не пойму.

Стоящая впереди худенькая блондинка, лет двадцати восьми, протягивает мне руку:

— Сделаем знакомств... Грета Гестнер, член КПГ. А это моя... ви загт ман? Другиня? Нихт? А-а... Подруга. Клара. Она бежаль от Гитлера. Долго была гестапо.

Клара очень черная. Скорей похожа на итальянку, чем на немку. Она выжидательно смотрит на меня и кивком головы подтверждает слова Греты. Еще одна высокая блондинка:

— Член партии Латвии,— без всякого акцента говорит она по-русски.

— Коммунисто итальяно...

Улыбающаяся китаянка, возраст которой трудно определить, обнимает меня за плечи и называет себя членом Компартии Китая.

— По-русски меня зовут Женей,— говорит она,— Женя Коверкова. Училась в Москве, в университете имени Сун-ят-Сена. Нам всем там русские фамилии дали. А вы кто, товарищ?

Все страшно оживляются, узнав, что я член Коммунистической партии Советского Союза. Вопросы, вопросы... Какие подробности о деле военных? На свободе ли Вильгельм Пик? Правда ли, что взяты все латышские стрелки? Когда начнется процесс Бухарина — Рыкова? Верно ли, что был июльский Пленум ЦК и на нем выступал Сталин с требованием об усилении режима в тюрьмах? Для меня все эти вопросы — новости. Объясняю, что сижу больше их всех. Привезли из провинции на суд Военной коллегии. Постепенно группа вокруг меня рассасывается, и я остаюсь в обществе двух немок — Греты и Клары. Я говорю по-немецки с такими же ошибками в родах существительных, как они по-русски. Тем не менее мы оживленно беседуем на обоих языках сразу, и этот воляпюк отлично устраивает обе стороны.

— В чем же вас обвиняют, Грета?

Голубые «арийские» глаза блестят непролитыми слезами:

— О, шреклих! Шпионаже...— В двух-трех фразах она рассказывает о своем муже — «Айн вирклихер берлинер пролет». О себе — с пятнадцати лет юнгштурмовка. Но она-то еще ничего, а вот Клархен...

Клара ложится на раскладушку, резко поворачивается на живот и поднимает платье. На ее бедрах и ягодицах — страшные уродливые рубцы, точно стая хищных зверей вырывала у нее куски мяса. Тонкие губы Клары сжаты в ниточку. Серые глаза, как блики светлого огня, на смуглом до черноты лице.

— Это гестапо,— хрипло говорит она. Потом так же резко садится и, протягивая вперед обе руки, добавляет:— А это НКВД.— Ногти на обеих руках изуродованные, синие, распухшие.

У меня почти останавливается сердце.

— Что это?

— Специаль аппарат для получений... это... ви загт ман? а-а... чистый сердечный признаний.

— Пытки?

— О-о-о...— Грета горестно покачивает головой,— придет ночь — будешь слышать.

Кто-то на чистейшем русском языке окликает меня:

— Можно вас на минуту, товарищ?

Оказывается, кроме меня, здесь есть несколько человек советских. Окликнувшая меня женщина — это Юлия Анненкова, бывший редактор немецкой газеты, издающейся в Москве. Ей под сорок. Лицо не из красивых, но яркое, запоминающееся. Похожа на гугенотку. Мрачный пламень в глазах. Она берет меня под локоть, отводит в сторону и доверительно шепчет:

— Вы поступили совершенно правильно, не ответив на вопросы этих людей. Кто знает, которая тут — настоящий враг, а которая — жертва ошибки, как мы с вами. Будьте и дальше осторожны, чтобы не наделать настоящих преступлений против партии. Лучше всего молчать...

— Но ведь я действительно ничего не знаю. Привезена из провинции, сижу уже полгода. Может быть, вы знаете, что творится в стране?

— Измена! Страшная измена, проникшая во все звенья партийного и советского аппарата. Изменниками оказались многие секретари крайкомов и ЦК нацкомпартий. Постышев, Хатаевич, Эйхе, Разумов, Иванов, пред. сов. контроля Антипов, много военных...

— Но если все изменили одному, то не проще ли подумать, что он изменил всем?

Юлия бледнеет. Секунду молчит, потом резко бросает:

— Простите. Я ошиблась в вас.

Она отходит, а меня перехватывает другая русская — Наташа Столярова. Ей двадцать два года, она похожа на школьницу со своими русыми косичками и крупинками веснушек на круглом лице. Наташа — эмигрантское дитя. В возрасте пяти-шести лет оказалась с родителями в Париже. Там протекло ее двуязычное детство. Несколько лет назад вернулась в Москву, репатриировалась. Бурно вдыхала русский воздух, наслаждалась чистой русской речью, работала переводчицей. И вот... Наташа тоже говорит мне об осторожности:

— Вы очень доверчивы. Зачем вы этой Юлии так отбрили? Видите ведь, какой у нее лик иконоборческий. Такие по идейным соображениям сексотами становятся. А зачем вам лишние козыри в следовательские руки?

Наташа уверяет меня, что на ее «свежий взгляд» все понятнее, чем нам.

— Кавказский узурпатор, поверьте, пострашнее своих французских предшественников. Секир башка — и все тут!

— Но неужели он сознательно идет на уничтожение лучшей части партии? На что же тогда ему опереться?

— А вот придет ночь — услышите, на кого он опирается.

— Но ведь я уже провела ночь в соседней камере. Ничего не слыхала.

— А это потому, что вас перед самым рассветом привели. А у них время пыток — до трех. Вон немки, побывавшие в гестапо, уверяют, что тут не обошлось без освоения опыта. Чувствуется единый стиль. В командировку заграничную посылали их, что ли?

Жестокие надрывные слова, произносимые Наташей, так не соответствуют ее школьным косичкам. На косичках пляшут коротенькие солнечные блики, притушенные матовым стеклом оконных щитов. Жизнь, свет, доброта то и дело прорезают нависшую над нами тьму. Вот Грета описывает своей соседке Кларе изумительный фасон платья, в котором она была последний раз на первомайском вечере в Большом

театре. И в глазах Клары вспыхивают огоньки любопытства. Она тоже делится какими-то секретами туалета и очерчивает в воздухе линию красивого лифа. Да, очерчивает эту линию своими синими пальцами с раздавленными ногтями. А вот китаянка Женя Коверкова показывает «отличные упражнения для ног» сухопарой польке Ванде. И обе, воровато озираясь на глазок в двери, ложатся на спины прямо на пол и делают «велосипед», озабоченные сохранением фигуры, которая может пострадать от дневного валяния, от тюремной неподвижности, от питания перловой кашей и овсяной баландой. Но вот прошли обед и ужин. Вечерняя оправка. Проверка. Отбой. Все ложатся и ждут. Сейчас оно начнется. Неотвратимое, как смерть.

27. БУТЫРСКИЕ НОЧИ

В этот вечер общее настроение омрачилось больше обычного инцидентом во время проверки. По бутырским правилам счет людского поголовья велся не по головам, а по кружкам. Перед проверкой каждый должен был поставить на стол свою кружку. Следила за этим староста камеры. Дежурные надзиратели и корпусные просчитывали кружки и уходили, сделав ряд привычных замечаний вроде: «Громко не разговаривать!», «Как отбой — всем спать!»... Сегодня дежурный, считавший кружки, был на редкость бестолков. Он пересчитывал несколько раз, переставлял более симметрично, сбивался со счета, начинал сначала, забавно слюнявил большой палец правой руки. Первой фыркнула смешливая Женя Коверкова, за ней другие. А когда церемония проверки окончилась и старшие дежурные со свитой важно удалились, камеру охватил приступ того безудержного смеха, который иногда звучит в тюрьмах. Как бы компенсируя себя за постоянное горе, тоску, тревогу, люди хохочут, придравшись к самому незначительному поводу. Хохочут гомерически, явно несоразмерно комичности случая. Остановить такой приступ смеха нелегко. И в данном случае призывы к тишине со стороны нескольких благоразумных оставались напрасными.

— Замолчите!

Этот пронзительный крик нельзя было не услышать. Юлия Анненкова, с искаженным, побледневшим лицом, подняла руку движением боярыни Морозовой.

— Вы не смеете издеваться над ним. Он здесь представляет Советскую власть. Он исполняет свои обязанности. Вы не смеете, вы не смеете!

Смех оборвался, точно топором отрубили. Высокая рассудительная немка Эрна быстро заговорила по-немецки, доказывая Юлии, что [смех] вызван «комичностью этого субъекта, независимо от его общественных функций». Все так же смеялись бы, будь он не надзирателем, а таким же заключенным, как мы. Чей-то голос из уголка, где сидело несколько полек, явственно пробормотал «пся крев!», и нельзя было понять, относится ли это к надзирателю или к Юлии. А она, не слушая ничего, судорожными движениями стащила с себя одежду, легла и укрылась с головой, как бы демонстрируя свою отъединенность от соседок, в каждой из которых ей, ортодоксальной сталинке, чудился «настоящий враг». Подавленные, все быстро улеглись. Моей соседкой оказалась латышка Милда, пожилая женщина с наружностью безотказной труженицы. Глубоко сидящие глаза, плоская грудь и выпирающий живот, длинные худые руки, большие кисти с набрякшими венами. Прачка с картины Архипова. Этой женщине предъявлялось обвинение, что она кутила с иностранцами в шикарных ресторанах, соблазняла дипломатов, выуживая у них секретные сведения. Это ведь был июль 1937 года, и никто уже не заботился даже о тени правдоподобия в обвинениях. Перед тем, как лечь, Милда аккуратно причесала свои жидкие волосы и, вытащив из-под соломенной подушечки кусочек ваты, старательно заткнула комочками ваты оба уха. Потом протянула такой же кусочек мне. На мой удивленный взгляд пояснила:

— Меня взяли еще зимой. У меня есть зимнее пальто. Я из него выдергиваю вату.

— Но зачем затыкать уши?

Милда устало пожимает плечами:

— Чтобы не слышать. Чтобы спать.

Но я не заткнула ушей. Что я, страус, что ли? Пить, так уж до дна. И я выпила чашу до дна в ту жаркую июльскую ночь 1937 года. Началось все сразу, без всякой подготовки, без какой-либо постепенности. Не один, а множество криков и стонов истязаемых людей ворвались сразу в открытые окна камеры. Под ночные допросы в Бутырках было отведено целое крыло какого-то этажа, вероятно, оборудованного по последнему слову палаческой техники. По крайней мере Клара, побывавшая в гестапо, уверяла, что орудия пыток, безусловно, вывезены из гитлеровской Германии. Над волной воплей плыла волна криков и ругательств, изрыгаемых пытающими. Слов разобрать было нельзя, только изредка какофонию ужаса прорезывало короткое, как удар бича, «мать! мать! мать!». Третьим слоем в этой симфонии были стуки бросаемых стульев, удары кулаками по столам и еще что-то неуловимое, леденящее кровь. Хотя это были только звуки, но реальное восприятие всей картины было так остро, точно я разглядела ее во всех деталях. Они все казались мне похожими на Царевского, эти следователи. А глаза их жертв стояли передо мной, с этим своим выражением... Нет, не могу найти слов, чтобы его передать. Я до сих пор узнаю «бывших» по остаткам этого выражения где-то в глубине зрачка. И до сих пор, до шестидесятых годов, поражаю людей, встретившихся на курорте или в поезде, колдовским вопросом: «Вы сидели? Реабилитированы?»

Сколько это может длиться? Говорят — до трех. Но ведь этого нельзя вынести больше одной минуты. А оно тянется, тянется, то ослабевая, то вновь взрываясь. Час. Второй. И третий. Четыре часа. До трех ежедневно. Я сажусь на постели. Мне вспоминается какая-то древняя восточная поговорка: «Не дай Бог испытать то, к чему можно привыкнуть». Да. Привыкли. И к этому привыкли. Большинство спит или по крайней мере лежит спокойно, закрывшись с головой одеялами, несмотря на страшную духоту. Только несколько новеньких, подобно мне, сидят на койках. Некоторые заткнули уши пальцами, некоторые просто как бы окаменели. Время от времени открывается дверная форточка, появляется голова надзирательницы:

— Всем спать! Нельзя сидеть после отбоя.

— А-а-а! — раздается вдруг крик отчаяния не «там», а совсем рядом. Молодая женщина с длинной растрепавшейся косой бросается к окну. Все забыв, в исступлении бьется о раму руками и головой.— Он! Он! Его голос, я узнала... Не хочу, не хочу, не хочу больше жить! Пусть убьют скорее...

Многие вскакивают, окружают женщину, оттаскивают от окна, убеждают, что она ошиблась. Это не голос ее мужа. Нет, нет, пусть ее не успокаивают. Его голос она узнает из тысячи. Это его, его там терзают, уродуют, а она должна лежать здесь и молчать. Нет! Она будет кричать и скандалить. Может быть, тогда ее скорее убьют, а ей только того и надо. Все равно после этого жить нельзя. В коридоре движение. Распахиваются двери. Появляется надзирательница в сопровождении корпусного. Он четким, профессиональным движением выворачивает бьющейся в припадке женщине руки назад, потом вливает ей насильно в рот какую-то жидкость из стакана, приговаривая:

— Пейте! Это валерьяновка.

Навряд ли. Навряд ли от валерьяновки женщина так быстро упала бы на койку, закрыла глаза и погрузилась мгновенно в странный сон, похожий на смерть. Тишина в камере восстановлена. Милда поднимает голову, шуршит соломенной подушкой и снова предлагает мне вату для ушей.

— Не надо. Лучше скажите, кто эта женщина.

— Эта? Одна из полек. Их в том углу семь. Муж ее русский, советский. Молодожены. И ребеночек остался трехмесячный. Ей здесь грудь бинтовали, чтобы пропало молоко. Главное, ее мучит мысль, что мужа взяли из-за нее, за связь с иностранкой...

Время близится к трем. Становится все тише. Вот еще грохнул брошенный об пол стул. Вот еще раз гукнуло и отдалось многократным эхом «мать! мать! мать!». И еще одно подавленное мужское рыдание. И — тишина. Мысленно вижу, как, шатаясь, выходят из камер пыток окровавленные, истерзанные жертвы. Некоторых выносят. Вижу, как следователи складывают в столы свои бумаги.

— Дайте вату,— прошу я соседку Милду.

— Теперь уже не надо. Больше ничего не будет до завтра.

— Все равно дайте.

Она удивленно пожимает плечами, но дает мне комок серой одежной ваты. Я затыкаю оба уха. Натягиваю на голову тюремное одеяло, пахнущее пылью и горем, вцепляюсь зубами в угол соломенной подушки. Вот так как будто легче. Не слышу и не вижу. Если бы можно еще и не сознавать. Чтобы заснуть, надо десять, нет, сто раз прочесть про себя какие-нибудь стихи. И я твержу:

Отрадно спать — отрадней камнем быть.
О, в этот век — преступный и постыдный —

Не жить, не чувствовать — удел завидный —
Прошу: молчи — не смей меня будить.

Это написал Микеланджело.

28. С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНА ОТ ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ

В Бутырках изоляция от внешнего мира была гораздо более полной, чем в казанских тюрьмах. Камеры комплектовались по принципу — «на одном уровне по ходу следствия». Поэтому к нам совсем не поступали люди с воли. Если и приходили новенькие, то у всех, так же как и у меня, следствие или было закончено, или приближалось к концу.

И мы жестоко томились, не зная ничего. Тем не менее сложился какой-то быт. Кошмарные ночи сменялись хлопотливыми днями. Хлопот было масса. С самого подъема до отбоя почти не было свободного времени. Церемония выноса гигантской параши, долгие, с очередями, «оправки», троекратная раздача пищи, которая доставлялась в больших ведрах, мытье посуды, починка разлезающихся чулок и лифчиков (передачи здесь почти никому не разрешались), прогулка, запись на «лавочку» тех счастливиц, у кого на личном счету было немного денег, обмен книг, проверки, перекличка — все это заполняло без остатка и даже переполняло наши дни. Днем наша камера была похожа на трюм корабля, застигнутого бедствием и давно уже плавающего по бурным водам. И так же, как на терпящем бедствие судне, люди делились на подчеркнуто спокойных, экзальтированных и малодушных. Последних, правда, было довольно мало. Дня через два после моего прихода в камеру произошел инцидент, связанный с кормлением птиц остатками хлеба. До сведения Попова, начальника Бутырской тюрьмы, дошли слухи, что мы каждый вечер разбрасываем крошки из окон, что проведавшие об этом воробьи слетаются на окна тучами, устраивая страшный ералаш, перелетая через стеклянные щиты, наполняя камеру неистовым щебетом и вызывая ответное радостное оживление среди заключенных. Попов ворвался в камеру в неурочное время, окруженный почетным эскортом надзирателей, и срывающимся от гнева голосом произнес короткую энергичную речь, в которой красной нитью проходила мысль — «вам здесь не курорт». Каждая фраза заканчивалась рефреном: «Не забывайте, что вы в тюрьме, да еще в Бутырской!»

Однако карцеров, лишений прогулки или библиотеки не последовало. Говорили, что Попов — человек не злой, больше склонный к чтению нотаций, чем к расправам. В дальнейшем жизнь дала ему возможность оценить реальное содержание его излюбленной формулы: «...да еще Бутырская». Через два-три месяца он превратился из начальника тюрьмы в одного из ее узников. Время от времени кого-нибудь из нас вызывали. Если «с вещами» — все бледнели и по камере летели шелестящие, произносимые пересохшими губами слова: «На суд» или «Срок объявлять». Мы уже знали, что некоторые получат срок по суду, а другие — по так называемому «особому совещанию» НКВД, заочно. Но о содержании приговоров еще ничего не было известно. По этому поводу шли постоянные страстные споры. Кое-кто часто произносил леденящие слова: «вышка», «десятка». Но большинство с возмущением отвергало такие прогнозы. Широко ходил известный силлогизм: «Уж если Зиновьеву и Каменеву, Пятакову и Радеку — по 10, то нам-то, мелкой сошке...» Когда кого-нибудь вызывали «без вещей», камеру охватывало волнение другого рода. Стоило закрыться двери, повернуться ключу вслед за вызванной, как в разных углах камеры начинались зловещие шепоты: «Странно. Чего это ее вызвали? Ведь следствие давно закончено». «Ну что вы! Она порядочный человек». «Как будто бы... Но все же...» «А я-то, как назло, вчера вечером разоткровенничалась...»

Это был точно острый приступ психоза. Хорошие люди, только что по-дружески относившиеся друг к другу, неожиданно начинали видеть в своих соседях потенциальных «сексотов», провокаторов. Часто люди потом стеснялись этих приступов взаимного недоверия, подозрительности, этого ощущения «волка среди волков». Но проходило несколько часов, снова вызывали кого-нибудь без вещей, и снова все цепенели от ужаса. Что, как эта, вызванная сейчас, выложит следователю все, что говорилось вчера в камере? И когда в яркий летний день открылась дверная форточка и надзирательница негромко назвала мою фамилию, меня прежде всего охватило чувство неловкости. Без вещей! Чего это! Ведь так и про меня могут подумать в камере... Любопытно, как в травмированной психике заключенного происходит смещение планов. Я сидела в Бутырках уже три недели, и это был мой первый вызов. Казалось бы, я должна была сразу подумать о суде, о приговоре, о жизни и смерти. Но нет! Одна мысль — не подумали бы обо мне плохо мои соседки по камере. Ведь у них такая мода: как кого вызовут без вещей, так они сразу думают, что... Почти механически подчиняясь приказам конвоира, шепотом указывавшего мне направление, я шла лабиринтом бутырских коридоров, пока не поняла, что я снова «на вокзале».

«Сюда!» Короткое щелканье затвора — и я опять в «собачнике» — в стоячей, выложенной изразцами клетке. Повезут куда-то? Снова теряю ощущение времени и не знаю, час или пять минут я стою здесь, прислонясь к холодной стене. Плитки изразца сверкают в лучах сильной лампочки. Если закрыть глаза, то плитки все равно не исчезают, а только становятся темнее. Но ведь не оставят же меня здесь навсегда. Затвор щелкает. В дверях молодой офицерик. «Ознакомьтесь!» — и сует мне в руку бумагу. Прежде чем успеваю спросить что-нибудь, запирает меня снова. Обвинительное заключение по делу... Подпись Вышинского. Санкционировано им. Я вспоминаю его в вышитой украинской рубашке. На курорте. Хилая костлявая жена и дочка Зина, с которой я ходила каждый день на пляж. Вспомнил ли он меня, подписывая эту бумагу? Или в затуманенном кровавой пеленой взоре все имена и фамилии слились в одно? Ведь мог же он отправить на казнь своего старого друга, секретаря Одесского обкома Евгения Вегера. Так чем же могла остановить его руку фамилия курортной приятельницы его дочки? Скольжу глазами по «преамбуле» обвинительного заключения. Тут не во что вчитываться. Все та же газетная жвачка. «...Троцкистская террористическая контрреволюционная группа»... «ставившая целью реставрацию капитализма и физическое уничтожение руководителей партии и правительства». Повторенные миллионы раз, эти формулировки, которые вначале потрясали, стерлись и стали восприниматься именно как тошнотворная жвачка, как некая «присказка», вроде «в некотором царстве, в некотором государстве»... Никто уже в эту присказку не вслушивался, а ждали, замирая, когда же кончится она и начнется сама сказка, в которой появится Великий Людоед. После присказки в моем обвинительном заключении шел список «членов контрреволюционной троцкистской организации при редакции газеты «Красная Татария». Опять ни тени правдоподобия! В список попали люди, никогда в редакции не работавшие, и даже такие, которые давно уехали в другие города и во время «преступлений» отсутствовали. Потом окажется, что те из них, кто уехал вовремя подальше, так никогда и не были арестованы. Дальше, дальше... Ага, вот наконец заговорил и сам Людоед. Это уже не присказка, а сказка. «На основании вышеизложенного... предается суду Военной коллегии... по статьям 58-8 и 11 уголовного кодекса... с применением закона от 1 декабря 1934 года». Теперь кровь ударяет в виски уже не мелкой дробью, а гулким редким прибоем. Что за закон? Дата его не сулит ничего хорошего. Офицерик вновь распахивает дверь собачника. Теперь я фиксирую его наружность. Под острым носиком — усики мушкой. «Дурачок с усиками». Жандармик из пьесы Горького «Враги». Откуда-то издалека слышу повторенный несколько раз вопрос:

— Ознакомились с обвинительным заключением? Все ясно?

— Нет. Я не знаю, что значит закон от первого декабря.

Офицерик смотрит удивленно, точно я его спросила, что такое земля или море. Пожав плечами, разъясняет:

— Закон этот гласит, что приговор приводится в исполнение в течение 24 часов с момента вынесения.

24 часа. Да еще до суда тоже 24. В камере мне разъяснили, что после вручения обвинительного заключения на другой день обычно везут в суд. Итого — 48 часов. Это мне осталось жить 48 часов. Была девочка. Женя. Женечка. И мама заплетала ей косички. Была девушка. Влюблялась. Искала смысл жизни. И были расцветные женские годы — 27—28. И были Алеша с Васей. Сыновья. В камере мертвая тишина. Здесь это первый случай. Отсюда еще никто не шел на Военную коллегию. Все «тройка», «особое», в крайнем случае — трибунал. И никому еще не предъявляли такого обвинительного заключения. Чтобы с оговоркой, что в 24 часа. Сомнений в моей завтрашней судьбе нет ни у кого. Меня гладят по косам, с меня снимают туфли, мне суют в рот каким-то чудом пронесенный через все обыски порошок веронала. Но он не помогает. Организм не хочет тра-

тить на сон последние часы своего существования. Всю ночь я сижу за столом в середине камеры, и надзирательница не делает мне замечаний. В людях, окружающих меня, раскрываются «душ золотые россыпи». Трудно поверить, что это те самые, которые подозревали друг друга в черном предательстве. Они заучивают наизусть имена моих детей и адреса родных, чтобы в случае, если сами уцелеют, рассказать им о моих последних часах. Трудно, почти невозможно передать ощущения и мысли смертника, то есть передать, наверное, можно, но для этого надо быть Львом Толстым. Я же, вспоминая ту ночь, могу только отметить какую-то странную резкость в очертаниях всех предметов и мучительную сухость во рту. Что касается потока мыслей, то если бы его воспроизвести в точной записи, то получились бы странные вещи. Успевают ли люди почувствовать боль, когда в них стреляют? Господи, как же теперь Алеша и Вася будут анкеты заполнять! Как жалко новое шелковое платье, так и не успела надеть ни разу... А шло оно мне... Вот так или примерно так текли мысли. На столе лежали какие-то книги. Открыла одну. Баранский. Экономическая география. Это хорошо. Посмотреть еще раз карту. Мир. Вот он. Вот здесь Москва. Я родилась в ней, и в ней же мне суждено умереть. Вот Казань. Сочи. Крым. А вот остальная земля. Я ее никогда не видела и не увижу. На рассвете несколько воробьев, еще не узнавших, очевидно, о том, что «здесь вам не курорт» и что начальник Бутырской тюрьмы Попов категорически запрещает общение птиц с заключенными, бойко взлетели на верхушку стеклянного щита. Их хвостики потешно вздрагивали. Радостными голосами они приветствовали наступление самого царственного месяца в году. Это было утро первого августа 1937 года.

29. СУД СКОРЫЙ И ПРАВЕДНЫЙ

В Лефортовской тюрьме все двери открываются бесшумно. Шаги тонут в мягких дорожках. Конвойные изысканно вежливы. В «собачниках» есть табуретки, можно сидеть, а изразцовые стены так белы и блестящи, что напоминают операционную. Одиночная камера, куда меня привезли этим утром первого августа, чиста, как больничная палата, а надзирательница похожа на кастеляншу дома отдыха. Здесь я буду ждать суда. «Чем вежливей и чище, тем ближе к смерти»,— вспоминаю я инструктаж Гарея. Несмотря на это, обстановка вызывает у меня желание подтянуться внешне. Я достаю из своего узла «кобеднешнее» синее платье, долго выравниваю смявшиеся складки, накручиваю локоны на пальцы, пудрю нос зубным порошком. Все это я делаю почти механически. Ничего удивительного. Шарлотта Корде тоже прихорашивалась перед гильотиной. И жена Камиля Демулена. Не говоря уж про Марию Стюарт. Но все эти мысли идут как бы сами по себе, а огромная холодная жаба, распластавшаяся под самым сердцем, тоже сама по себе. Ее не прогонишь ничем. И вот пришел мой час. За столом Военная коллегия Верховного суда. Трое военных. Сбоку секретарь. Перед ними — я. По сторонам от меня — два конвоира. В такой обстановке «широкой гласности» начинается «судебное следствие». Напряженно вглядываюсь в лица своих судей. Поражает их разительное сходство друг с другом и еще почему-то с тем корпусным на казанском Черном озере, который отбирал часы. Все на одно лицо, хотя один из них брюнет, другой убелен сединами. Ах, вот в чем дело! Это выражение глаз делает их одинаковыми. Взгляд маринованного судака, застывшего в желе. Да оно и понятно. Разве можно нести вот такую службу ежедневно, не отгородив себя чем-то от людей? Ну, хотя бы таким взглядом? Стало очень легко дышать. Это из открытого настежь окна повеял летний ветер удивительной чистоты. Прекрасная комната с высоким потолком. Ведь есть еще такие на свете! На больших темно-зеленых деревьях под окнами шелестят листья. Этот звук — таинственный и прохладный — потрясает меня. Я, кажется, раньше никогда его не слышала. Это трогательно, когда они шелестят. Почему я раньше не замечала этого? И часы на стене... Круглые, большие, с блестящими усами стрелок. Как давно я не видела ничего подобного. Отмечаю время начала и конца процедуры. Семь минут! Вся трагикомедия длится ровно семь минут, ни больше ни меньше. Голос председателя суда — наркомюста РСФСР Дмитриева — похож на выражение его глаз. Действительно, если бы маринованный судак заговорил бы, то у него оказался бы именно такой голос. Здесь нет и тени того азарта, который вкладывали в свои упражнения мои следователи. Судьи только служат. Отрабатывают зарплату. Вероятно, и норму имеют. И борются за перевыполнение.

— С обвинительным заключением знакомы? — невыносимо скучным голосом спрашивает меня председатель суда.— Виновной себя признаете? Нет? Но вот свидетели же показывают...— Он перелистывает страницы пухлого «дела» и цедит сквозь зубы: — Вот, например, свидетель Козлов...

— Козлова. Это женщина, притом подлая женщина.

— Да, Козлова. Или вот свидетель Дьяченко...

— Дьяконов...

— Да. Вот они утверждают...— Что именно они утверждают, председатель суда узнать не удосужился. Прерывая сам себя, он снова обращается ко мне: — К суду у вас вопросов нет?

— Есть. Мне предъявлен 8-й пункт 58-й статьи. Это обвинение в терроре. Я прошу назвать фамилию того политического деятеля, на которого я, по вашему мнению, покушалась.

Судьи некоторое время молчат, удивленные нелепой постановкой вопроса. Они укоризненно глядят на любопытную женщину, задерживающую их «работу». Затем тот, что убелен сединами, мямлит:

— Вы ведь знаете, что в Ленинграде был убит товарищ Киров?

— Да, но ведь не я его убила, а некто Николаев. Кроме того, я никогда не жила в Ленинграде. Это, кажется, называется «алиби»?

— Вы что, юрист? — уже раздраженно бросает седой.

— Нет, педагог.

— Что же вы казуистикой-то занимаетесь? Не жили в Ленинграде!.. Убили ваши единомышленники. Значит, и вы несете за это моральную и уголовную ответственность.

— Суд удаляется на совещание,— бурчит под нос председатель. И все участники «действа» встают, лениво разминая затекшие от сидения члены.

Я снова смотрю на круглые часы. Нет, покурить они не успели. Не прошло и двух минут, как весь синклит снова на своих местах. И у председателя в руках большой лист бумаги. Отличная плотная бумага, убористо исписанная на машинке. Длинный текст. Чтобы его перепечатать, надо минимум минут двадцать. Это приговор. Это государственный документ о моих преступлениях и о следующем за ними наказании. Он начинается торжественными словами: «Именем Союза Советских Социалистических Республик...» Потом идет что-то длинное и невразумительное. А-а-а, это та самая «присказка», что была и в обвинительном заключении. Те же, «имея целью реставрацию капитализма...» и «подпольная террористическая...». Только вместо «обвиняется» теперь везде «считать установленным». Кажется, он немного гундосит, этот председатель. И как медленно он читает. Перевернул страницу. Сейчас... Вот сейчас скажет: «К высшей мере»... Опять шорох листьев. На секунду кажется, что это все в кино. Я играю роль. Ведь немыслимо же поверить, что меня на самом деле скоро убьют. Ни с того ни с сего... Меня, мамину Женюшу, Алешину и Васину мамулю... Да кто дал им право? Мне кажется, что это я кричу. Нет. Я молчу и слушаю. Я стою совсем спокойно, а все то странное, что происходит,— это внутри. На меня надвигается какая-то темнота. Голос чтеца сквозь эту тьму просачивается ко мне, как далекий мутный поток. Сейчас меня захлестнет им. Среди этого бреда вдруг отчетливо различаю совершенно реальный поступок конвоиров, стоящих у меня по сторонам. Они сближают руки у меня за спиной. Это чтобы я не стукнулась об пол, когда буду падать. А разве я обязательно должна упасть? Ну да, у них, наверное, опыт. Наверное, многие женщины падают в обморок, когда им прочитывают «высшую меру». Темнота снова надвигается. Сейчас захлестнет совсем. И вдруг... Что это? Что он сказал? Точно ослепительный зигзаг молнии прорезает сознание. Он сказал... Я не ослышалась?.. К десяти годам тюремного заключения со строгой изоляцией и с поражением в правах на пять лет... Все вокруг меня становится светлым и теплым. Десять лет! Это значит жить! ...И с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества...

Жить! Без имущества! Да на что оно мне? Пусть конфискуют! Они ведь разбойники, как же им без чужого имущества! Мое-то оно вряд ли пригодится... Ну, книги, ну, платья... Даже приемника у нас нет. Ведь мой-то муж — настоящий старый коммунист, ему не нужны были ваши «бьюики» и «мерседесы»... Десять лет... И вы думаете еще десять лет разбойничать тут, судаки маринованные? Вы всерьез надее-

тесь, что в партии не найдется людей, которые схватят вас за руку? А я знаю: есть такие люди... И рано или поздно конец вам придет... И ради того, чтобы увидеть этот конец, надо жить. Пусть в тюрьме, все равно! Жить! Если бы они смотрели в лица своим жертвам, они, наверно, прочли бы в моих глазах все эти немые выкрики. Но они не смотрят на меня. Отчитав, они быстрым шагом направляются «с колокольни домой». Гуськом выходят из комнаты. Теперь у них, наверно, перекур. А там опять... Норма большая. Я оглядываюсь на конвоиров, все еще держащих мои за моей спиной скрещенные руки. Каждая жилочка во мне трепещет восторгом бытия. Лица конвоиров кажутся мне симпатичными. Простые парни. Рязанские или курские. Чем они виноваты? По мобилизации, наверно. И руки вот скрестили, хотели поддержать. Но это они напрасно. Я не буду падать. Я вдруг встряхиваю локонами, закрученными перед судом для того, чтобы не осрамиться перед тенью Шарлотты Корде. Потом дружелюбно улыбаюсь конвоирам, которые с удивлением смотрят на меня.

30. «КАТОРГА, КАКАЯ БЛАГОДАТЬ!»

— Обедать вы не будете? — спрашивает меня надзирательница, похожая на сестру-хозяйку. У нее тоже опыт. Она знает, что после приговора люди не хотят есть.

— Обедать? Почему не буду? Обязательно буду,— весело отвечаю я и в ожидании обеда оживленно перекладываю вещи в моем узле. Я слышала, что если приговор не смертный, то в Лефортове не держат, а отправляют обратно в Бутырки. И я с удовольствием жду отправки. Там общая камера. Люди. Товарищи по несчастью. Приносят обед. Не в жестяных, а в эмалированных мисках. Мясной суп и манная каша с маслом. Манная... Гу-манная... Это из гуманных соображений, видимо, такой хороший обед дают приговоренным к казни, которых в этой тюрьме так много. Согласно традициям, оставшимся от гнилого либерала — Николая Второго.

Я старательно съедаю весь обед. Теперь я буду обязательно все есть, хорошо спать, делать по утрам гимнастику. Я хочу сохранить жизнь. Назло им! Я вся охвачена мощным чувством — желанием дожить до конца этой трагедии в нашей партии. Именно в эти минуты я больше, чем когда-нибудь, уверена, что всю партию они не уничтожат, что найдутся силы, способные остановить преступную руку. Дожить, дожить до этих дней... Сцепив зубы, сцепив зубы... Долго повторяю про себя эти слова, и они вызывают в памяти строки Пастернака из поэмы «Лейтенант Шмидт»:

Версты обвинительного акта,
Шапку в зубы, только не рыдать!
Недра шахт вдоль Нерчинского тракта.
Каторга, какая благодать!

Слова эти вдруг потрясают до основания. Настоящая цена поэтических строк проверяется именно в такие моменты. Сердце переполняется нежной благодарностью к поэту. Откуда он узнал, что чувствуют именно так? Он обитатель московской квартиры, «наводящей грусть»... Читаю дальше:

...Остальных пьянила ширь весны и каторги...

Если бы он знал, как его стихи помогают мне сейчас осмыслить и перенести эту камеру, этот приговор, этих убийц с судачьими глазами. Темнеет. Окно здесь тоже закрыто не только решеткой, но и щитом. Почему-то долго не зажигают свет. Скорей бы в Бутырки! Здесь, в Лефортове, из каждого угла смотрит Смерть. Я кладу голову на стол и мысленно читаю наизусть «Лейтенанта Шмидта». От начала до конца. Меня страшно волнуют строки:

Ветер гладил звезды горячо и жертвенно,
Вечным чем-то, чем-то зиждущим, своим...

Я повторяю их много раз подряд и лечу в душную темную бездну. Меня будит все та же сакраментальная формула: «С вещами!» Уж совсем темно. Из-за решетки и щита видны мерцающие звезды. Те самые, пастернаковские. А свет в камере почему-то так и не зажгли. И изо всех углов, со стен, выкрашенных в темно-багровый цвет, на меня ползет Ужас. "С вещами!"

Да, да, скорее. В Бутырки! Они кажутся мне сейчас родным домом. Я уже представляю себе, как уютно будет в большой камере, полной сочувствующими, своими людьми. Пусть эта камера похожа на тонущий корабль. Но ведь все-таки какой-то шанс, что корабль спасется. А здесь, в Лефортове, этих шансов нет. Здесь седьмой круг Дантова ада. Здесь только смерть. И так хочу скорее уехать от опасного соседства с ней. На минуту меня охватывает панический страх. А вдруг они меня зовут сейчас не в Бутырки, а в подвал? В знаменитый лефортовский подвал, где расстреливают под шум заведенных тракторов... Сколько шепталось об этом в общих камерах! Стены этого подвала, наверное, тоже выкрашены темно-багровой краской, и на них незаметна кровь. Невообразимым усилием воли, от которого буквально трещит под волосами, беру себя в руки. Что за чушь! Ведь я сама слышала приговор. Десять лет со строгой изоляцией...

Меня ведут длинным коридором мимо ряда одиночек. Двери, двери... Вниз! Последний раз екает сердце. Неужели все-таки подвал? Нет! Вот в лицо ударила струя чистого ночного воздуха. Двор. «Черный ворон». Меня опять запирают в пахнущий краской ящик, в котором можно только сидеть, но нельзя даже слегка привстать. Машина трогается. Значит, «домой», в Бутырки. Смерть, стоявшая у меня за спиной двое суток, разочарованно отходит в сторону. Я осталась в живых. И теперь, отходя от смертельного ужаса, я теряю власть над собой. Напрасно я снова твержу себе спасительные строки Пастернака: «Каторга, какая благодать!» Больше не помогают. Комок подкатывается к горлу и душит. И я разряжаюсь бурными, неостановимыми рыданиями. Меня охватывает возмущение. Что вы делаете с людьми? С коммунистами? Негодяи! Оказывается, я кричу это вслух. Я начинаю буянить. Колочу изо всех сил кулаками в запертую дверку своей клетки, бьюсь об нее головой. Солдатик, открывший мою дверку, как две капли воды похож на того «пскопского», что в фильме «Мы из Кронштадта». Глуповатое добродушное лицо, приподнятые круглые белесые брови. Слова, которыми он усмиряет меня, сразу выводят из атмосферы Ужаса. Вроде деревенской домашней размолвки.

— Эй, девка! Чо разошлась-то, а? Так реветь станешь, личность у тебя распухнет, отекет... Парни-то и глядеть не станут!

Я счастлива, что он зовет меня на «ты». Значит, мы действительно выехали из зоны смертельной лефортовской вежливости. Я физически ощущаю его доброту, его немудрящее, но такое человеческое сердце. И я рыдаю еще громче, еще отчаяннее, теперь уже не без тайной цели, чтобы он утешал меня:

— Я не девка вовсе, я мать. Дети у меня. Ты пойми, товарищ, ведь ничего, ну ровно ничего плохого не сделала... А они... Ты веришь мне?

— А как же? — удивляется он.— Кабы чего сделала, так рази бы вез я тебя сейчас в Бутырки? Там бы осталась. Да не реви ты, ну! Я, слышь, дверку-то оставлю открытой. Дыши давай! Може, тебе аверьяновки дать? У нас есть... Дыши, дыши, сколь хошь... Никого в машине-то нет... Тебя одну везу, последним рейсом. Забыли было про тебя, а теперь, ровно царевну, одну волоку через всю Москву...

— Десять лет! Десять лет! За что? Да как они смеют? Разбойники!

— Вот еще на мою голову горласта бабенка попалась! Молчи, говорю! Знамо дело, не виновата. Кабы виновата была — али бы десять дали! Нынче вон, знаешь, сколько за день-то в расход! Семьдесят! Вот сколько... Одних баб, почитай, только и оставили... Троих давеча увез.

Я моментально замолкаю, сраженная статистикой одного дня. Масштабы работы видны и в том, как плохо инструктирован конвой. Бедняга, ведь за этот разговор ему самому могли бы... Но я нема как рыба.

— Ну, оразумелась, что ли? Вот и ладно. А то расшумелась, ровно на мужа...

Я выпиваю из его рук «аверьяновку». Мне сразу безумно хочется спать. Машина ритмично потрясывает. Сквозь внезапно спустившийся сон слышу успокаивающий шепот «пскопского»:

— Ни в жисть десять лет не просидишь. Год-два от силы. А там какое ни есть изобретение сделаешь, и отпустят. Домой, стало быть, к ребятишкам...

В его ласковой сумбурной голове фантастически переплелись ужасы сегодняшнего дня и старые слухи о досрочных освобождениях изобретателей. Но мне так хочется ему верить. И вообще как хорошо трястись вот так в «черном вороне», если дверка клетки открыта настежь, а конвоир такой «пскопской» и так плохо выполняет инструкции по обращению с заключенными! И сейчас мы приедем в Бутырки. Каторга, какая благодать!

Публикация А. АКСЕНОВОЙ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В Казани живет Павел Васильевич Аксенов, один из героев хроники «Крутой маршрут», в 30-х годах член ЦИК СССР, член бюро Татарского обкома ВКП(б). Наш корреспондент расспросил Аксенова о его судьбе.

— Я воспоминаний моей жены не читал,— сразу предупредил Павел Васильевич и пояснил: — В заключении мы были в разных местах, а после реабилитации уже не жили вместе. Она вернулась оттуда с другим, и я это одобрял. Так сложилось.

Аксенов, вернувшись раньше жены — шел 1955 год,— стал немедленно хлопотать о ней. В Военной коллегии вся реабилитация заняла минут 10. Вскоре супруги встретились — и расстались.

Это конец истории. А начало таково.

Сын крестьянина Рязанской губернии, Павел Аксенов юношей подался в Москву на заработки, где и «решил заняться революцией». Когда погнали с фабрики — вернулся домой, в Покровское Ряжского уезда. Здесь догнала его сама революция. В 18-м году, двадцати лет, вступил в партию. День вступления хорошо запомнился Павлу Васильевичу благодаря особым обстоятельствам:

— Только привезли из уезда партбилеты на всю нашу ячейку, только мы их роздали, только распределили работу — в тот же вечер известие: эсеры поднялись в соседнем, а потом и в нашем уезде. Наутро мы уже ехали восстанавливать власть в Сапожке и в других местах. Повоевали тогда...

И захватила, и не отпустила уже Аксенова революция. После партийной работы в Рязани — Коммунистический университет в Москве. Здесь слышал Ленина. Однако недоучился, отправили на фронт, в Крым, политработником в армию.

А в 20-х куда только не перебрасывали: из Донбасса в Рыбинск, после в Нижний Тагил. Агитация — пропаганда. Вообще обычная партийная биография.

— В Рыбинске «попал в плен». Опутала одна чертовка,— смеется.

Первая жена, она тоже окажется потом в лагерях — Аксенов не будет того ведать — и погибнет...

В Рыбинске же началась дружба с Михаилом Осиповичем Разумовым, дальше вместе. Вместе и в Казани в начале 30-х, в самое тяжелое время.

— С приездом Разумова первым секретарем Татарского обкома в республике стало легче,— утверждает Павел Васильевич.— Не так голодно. Успевал он везде, даже самолетом научился управлять. За святого его почитали и татары, и русские.

Что ж, судьба была одна у тех и у других. Ломались жизни и судьбы. Ломались — символично! — и церкви, и мечети.

— Ломать общая директива центра была,— говорит Аксенов.— Сталин.

Со Сталиным довелось познакомиться в те же годы.

— Узнали в Казани, что Разумова переводят от нас. Поехали в Москву просить. Председатель ТатЦИКа, председатель Совнаркома и я. Но принимал нас Хозяин по одному. По одному обругал: «Зачем пришел? Мешаешь работать!» — по одному выставил. Но Разумова все же оставил в Татарии до 33-го года.

Вместе с Разумовым был Павел Васильевич делегатом XVI съезда партии. Именно там, когда в перерыве пошли выпить чаю, Михаил Осипович и познакомил Аксенова с Евгенией Гинзбург.

— «Смотри,— сказал,— какая женщина идет». Он сам хотел жениться на ней, да я увел. Она приехала ко мне в Казань, и вскоре мы поженились.

В оценке происходящего в связи с «культом» супруги расходились, об этом можно прочесть у Гинзбург. А как относился Аксенов к Сталину?

— Сталин никогда не был ни коммунистом, ни социал-демократом,— Павел Васильевич вскакивает с места,— и я всегда его осуждал. И на XVII съезде голосовал против Сталина. За Кирова.

XVII съезд... После голосования объявили перерыв. Сталин, злой, ушел. Делегаты были возбуждены. Кирова стали качать. Аксенов слышал его раздраженное: «Не надо всего этого. Пусть будет кто-нибудь другой!»

Тучи сгустились над Аксеновым вскоре после ареста жены и в связи с этим арестом. Аксенова вызвали в Москву, в ЦИК, по его «делу». Обстановка: знакомого, с которым он ехал, арестовывают тут же по прибытии. Но сам Павел Васильевич в тот раз арестован не был. «Мы знаем Аксенова»,— отрезал Калинин на заседании партгруппы Президиума ЦИК. А потом все заседание отправилось на похороны Орджоникидзе.

На похоронах опять, в последний раз, встретил Разумова, уже работавшего в Иркутске. Михаил Осипович, член ЦК, был делегатом февральско-мартовского Пленума.

«Какие дела у вас на Пленуме?»

«Какие дела! Одно... убийство! Привозят арестованных товарищей. Говорит один Сталин. Мы сидим, молчим. Сталин их поспрашивает и дает директиву: на ликвидацию. «Что же вы, коммунисты, молчите?» «Эх, Павлушка, Павлушка... Одна мысль: самим спастись». «Я пойду завтра в ЦК». «Пустое, не ходи».

Разумов не спасся. Павел же Васильевич был арестован по возвращении в Казань.

Первый секретарь обкома Лепа дал добро на арест. А вскоре свиделись в тюремном коридоре. Лепу несли на носилках: он узнал Аксенова и кричал: «Замучили меня». Позднее от него передали Павлу Васильевичу «прости». Лепа оговорил себя и погиб, как другие.

— А я выдержал,— продолжает Аксенов.— Ко мне все «меры» применяли. Танцевать на горохе, например... А то вдруг: «Аксенов, Пал Васильич, садись-ка!» «Что ж, бить будете?». «Да били уж тебя немало. Чайку давай выпьем». Подъезжали по-всякому! Я их по именам-то не помню, что с ними — не знаю... И... не осуждаю. Подневольные были. Многие были несчастные люди. Многие и сами погибли потом. Но, конечно, были и сволочи. Только сволочей было больше в обкоме, например. Проклинали товарищей, доносили, попросту подсиживали. Посидит такой недели две на чужом месте — глядишь, и сам туда же попал...

Судить Аксенова приступали трижды (здесь же, в Казани). Все отрицал: «Черта с два! Я был коммунистом!» Мать добилась свидания, говорила: «Не бойсь, без божьей воли ничего не может быть. Не даст тебя бог на съедение».

Мать не тронули ни тогда, ни потом. Дочь Майю приютили после ареста Павла Васильевича родственники. Она пройдет войну, станет офицером, в мирные годы будет преподавать. А вот Василия, сына...

— Был день его рождения, Васьки, пять лет. В 12 ночи за ним приехали и забрали в детский приемник. Там он, во всему, должен был умереть. Брат мой, а его дядя, Адриан Васильевич, чудом вызволил его. Ходил на Лубянку, добился как-то. А ведь сам был с клеймом «брат врага народа», без работы. Добился! Забрал Ваську. Еще день-другой, поздно было бы, упал бы мальчишка и не встал...

...Но это было позднее, а тогда суд, с третьего захода, вынес Аксенову приговор: расстрел. Перевели в тюрьму для смертников. Потянулись дни ожидания. И ночи!! — уводили-то ночами. Но почему-то продолжали ходить следователи: «Что ты за человек такой, Пал Васильич? Все признаются, один ты...», «Подумайте лучше, что самим придется признаваться, как с людьми... безобразничали!»

— В камере самое большое дело было — борьба с мухой, каждое утро. А если серьезно, то книги. На мою просьбу сначала сказали «нету». «Как нет? Вы ж пол-Казани ограбили!» Принесли.

Читал много, пока... не отправили по этапу. Как случилось, что заменили приговор, почему — не знает, не понимает Павел Васильевич. Может быть, потому, что так твердо держался?

Как бы ни было, последовали двадцать лет лагерей.

— Не так плохо мне там было,— серьезно говорит Павел Васильевич.— Стал знаменитым бухгалтером и нужным человеком. Когда при оформлении реабилитации в ЦК спросили: мол, не совсем умер еще? — я ответил: «Нет, я с начальством иногда дружил». Один начлаг, к примеру, все советов просил, все Павлом Васильевичем называл, Я ему: «Какой я вам Павел Васильевич? Неудобно! Я зэк!» А он мне: «Нет, Павел Васильевич, я вас уважаю». Неплохо жилось.

Так ли? Недаром в этом месте рассказа вмешалась все время присутствовавшая супруга Аксенова, Зинаида Андреевна: «Ты расскажи, Павел Васильевич, что у тебя с ногами-то было!»

Что было?.. Черные стали. Как болезнь называется, Аксенов не знает. А только он умирал. Положили в лазарете кончаться, никакой помощи, просто «списали» уже. А он на карачках уполз. Добрые люди спрятали, откормили картошкой, сырой картошкой. За неделю встал на ноги. Правда, гимнастику для ног Павел Васильевич делает и сегодня. Ну и хватит о том. Всякое было, мало ли...

Смотрю на Павла Васильевича, ищу в нем приметы твердокаменного человека и не нахожу. Конечно, возраст... Девяносто лет, без нескольких месяцев. Но и возраст не ощущается, когда Аксенов срывается с места, становится посреди комнаты и, энергично жестикулируя, говорит что-нибудь самое важное. «И комиссары в пыльных шлемах»,— невольно приходит на ум. Смотришь почти завороженно.

— Вот, молодой человек,— голос Зинаиды Андреевны выводит из оцепенения,— что значит «уметь жить»...

Молчим.

— И запомните: сырая картошка. На всякий случай.

Думаю, не понадобится!

Рустам РАХМАТУЛЛИН.

Испытательный стенд

29 июня в «Литературной газете» с диалогом «Прогулки по парку» выступили поэты Иван Жданов и Мухаммад Солих, чьи стихи вы встречали и в нашей рубрике «Испытательный стенд». Случайно ли, что этот диалог появился в дни работы XIX партконференции? Может, просто совпадение? И все-таки сама возможность высказаться — в духе времени.

Поиски поэтов «новой волны» не сводятся к необычности формы. Так не бывает. В свое время Маяковский «объяснял» Пушкину, что придется «бросить ямб картавый» потому, что «нынче наши перья — штык да зубья вил», то есть революции не до «звуков сладких и молитв». Завтрашнее было для Маяковского воплощением прогресса, утопически светлое будущее в пьесе «Клоп» наступало через пятьдесят лет — в 1979 году... Мог ли он подумать, что Вознесенский воскликнет: «все прогрессы реакционны, если рушится человек»? Поэты-«шестидесятники», в свою очередь, испытали мощный подъем гражданской активности, но наступило разочарование «эпохи застоя», девальвация лозунгов, отвращение к прекрасной фразе, бодрой риторике. Теперь пора искать пути к тому, чтобы вернуть доверие к слову. Поэты «новой волны» уже не «агитируют», каждый говорит с самим собой и судьбой — пусть достоинства такой речи спорны, зато нет демагогии!

Не скрою, в редакции были споры: «Испытательный стенд» предполагает все-таки, что поэты молоды, а тут «Компьютер любви» Константина Кедрова, которому уже за сорок, да и сама вещь написана давненько — с тех пор автор активно утвердил себя как критик и литературовед... К тому же стихи ли это? Без начала, без конца, нанизывание странных метафор, так и просится в пародию... Дескать, если это стихи, то так можно писать километрами. Можно ли? 75 лет назад Алексей Крученых напечатал известное «Дыр бул щил...». Почему же с тех пор не стали писать так, километрами? А потому, что в искусстве время от времени возникают крайности, которые имеют «одноразовый» характер. Не важно, как это назвать, важно, что стало фактом, своего рода манифестом, оказавшим воздействие на определенное направление. Крученых был крайним выражением той поэтической установки, которая блистательно воплотилась в словотворчестве Велемира Хлебникова, в находках раннего Маяковского. Непечатающийся Николай Глазков оказал освежающее воздействие на молодых поэтов пятидесятых годов. Через десятилетие так «действовали» непечатающиеся Высоцкий, Галич, Бродский. Так еще через десять лет стали «действовать» возвращающиеся из небытия Хармс, Введенский, Олейников... Так в конце семидесятых «застойных» годов родилось вызывающе свободное сочинение Константина Кедрова «Компьютер любви», рассчитанное на встряску, на раскрепощение сознания, ломку рациональных стереотипов — вот вам поток, вольная игра ассоциаций, подстегивающая воображение... Чтобы выправить, иногда приходится перегнуть в другую сторону. В противовес мертвому, казенному языку недавних лет — полное неприятие каких-либо канонов...

Подобная установка стала объединять таких разных поэтов, как И. Жданов, А. Парщиков, Н. Искренко, А. Еременко, В. Друк, с которыми вы познакомились в прежних подборках «Испытательного стенда», и тех, кто выступает в нынешней, и тех, которые еще предстанут перед вами. Поэзия возвращает себе широту диапазона. Правда, есть и утраты — новых лириков почти нет. Большинство — приверженцы интеллектуальной поэзии с ее сарказмом, пересмешничеством, герметизмом (в конце века — перекличка с началом века!). Интереснейшие явления происходят и в поэзии наших республик. Это значит, что «Испытательный стенд» не прихоть журнала, не искусственная затея, а отражение действительного процесса, из которого выделяются и будут выделяться яркие творческие личности (как всегда, немногие из многих). Выход к читателю необходим, становление таланта немыслимо без «окружающей среды», без борьбы за право быть собой и без борьбы с самим собой. От каждой «новой волны» остается только то, что на новом витке спирали возвращается к тому же призванию поэзии, которое завещано нам Пушкиным (в жестокий век — чувства добрые, свободу, милость к падшим). Хотя наш век куда более жесток, чем пушкинский.

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Татьяна ВАСИЛЬЕВА

Воспоминание о выпускном

Я девочка в розовом платье, надетом на юное лето,
и светится речка ночная
ночным кимберлитовым светом,
а город за школьной стеною,
мой праздник, сияет со мною.
Вокруг одноклассников лица, а музыка все нарастает.
Ах, мой пароходик не тонет, ах, мой пароходик не тает.
Мне кажется, я улетаю на набережной у вокзала,
и множатся тайным хоралом орлиные крылья вокзала;
рогатое страшное что-то проносится, груда металла.
Мне кажется, я улетаю у Киевского вокзала.
Прими меня, речка ночная, я буду великой актрисой,
я буду еще Катериной, и я еще буду Ларисой,
я так свою жизнь проиграю на поле на Бородинском,
что пусть меня гордо венчает короною
мост Бородинский.
Я буду еще отражаться, в реке моей отражаться,
я буду над ней продолжаться; я буду, я буду сражаться,
и там, где над речкою черной стучат поезда неустанно,
я буду шальная девчонка, я буду Еленой и Анной.
Но я о судьбе не узнаю, нет, я не узнаю об этом,
и движется белый кораблик
вдоль черных ночных парапетов,
и движется белый кораблик по речке к университету,
а город за школьной стеною,
мой праздник, сияет со мною.

Сергей СОЛОВЬЕВ

☆☆☆

Если верить позднему Витгенштейну,
мир человека есть мир языка:
будь то Непорочная Дева
или стакан портвейна,
юное небо или плавающий музыкант.
Сухой музыкант или музыкант мокрый —
мир есть то, что о нем говорят.
Вводится термин «языковые игры» —
«наука», «религия», «диамат»...
Игра «Путь», игра «Икс», игра «Проза»,
игра в плотно прилегающих ОЗКа.
Все т. н. «проклятые вопросы»
лежат за пределом возможностей языка.
Например, когда я приближаю глаза к глазам ее,
пытаясь понять, в чем смысл жизни наверняка,—
небытие определяет мое сознание,
балансируя на кончике языка.
Еще даосы эту пограничную зону определили,
стремясь к невесомости, отшлифовывая собственный киль:
«Когда Тысячеокий говорил о Пыли,
он говорил о ней, как Не-о-пыли.
Поэтому мы называем ее «Пыль».
Если от Витгенштейна идти
в направлении новой веры,
отдаляясь от лунного кружева
отблескивающих дорог,
можно предположить конец языковой эры,
обозначив нынешнюю ситуацию, как Порог.
Можно предположить предстоящую эру Молчания,
постепенное редуцирование языковых вех,
начиная с декора и дальше —
к энергетическому переключению
на канал чистого восприятия
и транслирования без помех.
Т. е. человек из кокона
выходит на космическую площадь,
обретая движение без костылей языка.
Тогда происходящее в лучших из нас
становится всеобщим,
т. е. этап духа сменяет эру «Язык и рука».
Тогда ветвистое языковое зеркало
уходит в прошлое,

и ты не прижимаешься больше лицом к стеклу,
а видишь сущности открытыми в их сложности,
и диким кажется, что ты похожа на Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ,
и диким кажется, что колокол похож на звон ПО КОМ,
что мир похож на БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ,
что миг похож на ГРУСТНО И ЛЕГКО,
и что любить тебя похоже на ЛЮБИТЬ.

г. Киев

Юлий ХОМЕНКО

☆☆☆

В старых домах поселяются сказки
Там, где окно без стекла и замазки,
Там, где полы без паркетов, ковров,
Двери — не двери и крыша — не кров.

В старых домах поселяются боги,
Парят простуженно старые ноги
В старых железных и ржавых тазах,
Где нас купали в тридцатых годах.

В старых домах поселяются птицы,
Псы без породы и нищие принцы.
Нам не забыть их заброшенной тьмы —
В их паутине запутались мы.

Вера ВОЛКОНСКАЯ

Переделкино

И как будто падают на меня эти сосны,
и качают колючими головами,
и скрипят укоризненными руками,
и рвется виноватая нить...
Говоришь — начать заново.
Возможно ли начать заново?
Ведь вывернутые корни черные,
хоть дождь их кропит, не отмываются.

☆☆☆

Почему ты не Сальвадор Дали?
А ведь меня ждет участь русского поэта...
Его жирафы желтее там, чем здесь,
а здесь они гуманнее.
О, свобода!
И как мы умещаемся
в одной капле воды?

Аркадий ДРАГОМОЩЕНКО

Возвращенье Григория Сковороды

Nam mea trustra genitrix enixa fuit. ni[1]
Tu gunuises me, o lux mea, Vita mea.
G. SKOVORODA

Сидел и вишни ел, а коршун в теплом небе,
что золотилось полем на закате,
Слезился острой точкой. Рос зеркальный пар
в речной излуке смутными кустами,
а косточки он складывал у ног,
как будто те могли сродиться ему в грядущем.
Складывал у ног (корням подобных, черным и корявым)
не тяжких, впрочем, вовсе, точно сок движенья,
кипевший некогда, погас, оцепенел,
и стебельки пространства шелестели нежно
в том, что еще именовалось горлом,
сухую, как стерня, перерастая кровь.
Да, это я иду,— промолвил.— Это мне травою.
Стопы легки так странно, будто и не были, но только
нитью желтой беспокойства снились,
когда какое-то шумело колесо и сыпалась мука,
и ветер рвал угрюмо
свечей жар из руки и с яблони цветы.

Не забывал он, что бывают сны. И в каждом теле
вьют гнезда, словно птицы в осокорях,
птенцов выводят,
те кричат надсадно,—
так помнилось. Вернее, забывалось.

И остров памяти блаженно обтекая
песками светлыми
мерцающего тела,
он вишни ел.
А коршун между тем висел у солнца.
А оно, багрово, звезде полей сродни,
над кровом возведенной,
не двигалось в заснеженных глазах,
хотя и уходило.
Медью глина в коснеющих краснела колеях,
и с горстью вишен,
в кулаке зажатых поистине с усильем смехотворным,
он по дороге изумленья шел.
А Тот, Кто осиял серпом
путь возвращенья над холмами,
по милосердью, мера чья не имеет меры,
ему позволил о себе не думать
в прозрачный жатвы час
и только слушал,
как дух Григория, сжигая клочья муки,
печать печали совлекая,
как бы ветвями детскими тянулся,
дабы припасть к живительному жалу
в руке жнеца,
блистающей, как утро...
Припасть,
и боле ни о чем не знать.

Илья КУТИК

Оса Часа

1

Оса, полировщица стекол,
какая подпала вожжа
под кукольным куполом Часа
тебе заточаться, жужжа?

Ты жалишь, как фосфорный камень,
покамест его наугад
глухое кукушкино àmen
вбивает в ночной циферблат.

И в клюве ее, средь расщепа,
дрожишь ты, как контур зеро
меж круг урезающих слепо
двух стрелок, когда они, про

исход памятуя, по схеме
вступают в последнюю треть,
чтоб Часа холодное семя
в минутных объятьях согреть.

Но вдруг, озаботившись ходом
дальнейшим, скажи-ка, не ты ль
приводишь жужжащим заводом
в движение всю их латынь?

---

[1] Разве стоило бы рожать меня моей матери,
если бы не породил меня ты, о Свет мой, Жизнь моя.
Г. Сковорода (Из письма К. Ковалинскому (*лат.*))

Не ту, на какой в перепалке
гудели щиты, когда Флакк[1]
свой на землю кинул, и жалкий
латунный его переляк,—

а неприземленную эту,
похожую, если на щит,
то весь как бы в оспинках света
и строчкою стрелок прошит.

2

Какое названье у нити,
что запросто и свысока
проходит сквозь все перекрытья
классического потолка?

О, как застонала Даная[2],
когда между девственных ног,
та нить заскользила двойная,
и в лоне увяз узелок!

И где уж тут было узнать ей,
чьего это семени знак,
но слуху в минуту зачатья
внезапно почудилось, как,

у Часа томимая в плене,
вращается, жалко гнуся,
оса на оси нетерпенья,
пока не раскрутится вся:

жужжащая прялка Кронида[3],
чья золотожилая нить
отцу за сыновью обиду
сторицей старается мстить.

И нет циферблата, ни даже
его отдаленных границ,
и стрелки из натканной пряжи
торчат наподобие спиц.

3

Ah tout est bu! Bathylle, as-tu fini de rire?

Pols VERLAINE[4]

Осы полосатые гетры,
обутые в шалый удар,
не выбьют в паху разогретый
свинцового семени шар.

Он звоном ответит на каждый
пинок, ибо прошлое для
грядущего сковано жаждой,
похмельною чарой ноля.

Нам нолито в те же бокалы,
и чуть эта полночь пробьет,
стекло, как певица Ла Скалы,
скривит свой оскаленный рот.

Нам нолито в те же бокалы,
мы пьем из отверстых нолей.
Батилл, надвигаются галлы,
ты, главное, влаги налей.

Мы не волокем по-латыни,
но, брезгуя властью и злом,
как цифер цари золотые,
мы правим за круглым столом.

И нет циферблата над нами,
мы сами себе небеса,
а выпьешь — всплывет меж губами
утопленница-оса.

[1] Квинт Гораций Флакк
[2] Персонаж древнегреческого мифа
[3] Имеется в виду Зевс
[4] Все выпито! Что тут, Батилл, смешного? Поль Верлен. (Пер. Б. Пастернака.)

Тимур КИБИРОВ

Вступление

Пахнет дело мое керосином,
керосинкой, сторонкой родной,
пахнет «Шипром», как бритый мужчина,
и, как женщина,— «Красной Москвой»

(той, на крышечке с кисточкой), мылом,
банным мылом да банным листом,
общепитской подливой, гарниром,
пахнет булочной там, за углом.

Чуешь, чуешь, чем пахнет? — Я чую,
Чую, Господи, нос не зажму —
«Беломором», Сучаном, Вилюем,
Домом отдыха в синем Крыму!

Пахнет выварной, стиркою, синькой,
и на ВДНХ шашлыком,
и глотком пертуссина, и свинкой,
и трофейным австрийским ковром,

свежеглаженым галстуком алым,
звонким штáндером на пустыре,
и вокзалом, и актовым залом,
и сиренью у нас на дворе!

Чуешь, чуешь, чем пахнет? — Еще бы!
Мне ли, местному, нос воротить! —
политурой, промасленной робой,
русским духом, едрить-колотить,

вкусным дымом пистонов, карбидом,
горем луковым и огурцом,
бигудями буфетчицы Лиды,
русским духом, и страхом, и мхом,

заскорузлой подмышкой мундира,
и гостиницей в Йошкар-Оле,
и соляркою, и комбижиром
в феврале на холодной заре,

и антоновкой ближе к Калуге,
и в моздокской степи анашой.
Чуешь, падла, чем пахнет? — и вьюгой,
ой, вьюгóй, воркутинской пургой!

Пахнет, Боже, сосновой смолою,
ближним боем да раной гнилой!
Колбасой, колбасой, колбасою!
Колбасой, все равно — колбасой!!

Неподмытым общаговским блудом
и бензином в попутке ночной,
пахнет Родиной — чуешь ли? — чудом,
чудом, ладаном, Вестью Благой!

Хлоркой в пристанционном сортире,
хвоей в предновогоднем метро,
постным маслом в соседской квартире
(как живут они там впятером?

Как ругаются страшно, дерутся...)
Чуешь? — Русью, дымком, портвешком,
ветеранами трех революций
и еще — леденцом-петушком.

Пахнет танцами в клубе совхозном
(ох, напрасно пришли мы сюда!),
клейкой клятвой листвы, туберозной
пахнет горечью, и никогда,

навсегда — канифолью и пухом,
шубой, Шубертом... Ну, забодал!
Пиром духа, пацан, пиром духа,
как Некрасов В. П. написал!

Черным кофе двойным в ЦДЛе
— Врешь ты все! — Ну, какао в кафе.

И урлой*, и сырою шинелью
в полночь на гарнизонной губе,

хлорпикрином, заманом, зарином,
гуталином на тяжкой кирзе,
и землею родною, и глиной,
и судьбой, и пирожным безе.

Чуешь, чуешь, чем пахнет? — Конечно!
Чую, нюхаю — псиной и сном,
сном мертвецким, похмельем кромешным,
мутноватым грудным молоком!

Пахнет жареным, пахнет горелым,
аллергеном — греха не таи!
Пахнет дело мое, пахнет тело,
пахнут слезы, Людмила, мои.

Ольга РОЖАНСКАЯ

☆☆☆

А какого вы, ребятушки, роду-племени?

— От Бориса, от Глеба,
От овчинки в полнеба,
От дуги, коромысла
Да от галльского смысла;
От Нерчинска, от Шилки,
Где кушают без вилки.

А что вы, ребятушки, на земле делали?

— Пили да ели,
В бумагу смотрели,
По пятым, двадцатым
Считали зарплату;
И научились при помощи электричества
Переводить качество в количество.

А чего вам, ребятушки, от меня надобно?

— Чтоб пожар выше ели,
Да портки не сгорели;
Чтоб к чинам бы да еще души,
А на вербе — да груши,
К временам бы — да связи,
К воротáм бы — да князи.

☆☆☆

Нас учил философ вдохновенный
Истине, сверкающей, как солнце.
— Холодно козлику в тумане!
Страшно молодому под звездáми!

Изучай геометрию, мальчик!
Слышишь, как поют, вращаясь, сферы?
(Холодно козлику в тумане!
Страшно молодому под звездами!)

А иные погибли за свободу.
Имена их вовеки будут славны.
Холодно козлику в тумане,
Страшно молодому под звездами...

☆☆☆

Жил Гершеле-портной. Он был не низок духом.
Он распорол пиджак, а сшить его не мог.
Бесплодная земля ему да будет пухом!
Пиджак он распорол, но духом был высок.

Не надо говорить, что он портной неважный,—
Не всякие нужны правдивые слова.
Он выпил бытие стыдливо и протяжно,
И спину распорол, а после — рукава.

Жил Гершеле-портной в своем родном местечке.
Он мир бы распорол, да только Бог упас.
Его большой кадык теперь приняла вечность.
Он духом был высок, как ни один из нас.

Константин КЕДРОВ

Компьютер любви

Небо — это ширина глаза
глаз — это глубина неба
боль — это прикосновение бога
бог — это прикосновение боли
Свет — это голос тишины
тишина — это голос света
мысль — это немота души
душа — это нагота мысли
нагота — это мысль души
Свет — это глубина знания
знание — это высота света
Христос — это солнце Будды
Будда — это Луна Христа
Конь — это зверь пространства
кошка — это зверь времени
время — это пространство свернувшееся в клубок
пространство — это развернутый конь
Солнце — это тело луны
тело — это луна любви
Пароход — это железная волна
вода — это пароход волны
Печаль — это пустота пространства
радость — это полнота времени
Человек — это изнанка неба
Небо — это изнанка человека
Женщина — это нутро неба
Мужчина — это небо нутра
Женщина — это пространство мужчины
время женщины — это пространство мужчины
Любовь — это прикосновение бесконечности
вечная жизнь — это миг любви
Корабль — это компьютер памяти
память — это корабль компьютера
Море — это пространство луны
пространство — это море луны
Звезды — это голоса ночи
голоса — это звезды дня
Корабль — это пристань всего океана
океан — это пристань всего корабля
Кожа — это рисунок созвездий
созвездия — это рисунок кожи
горизонт — это ширина взгляда
взгляд — это ширина горизонта
Высота — это граница времени
ладонь — это лодочка для невесты
невеста — это лодочка для ладони
Верблюд — это корабль пустыни
пустыня — это корабль верблюда
Любовь — это неизбежность вечного
вечность — это неизбежность любви
Красота — это ненависть к смерти
ненависть к смерти — это красота
Созвездие Ориона — это меч любви
Полярная звезда — это точка взгляда
взгляд — это ширина неба
небо — это высота взгляда
мысль — это глубина ночи
ночь — это ширина мысли
Каждая звезда — это наслаждение
наслаждение — это каждая звезда
пространство между звездами — это время без любви
любовь — это набитое звездами время
время — это сплошная звезда любви
Люди — это межзвездные мосты
мосты — это межзвездные люди
Расстояние между людьми заполняют звезды
Расстояние между звездами заполняют люди
Любовь — это скорость света,
обратно пропорциональная расстоянию между нами,
расстояние между нами,
обратно пропорциональное скорости света,—
это любовь.

* Проходимец (жарг.)

Виталий КАЛЬПИДИ

Невнятное признание

(Поэтам, чья юность пришлась на 70-е годы)

Зачехлена трава. Вернее, шум травы
примят глухонемым движеньем снегопада.
Все это хорошо. Но знаете ли вы:
ни снега, ни травы нам на земле не надо.

Попробуем сказать: «Тут падала трава,
здесь рос огромный снег»,— ничто не изменилось.
(Как насекомые — на лист — ползут слова —
от тяжести бумага накренилась).

Смотрите: жизнь прошла, как тетка в магазин,
а мы еще прикованы к застолью.
Нам невдомек расплачиваться болью,
мы не умрем, пока не досидим.

Мы плодородию сумели доказать,
что яблоко от яблони упало
так далеко, что ты пиши пропало,
солгав, «что у тебя живут отец и мать,
которым наплевать...» — гляди, и ложь устала.

Вот Пушкину не нужен логопед,
а мы до наглости косноязычны.
Ни снега, ни травы не нужно. Нужен свет,
который нас сведет практически на нет,
как профессионал, застукав нас с поличным...

☆ ☆ ☆

Памяти Андрея Тарковского

...и что кроты наследники Гомера
и норы их длинней, чем Илиада.—
такой расклад, поверь мне, не химера,
хотя на слово верить мне не надо.

Убитый снег упал лицом на поле.
Кто был охотник, кто дуплетом бил,
кто говорил, что есть покой и воля?

Я это никогда не говорил...

г. Пермь.

Виктория ВОЛЧЕНКО

☆☆☆

Мы стояли на коленях
поутру в молельном доме,
восклонившись головами,
каждый думал о своем.

Сквозь дрожащие ресницы
я тихонько наблюдала
Ваши сомкнутые губы
и морщинки у виска,

эти руки камнетеса,
что зависли непривычно
вдоль подрубленного тела,
словно мертвые крыла...

(Богомольные старухи
заунывно и обычно
лет у господа просили,
и здоровья, и тепла.)

Я решила: «Что за дело
мне до вашей богадельни?
Мы с любимым на коленях
перед Господом стоим!

Ах, оставьте ваши крыши,
песнопенья, многостишья!..
Только тех Господь услышит,
кто любви не утаил».

☆☆☆

Белозубый гость —
Белокаменной весть!
Обветшал погост —
чей-то крест? — Бог весть.

Чья-то стать ушла,
что вода в песок,
пулей — в купола,
птицею — в висок?

Небеса небес
в коло-кол звонят.
И ни бог, ни бес
не спасут меня.

Зацелован лоб,
и во тьме глазниц
развернулся плод
головою вниз.

Упадет ладонь
во тепло плеча —
затрещит подол,
трупик волочa...

Белозубый гость —
Белокаменной смех!
Ссыпь орехов горсть
в старой шубки мех,

подноси ко рту —
в облаках витай! —
в аэропорту
ребятне раздай...

г. Краснодар

Сергей ЧЕТВЕРТКОВ

☆☆☆

Попробуй время расползания окурка
в июльской луже с радужным разводом
помножить на количество теней,
скользнувших по прохожим за день
во всех аллеях Городского сада.
Полученное подели на сумму
двух расстояний: от седьмой строки
сейчас читаемого стихотворения
до самой крайней точки, до которой
доходит рев автомобильного клаксона;
и от поблескивающего крылышка пчелы,
присевшей отдохнуть на подоконник,
до центра тяжести железнодорожного состава,
в эту минуту уходящего с вокзала.
Что получилось вновь помножь на точный
(вплоть до долей секунд)
свой возраст.

Итогом долгих вычислений будет
число, вмещающее все:
цель жизни, ее тайный смысл, дату конца
и проч., и проч., и проч.
Хотя, возможно, лишний труд все это:
ведь то же самое наверняка содержит
какая-нибудь и иная цифра,
быть может, эта: 160349,09
или просто: 9;
или не цифра,
а обыденная фраза:
«в каком ухе у меня звенит?»,
или союз «когда»,
или молчанье.

г. Одесса.

Евгений ПОПОВ

ТЕТЯ МУСЯ И ДЯДЯ ЛЕВА

Медитация в универсаме Теплого Стана

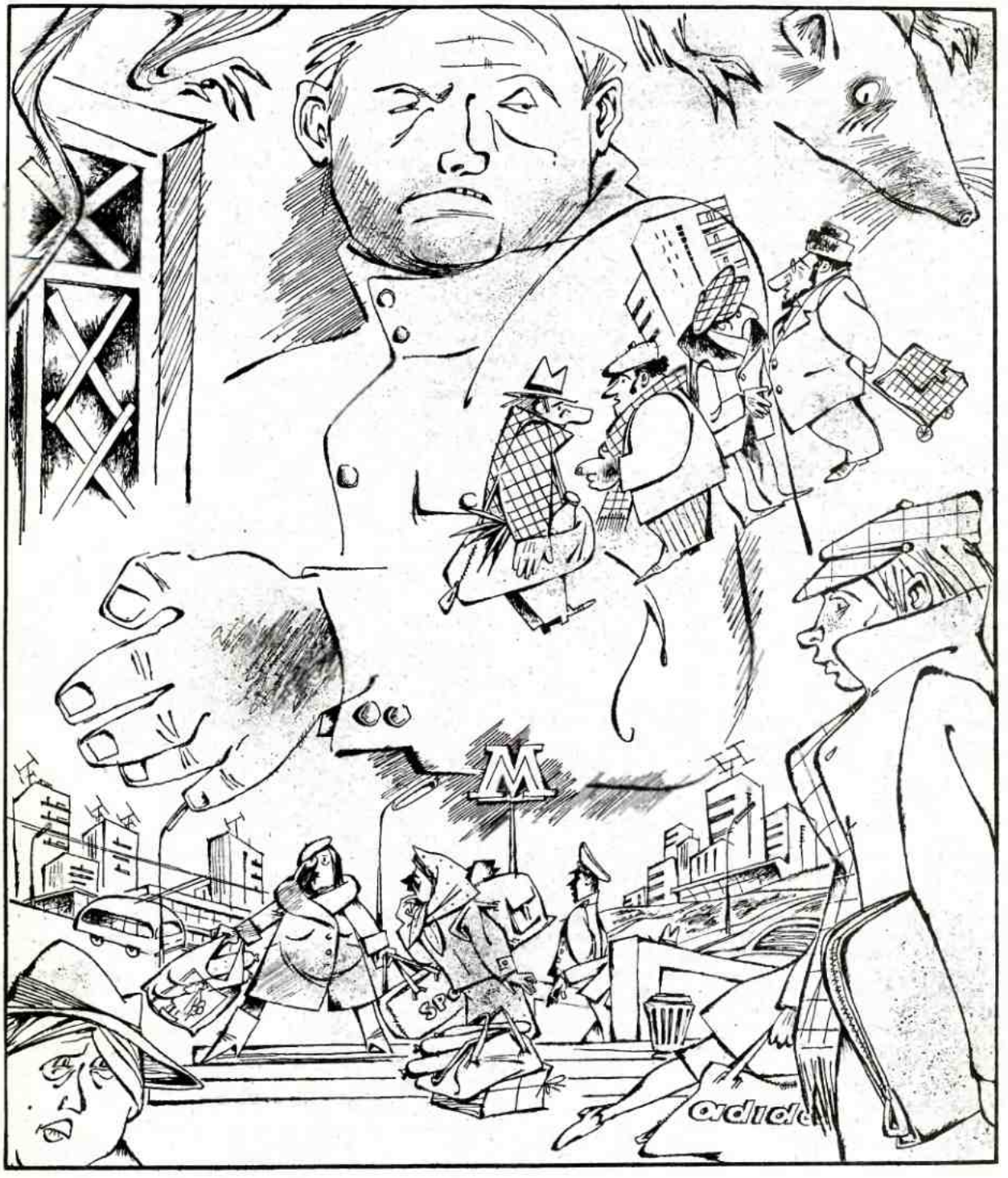
БОРМОТАНИЕ ИЗ ОЧЕРЕДИ. — Теплый Стан и прилегающие к нему окрестности — это есть очень замечательный сектор столицы. Тут можно встретить знаменитых московских людей: они запросто гуляют по асфальтовым его тротуарам и тенистым просекам. Я лично сам видел из окна автобуса № 552 философа Ваткина, неоднократно пил чай у своего друга Корифеева Вик., исключенного по не зависящим ни от кого обстоятельствам, гостил у концептуалиста Дмитрия Александровича Пирогова, и тот сообщил, что неподалеку прописан поэт Леничамский, не печатающийся за границей, ехал в метро с комиком Шéвченко. Шéвченко расхвастался: у него, дескать, недавно ночевал на полу сам Андрон Фитов, ленинградский интеллектуал, ныне осевший в Москве... Поэт Курбчевский, историк культуры Ханчев, эрудит Каверинцев, уезжающий Гробс — все здесь живут, так уж получилось, в кооперативных девятиэтажках, почему, не знаю...

И знать не хочу. Человек бедный. Функция — бормотать. Выводов, обобщений — не надо. Баба в чистом белом халате с багровым шрамом через всю щеку, очень милая, наступающий День Советской Армии, югославский магазин «Ядран», пьяная морда на углу — вдруг акценты расставишь неточно, и опять скандал. Уж и ругали, стыдили, а кто поверит, что таил нервное измученное сознание, упорно боролся с психастенией отчуждения, творил мир более высокого энергетического уровня, сам будучи робким до идиотизма, малоконтактабельным. Но в тридцать три года, когда слез с печи, как Илья Муромец, зачем, допустим, описывать плохое, хоть и в целях наилучшего устройства, когда опять скажут, что развел порнографию духа, зло воспевает, являясь цветком его... Мне это надо?..

И ОКРЕСТ ГЛЯДЕЛ, и взору предстало изобилие, от коего зарябило в зрачках. Надписи синеньким по белой пластмассе, соответствующие содержанию: «Мясные товары», «Молочные товары», «Бакалейные товары», «Рыбные товары», «Овощи», «Фрукты», «Прохладительные напитки». Автобусы с иногородними номерами: тверскими, калужскими. Есть? Есть. Правильно? Правильно. Рассказ без вранья, но и без обобщений, ибо кто множит познание, множит скорбь. Как объясняли недавно в одном учреждении, куда залетел по не зависящим ни от кого обстоятельствам. А товару хватит всем.

И окрест глядел, и задумался, стоя в небольшой очереди перед большой кассой. Тетя Муся, жена дяди Левы, крематорий № 2, где сожгли тетку сырой осенью 1977 года,— громадное железобетонное здание, построенное по последнему слову немецкой науки и техники, напряженная дорога по кольцевому шоссе из Химок Московской области, где супруги проживали в однокомнатной квартире на улице Маяковского, дом 28. Непосредственно перед кончиной одного из них, то есть тети Муси... Вспомнил, вспоминал, но при отсутствии суммарной совокупности знаний и ясной идеологии мысли путались, рвались, тем более что дядя Лева после смерти тети Муси куда-то начисто исчез, а номер его телефона тоже был утрачен и тоже по не зависящим ни от кого обстоятельствам, как ни грустно в этом признаваться.

Путались, рвались, однако фрагментарно медитировалось, как дядя Лева, перепив за ужином в 1976 году, велел тете Мусе достать с верхотуры зеркального шкафа пыльный баян, и заиграл, и запел какую-то щемящую сердце советскую песню, после чего вдруг страшно заскрипел зубами и принялся озлобленно ругать «бериевских бандитов», из-за которых он, как это следовало из ругани, оказался на Дальнем Востоке. Параллельно дядя Лева излагал свою концепцию известных событий новейшей истории: во всем виноваты троцкисты, руководимые Троцким, настоящая фамилия которого не больше, не меньше, как Бронштейн, что учение Бронштейна — страшная опас-



ность для всего прогрессивного человечества, ибо связано с китайским гегемонизмом, корни же свои ведет от международного сионизма и тайных масонов, которые нынче вознамерились захватить весь мир. Тетя Муся напряженно улыбалась и прислушивалась к болям в желудке. На стене висел фотографический портрет тети Муси в военной форме, и это было непонятно тогда, осталось загадкой и до сих пор — тетя Муся, по ее словам, служила экономистом, чего-то там в бухгалтерии всю жизнь подсчитывала... Может, она служила экономистом по какому-нибудь военизированному ведомству и именно таким образом познакомилась в 1949 году с дядей Левой, который был на Севере вольнонаемным (?). Он утверждал, что не сидел, а был вольнонаемным, это тогда, при уточнении генезиса его крайне радикального высказывания про «бандитов», тогда, непосредственно после баянной игры и лекции о Бронштейне, тогда, в 1976 году...

ИЗ ОЧЕРЕДИ. — Ах, непременно скучны все эти мышиные подробности бытия, и свидетельствуют они лишь об окончательной утере мною ориентиров и полном неумении сшить чего-либо из богатого материала. Но что поделаешь — материал хоть и богатый, да гнилой, расползается по швам... Ерунда какая-то, возвращающая к отчаянию.

КОНСТРУКТОРОМ... Вообще-то дядя Лева служил конструктором в проектном бюро, и они до 1970 года проживали в различных коммуналках. Во время войны у дяди Левы имелся пистолет «ТТ», дядя Лева

говорил, что «был связан с авиацией и ездил на фронт» — он и тогда жил в коммуналке, будучи родом из города Харькова, и уже развелся со своей первой женой, платя ей алименты на сына Витю, которого никто никогда не видел. Дядя Лева приезжал с фронта в нетопленую комнату, где, выпив спирту, ложился спать один, укрываясь поверх одеяла шинелью и разложив на столе паек. И в этой военной комнате у него завелась крыса. «У меня была одна знакомая крыса в 1942 году»,— начал однажды, хитровато улыбаясь, дядя Лева, и студент невольно подумал: да уж не умен ли дядя Лева безгранично? Может, он все знает — о мире, об этой жизни? Знает, но таит свои знания, совершенствуя и шлифуя их в сложном быту коммуналки, где и несчастные выпивающие соседи, и больная жена, и шесть штук электросчетчиков на кухне вертятся... Уйдя, удалившись от мирской суеты в свою таинственную проектную работу, за которую, судя по всему, ему неплохо платили: в зеркальном шкафу у него торчали изысканные вина по 6—7 рублей бутылка, не переводились шоколадные конфетки, икорка случалась, телевизоры дядя Лева менял по мере их модернизации, студенту всегда ссужал пятерочку — десяточку «взаймы». Дядя Лева и тетя Муся считались у нас в семье «богатыми», хотя тут вкрадывается в медитацию неточность: не были они «у нас в семье». Они — ну как это сказать? — американские родственники были они для нас, сибирских обитателей: присылали к праздникам посылки — чудные конфеты «Мишка на Севере», московскую карамель, орехи фундук. Они были бездетные.

И вот дядя Лева-то и говорит (в 1967 году): «У меня была одна знакомая крыса в 1942 году. Она меня очень раздражала, поскольку лишь стоило мне заснуть, выпив спирту и укрывшись поверх одеяла шинелью, она сразу же начинала ходить, цокая крысиными когтями, и шуровала на столе в целях попытки прокусить консервное железо, потому что крысы умные. Я приезжал с фронта и, не выдержав, резко включал свет, засыпая, а она сначала тут же убегала, мелькая серой отвратительной шкурой, а потом, и вовсе обнаглев, стала у стенки вставать нахально и внимательно глядела на меня отвратительными крысиными глазами. Я, не выдержав, однажды выхватил из-под подушки пистолет и трижды в нее выстрелил, не попав. Крыса пришла в испугавшую меня ярость. Она прыгнула ко мне в постель, трижды обежала вокруг моей головы, лежавшей на подушке, касаясь моей кожи своим отвратительным нечистым хвостом. Я, не выдержав, как был босой, в кальсонах, прыгнул с пистолетом на холодный пол и снова в нее выстрелил, и опять не попал. А крыса, расставив ноги, с шипением помочилась прямо мне на подушку и исчезла навсегда, я ее больше никогда не видел...»

Так рассказывал дядя Лева, после чего велел тогда еще практически здоровой тете Мусе достать с верхотуры зеркального шкафа пыльный баян и заиграл, и запел какую-то щемящую сердце советскую песню ностальгического содержания. Воспевающую нашу Родину с таким подъемом и рыданием, как будто бы ее, нашей милой Родины, уже давным-давно у нас нет, хотя всякий знает, что наша милая Родина была, есть и будет на горе и зависть всем ее хитромудрым врагам!.. 1967 год.

ИЗ ОЧЕРЕДИ. — Что касается насчет ностальгичности целого ряда современных советских песен, то обобщение принадлежит не мне, а моему приятелю Сашке Клещу, с него пускай и будет спрос, хотя ничего идейно-ущербного или клеветнического в этом его наблюдении на мой взгляд нет, о чем и свидетельствую, пока не поздно.

ЗАЧЕМ ЖИТЬ? Этот вопрос задал недавно в телевизионном фильме для глухих (с субтитрами) один пионерский вожатый, но ответа от его подопечных не последовало, увлеклись саженцами и сусликами. Я же скажу, что разгадка тут простая, потому что жить — это не ЗАЧЕМ, а ПОЧЕМУ. И вяло зашепчу, пугливо озираясь по сторонам: «Жить нужно. Продолжать жить нужно, раз начал. Хоть и потерпевши крах, крушение, ломку ценностей... Ведь жизнь прекрасна, ее дал нам наш отец небесный, и каждый вопрос умен, каждый вопрос божий, это ответы могут быть глупыми, глупых вопросов не существует. А лично я толкую о том, что это счастье — вообще жить и что возжелавший жить, да еще и ХОРОШО ЖИТЬ, испытывает терпение его... Хоть и с язвой в печенке, но не бездушным же минералом? Но, может, и у минерала душа есть, а с язвой в печенке — это уже и не жизнь вовсе, а натуральная смерть? Кто знает? Я не знаю.

И ЭКО ЖЕ ЗАНОСИТ!.. Из добродушной этой, плоской болтовни явствует, пожалуй, одно: не следует человеку мнить себя выше других, живя на цыпочках, а должно ему оставаться самим собой. Осел так осел, мудрец так мудрец. Однако сознающий свое ословство является мудрецом, а тип, думающий, что он всех научит, непременно окажется идиотом, о чем и братья Карамазовы предупреждали. Таков угрюмый смысл бессмыслицы, и медитирующему лучше бы не ловить рыбу в мутной воде псевдотеологических и ложнофилософических умозаключений, а лучше бы взять и описать свой первый визит к тете Мусе и дяде Леве, состоявшийся в 1955 году.

Но можно и его понять: возьмется он про 1955 год толковать и опять кому-нибудь не угодит. Опять скажут, что СРАВНИВАЕТ времена, ВОЗВЕЛИЧИВАЕТ одних за счет других, а суммарно опять ГЛУМИТСЯ и ЗУБОСКАЛИТ. А он, помилуй бог, никогда не зубоскалил, ну разве в совсем еще юном возрасте, когда писал «юмористические» рассказы, печатавшиеся на 16-й полосе газеты «Наша литература» у Никодима Чайковского и Ильи Цузлова, первый из которых стал сейчас большим начальником и ездит на машине, а второй тоже ездит на машине, но держит в Кливленде аптеку. Да и тогда хотелось многомерности, желалось объемности, инвариантности, реалистичности. Ну и ладно, поехали дальше, ибо нет в мире невиноватых.

А в 1955 году ему было 9 лет, и он учился во втором классе начальной школы № 1 имени В. И. Сурикова. Папа-покойник привез его в Москву, и они там видели Царей — пушку и колокол, и ели эдакое замечательное мороженое: парочка вафелек кругленьких, а между ними вкуснейшее в мире советское эскимо. Остановились у тети Муси с дядей Левой, столичных жителей, прописанных в Химках Московской области по Ленинградской железной дороге, справа от железнодорожного полотна, если ехать из Москвы.

И вот до сих пор не ясен и еще один вопрос. А что, правда раньше мороженое было вкуснее или это только сейчас так кажется? И шумная площадь у трех вокзалов за два года до Всемирного фестиваля молодежи и студентов, добродушная милиция в белых кителях — вкуснее это было, чем сейчас, или опять — заблуждение, аберрация? Не могу, не могу понять, не могу, и такая тоска от этого берет! Боже ты мой, такая тоска, что хочется сжаться, ужаться, пригнуться, возвратиться, покушать мороженого и остаться там навсегда. Ударили б в 1955 году кирпичом по башке, стал бы кретином и навски поселился в 1955 году, бойкий, веселый, в вельветовых штанишках, пионерском галстуке. А был бы счастлив-то? Неизвестно. И снова вопрос, и снова ничего непонятно... А на сердце — тоска. И уж извините, начальники, не подумайте чего дурного: не клевещу, выводов, обобщений не делаю, но не могу же писать «веселье», когда на сердце тоска. ЛИЧНО НА МОЕМ СЕРДЦЕ — ТОСКА. Я ГОВОРЮ ЛИЧНО ПРО СЕБЯ, а не про кого-нибудь другого, и это мое дело — тосковать мне или веселиться!

РЕПЛИКА ИЗ ОЧЕРЕДИ. — Я хочу печататься в СССР.

СОРОКАЛЕТНИЕ БЕЗДЕТНЫЕ РУССКИЕ, тетя

Муся и дядя Лева. У дяди Левы в Харькове воспитывался сын Витя от первого брака. Дядя Лева утверждал, что сам он по национальности русский, русак, так сказать, родом из Харькова, а первая жена у него была еврейка, потому что «жидов в этом южном городе великое множество и всегда можно ошибиться...»

ГОЛОС ИЗ ОЧЕРЕДИ. — Это дяди-Левины проблемы, паши он их конем, старый хрен! Я в Харькове был проездом на пути в Крым майской ночью 1979 года. Болел, лежа пластом на заднем сиденье зеленой «Волги», номера не помню. Так что не видел «в этом южном городе» ни русских, ни евреев, за исключением двух своих дорогих товарищей. Повеселились, а? «Витек — отек, Васек — засек». Ремембе? Ночевали на Байдарах, купались в Ласпи, танцевали в Ялте, выпивали в Коктебеле. Усталые, но довольные. А то, что выперли по не зависящим ни от кого обстоятельствам, так что же делать, если за все нужно платить, и разве это беда, коли мелких нету и лакей получает червонец вместо полтинника? И объясните вы мне, наконец, дорогие соотечественники, кто в нашей стране русский, а кто еврей. По мне русский ты, еврей, плевать я хотел, ты мне текст подай хороший, а кто его написал, чуваш, китаец, англичанин или принц Нородом Сианук, мне все равно. Я все путаю. Я русский интернационалист. По мне слово «жид», если и имеет право на существование, то отнюдь не как уничижающее определение семитской национальности. Поясняю примером. ТЕЗИС: некто — русский. АНТИТЕЗИС: сам по-русски писать не умеет и другим не дает; СИНТЕЗ: некто — русский жид. Что же касается дяди Левы, то я недавно читал советскую книжку, как эсэсовец застрелился, узнав, что он не ариец. Этим я тихонько намекаю, что и сам дядя Лева, возможно, был.....

СОРОКАЛЕТНИЕ БЕЗДЕТНЫЕ РУССКИЕ: тетя Муся и дядя Лева, повторим мы, терпеливо дождавшись конца авантюрной тирады медитирующего. Богатые русские — за два года до начала Всемирного фестиваля у них имелся приличный холодильник, кресла «модерновые», спали они на деревянной кровати, выделив гостям раскладушку и раздвижное кресло, тетя Муся носила шелковый халат (с птицами), угощала мальчика вишней, сливой, арбузом, дыней. Папа-покойник тоже не чурался радостной жизни, зайдет в шалман, стаканчик портвейна спросит, пивком запьет, конфетой закусит и ходу в Кремль, смотреть Царей. В зоопарк также ходили. Мальчик сделал бумажный пропеллер на палочке и бегал по химкинскому двору, отчего пропеллер весело кружился. Его остановили столичные дети обоего пола. Они сказали: «Давай играть. Ты откуда?» «Из Сибири. Я хочу с вами играть...» — «Только — чур, чур, трусов с меня не сымать»,— деловито договаривалась девочка. Ее товарищи грубо расхохотались, а приезжий был сладостно изумлен: как это можно? посметь?! снимать трусы??!! Дети очень долго играли вместе — и бегали с пропеллером, и прятались, и скакали, и кричали: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе голить...» Трусов не сымали.

БОРМОТАНИЕ ИЗ ОЧЕРЕДИ. — Неужели годы учебы в Московском геологоразведочном институте имени С. Орджоникидзе (1963—1968) являются лучшими годами моей жизни? Я жил тогда в общежитии на улице Студенческой, играл на гитаре, пел песни Б. Ш. Окуджавы, пил водку, вино, пиво, читал в Ленинской библиотеке роман Дж. Джойса «Улисс», потому что все редкие книги выдавались тогда кому попало, то есть и мне тоже. Занимался науками — геодезией, картографией, кристаллографией, минералогией, математикой, физикой, теорией научного коммунизма и другими. Боже мой! Да я ведь получаюсь довольно образованный человек! Напротив моего дома строят Палеонтологический музей, красный, кирпичный, очень красивый! Как только его достроят, наймусь туда сторожем. Мне к тому времени, если господь даст, будет около сорока, так что самый возраст настанет идти мне в сторожа, если, конечно, не выпрут меня с моей нынешней работы раньше, чем я думаю, и мне тогда раньше придется идти в сторожа, не дожидаясь завершения палеонтологической стройки... Если со мной и еще что-нибудь не случится, связанное скорее с дьяволом, чем с господом... Не уверен, что «дьявол» пишется с большой буквы, не знаю, в каких отношениях находятся дьявол и господь, знаю, что умру, и на могиле будет расти лопух, а что станет с душой, не знаю...

Не знаю. Не знаю. Не знаю.
Не знаю. И знать не хочу.
(Стихи сибирского поэта А. Т.)

СТУДЕНТ. Платили стипендию в размере 45 руб. в месяц, и следует подчеркнуть для реализма, что кабы не пьянствовал, то денег хватало бы вполне, несмотря на то что отец умер в 1961 году, а мать получала пенсию то 36 руб. 75 коп., то 42 руб. 50 коп. (в зависимости от группы инвалидности). Но осуждать нельзя: пьянствуя, много повидал разных людей и еще больше наслушался от них разных историй. И жизнь была вполне сносная — носил «техасы» за 5 руб., башмаки на микропорке (12 руб.), демисезонное пальто из перелицованного габардина, за общежитие брали 3 руб., комплексный обед из трех блюд стоил 35 коп., каждое лето зарабатывал на практике по 300—500 руб. (высокооплачиваемые геологические работы в условиях Крайнего Севера), руководимый и вдохновляемый лучшим другом и компаньоном жизни Борисом Е. овладел серией денежных шуток (спорим на бутылку, что встанем оба на расстеленную газету и ты меня рукой не достанешь?). То есть средний прожиточный доход молодого человека приближался к 70 ежемесячным руб., что совсем недурно для его лет, учитывая, что предел низкой оплачиваемости составлял тогда в нашей стране 60 руб., а самая дорогая водка стоила 3 руб. 07 коп. Совсем недурно и нечего ему прибедняться, нечего корчить из себя сироту.

И все же наступал тот день, когда им понималось (не «он понимал», а «им понималось») — пора...

Пора ехать к тете Мусе и дяде Леве. Во-первых, навестить родственников, во-вторых, пообедать, в-третьих, денег занять, потому что их опять нету. Нумерация причин важности визита произвольная.

Он деньги всегда занимал с дрожанием сердца, будто в воду холодную бросаясь. Готовился на кухне, когда тетя Муся котлетки жарила, а он ей докладывал о своих успехах в учебе, с дядей Левой телевизор глядя, уже подбирал слова, которые окончательно оформлялись во время обеда, когда он старался есть, а не жрать. И все же страшно потом, почти на пороге, вдруг им выпаливалось:

— Да, тетя Муся, я совсем забыл. Вы не могли бы мне одолжить до стипендии рублей десять?

Честные, правильные люди! Ни насмешки, ни порицания, ни излишней важности...

— Мария, дай! — ровно и достойно говорил дядя Лева, не отрываясь от телевизора.

Тетя Муся, исхудавшая, бледная, но все еще практически здоровая, ковыляла в шелковом халате (с птицами), открывала створку зеркального шкафа и, покопавшись, доставала из его глубин красную бумажку.

— Возьми, племянник,— спокойно говорила она.

Студенту становилось жарко и весело. Он чуть ли не хохотал. А денег он не отдавал никогда. Дядя Лева угощал его на дорожку коньяком.

— Мария, налей племяннику, он молодой, пускай выпьет,— говорил дядя Лева, не отрываясь от телевизора.

ПОРА ПРО ТЕТКИНУ ПОДРУГУ. Сцена разворачивается тоже в Химках, тоже в коммуналке, но совсем другой — на улице Московской, близ аптеки, слева от железнодорожного полотна, если ехать из

Москвы. Там в соседях Анька жила, которая была «техничка», то есть уборщица. А муж ее по циническому русскому выражению «объелся груш», пьяница, значит, был изгнан, вместе не жили. Мальчонка подрастал, бледный, голодный, талантливый. Дядя Лева его любил и гордился его успехами в учебе. Дядя Лева был хороший человек: по Анькиному заказу он мальчонку порол ремнем, потому что тут нужна была «мужская рука». (Чего-то там этот мальчонка вечно бедокурил, невзирая на талантливость, и драли его как сидорову козу.)

Но Анна Евграфовна отнюдь не была теткиной подругой. Она была тоже «бедная», и ее угощали калиновым пирогом. (Вранье! Тетка сама ничего не пекла и сладкий модерн тех лет, вафельный торт, например, с орехами покупала в магазине. Это Анька скорее могла бы ей пирожка поднести — пышного, капустного, демократического, с румяной коркой...)

А дяди Левы в тот день не было дома, и вечером он тоже не пришел. Значило ли это, что он был в командировке? Не значило. Вполне возможно, что он возвратился домой ночью, но студент к тому времени уже уехал на электричке в Москву, вдосталь нашатавшись по химкинской платформе, снедаемый романтическими пьяными планами захвата подруги с целью любви. И дальнейшей совместной поездки с нею на станцию Сходня, где она проживала в собственном домике, будучи вдовой.

Чушь и глупость! Если тете Мусе было тогда лет 50, то и подруге соответственно было года 52. Студент помнит седые прядки ее черной прически и твердо знает, что ему в то время только что исполнилось 19.

Его накормили, ему поднесли коньячку, несмотря на отсутствие дяди Левы, и он с голодухи сильно опьянел, так что едва-едва успел занять денег. Окружающий мир плавал в глазах, и ему стало чудиться, что с подругой у него все сегодня же и получится. Он, покраснев, нечто бормотал, пересел к подруге, тянулся целоваться, лез рукой и приговаривал громким шепотом: — Давай скорей сейчас отсюда уедем и поедем к тебе. Ты понимаешь меня? Тихо, а то нас услышат.

Наутро он валялся на общежитской тюфячной койке и обмирал со стыда и с похмелья. «Боже мой! — пугался и пугался он. — Ведь они все видели и слышали. Слышали, как шептал, видели, как за пазуху потной лапой лез... Боже мой!» Но ведь если фактически разбираться, то ОНИ — это тетя Муся и ОНА, то есть собственно предмет страсти, ее подруга... Почему же эти две, прямо скажем, пожилые женщины не остановили распоясавшегося юношу? Почему тетка не сделала племяннику резкого выговора, замечания? Не предложила в конце концов покинуть ее хлебосольный дом, превращаемый им в вертеп? Подруга зачем не вспыхнула, обозлившись, не прикрикнула, не поднялась, роняя стул?.. Тайна?

Да, тайна, с чем приходится согласиться и ныне, по прошествии почти 20 лет после описываемого случая. Несомненно, что там наличествовала какая-то тайна! Поведение юноши вполне объяснимо: он в то время пробавлялся связями, про которые пишут на плакатах в вендиспансере, то есть редкими и случайными, имел в Сибири «невесту», которая дожидалась, когда он закончит институт,— с ним все понятно. Но почему столь сонно восприняли его безнравственный поступок обе подруги? И тени неловкости не испытывали они — тетка продолжала угощать-потчевать, денег дала. Подруга не чуралась поцелуев и объятий. Почему? Кто ответит? Кто? Тетка комсомолка была, потом — беспартийная большевичка, в военной форме висела на стене и часто поднимала тост за родное правительство, три четверти желудка у нее вырезали... Подруга — солидная дама, не иначе вместе служили, тоже должна была нравственность блюсти и утверждать мораль. Почему?

Тайна.

И все варианты ее решения — серая чушь, не имеющая отношения ни к жизни, ни к искусству. Робкая надежда — может, были бабы частично глуповаты, частично развратны, частично он все перепутал (наврал по пьянке Борису Е., так потом и в голове отложилось) — робкая эта надежда опровергается совершенно. Студент помнит, что лез к 52-летней молодой старухе, и та его не отталкивала, и что тетка (на стене — в военной форме, в жизни — шелковый халат) его за это не порицала. И что потом все как-то незаметно расстроилось, несмотря на удачный дебют. То ли любовь должна была следом выйти, но не вышла, и он напрасно ждал ее в подъезде и метался по серой платформе, встречая и провожая чужие электрички... Или даже вроде бы снова поднялся он в квартиру, и дверь ему открыла Анна Евграфовна, а потом вышла тетя Муся и сказала, что подруга давно ушла, и сильно удивлялась, глядя на взволнованный студенческий вид...

ЗАВЫЛ ИЗ ОЧЕРЕДИ. — Боже мой! Боже мой! Я на 100 % знаю, что я ТОЧНО поднимался в квартиру и тетка ТОЧНО удивлялась, глядя на меня. Ответьте же тогда, что значит вся эта дьявольщина? Ангелы ль они были? Суки ль? Иль просто животные, растения, минералы? Корифеев? Скажи, ответь, разве тебя зря выперли по не зависящим ни от кого обстоятельствам? Дмитрий Александрович, дай концепцию! Ваткин, отзовись Ренессансом! Комик Шéвченко, развей мою печаль! Фитов, приведи пример из собственной жизни, ведь ты старше и умнее меня, кто мне теперь будет опорой? Поэт Курбчевский, историк Ханчев, Каверинцев, Гробс, уезжающий, да помогите же вы мне!.. Сводня и Сходня? Ангел? Херувим в военной форме и шелковом халате? Дура? Не сметь оскорблять! Руки прочь от тети Муси!..

МОЛЧАТ ВЕЛИКИЕ ТЕНИ. Жаль, что дяди Левы дома не было. При нем студент вряд ли посмел пускаться на подобные штуки, а тогда и тайны никакой не было бы. С другой стороны, есть что вспоминать, стоя в очереди, в расцвете, тьфу-тьфу-тьфу, так сказать, сил, когда тошно и «чем случайней, тем вернее...». У тебя есть тайна, следовательно, ты существуешь. Мышиные серые мелочи жизни! О, как прекрасны вы! Разум не способен понять, что же все-таки произошло тогда, летним ли, осенним вечером, почти что 20 лет назад, когда он бегал по туманному перрону станции Химки Октябрьской железной дороги, и уже сгущалась окончательно тьма, плотная, как туман, и зажигались ночные фонари, высвечивающие воздушную и земную слякоть, мертво ухала приближающаяся электричка, разрезая световым ножом плотное кисельно-туманно-дождливое перронное варево!.. Тайна, и все тут!

А ТЕТКИНА ЖИЗНЬ ШЛА К КОНЦУ. Она лежала в больнице, шаркала шлепанцами, размахивала немеющей рукой и в 1971 году решила съездить на родину, в сибирский город К.

К тому времени студент закончил учебу и возвратился в город К. Мама его умерла в 1970 году, о чем он неоднократно упоминал во многих своих произведениях, которые были, а теперь сплыли, потому что он их нес в редакцию печатать, да по дороге и утратил, как Хемингуэй, по не зависящим ни от кого обстоятельствам. Невесту сначала он бросил, а потом и она его. Жил он тогда совершенно один, то есть в постель пускал, в душу — никого, возможно, и сам не понимая, что это означает, душа. Излишне говорить, что по обширной его квартире шатались девки, катались пустые бутылки, по утрам пьяницы чай пили в простынях за большим овальным столом, крытым скатертью в меленький горошек. Ведя разгульную молодую жизнь, он неплохо зарабатывал и практически ничего не боялся, не то что сейчас, когда стал он теоретическим трусом, бормочущим по очередям.

Но в то утро, когда пришла тетка, у него, к счастью, оказался дома полный порядок.

Он только что выгнал пьяниц и вымыл полы, и дул ветер с реки Е., наклоняя балконную штору, и лето, и жарко, а тут тетя Муся пришла, и с ней тетушка Ирина с внучком, и еще кто-то, а у него, как на грех, ничего нет в доме покушать. Он страшно смутился, полетел в гастроном, купил хлеба, колбаски, рыбных

консервов, варенья. Тетя Муся была важная, в крепдешиновом платье, она была из Москвы и сильно гордилась перед своими сибирскими родственниками. Он подумал, не дать ли ей денег, рублей 100—150, и не дал, потому что такой суммы у него в наличии не имелось.

Да ей и не надо было! Да и что там говорить — все это давным-давно прошло, все прошло, проходит и пройдет, и бог знает, зачем только и жили люди на земле, если они занимались такими мелочами.

И вот он переезжает на постоянное жительство в окрестности города Москвы, столицы нашей Родины. Наносит визит химкинским родственникам и становится свидетелем неприятного инцидента, разыгравшегося во время обильного обеда в их однокомнатной квартире на улице Маяковского, дом 28, за кольцевым шоссе, если ехать из Москвы.

Неприятный инцидент. Дело в том, что дядя Лева, выйдя на пенсию, то ли выпивать стал чаще, то ли пьянеть больше. Наполняя рюмочки и стаканчики, он вдруг сплел целую речь, тезис которой заключался в том, что в процессе разрушения телесной оболочки человека духовная любовь к нему исчезает, вернее, замещается. Замещается жалостью, каковая вовсе не является синонимом любви...

Что и вызвало немедленную вспышку гнева у тети Муси. (Нахохлившийся больной воробей прыгает косовато по асфальту, а на следующий день серая тушка валяется, и ты брезгливо отворачиваешься, спеша на работу...)

— Значит, ты теперь меня не любишь? — все твердила и твердила тетя Муся.

— Мария! Не пори горячку! Подай-ка мне лучше баян! — приказал дядя Лева и, широко разведя мехи, запел:

Это русские картины,
Это — Родина моя...

А тетя Муся вскоре умерла.

СМЕРТЬ. Мы ехали средь русских картин по кольцевому шоссе из Химок в крематорий № 2. Светлая память тете Мусе и вечный покой: автобус комбината ритуального обслуживания, лента напряженного шоссе, огибающего столицу, в разных концах которой торчат толстые серые конусы теплоцентрали. Молчание. Дядя Лева — вдовец. Кто-то закурил, погасил. Закурили.

Мне непонятен обряд кремации, и я утверждаю, что это похороны без катарсиса. Дьявольские штучки — органист во фраке, высокие потолки, здание светлое, просторное, в центре — плита, куда ставят гроб, и он медленно уходит в пустоту под траурную музыку, по последнему слову немецкой науки и техники. И хочется броситься вслед, но металлические створки смыкаются, смыкаются, смыкаются. Сомкнулись. Конец? Нет, что вы... На кладбище хорошо, там земля шуршит и комки осыпаются, а в земле живет червь могильный, но человек умирает один раз, а хоронят его дважды. И — урна вместо гроба. За что?..

Поминки. Русские поминки. Женщины хлопочут и возятся на кухне, мужчины постепенно напиваются. Ладно, мы так устроены, и некому нас за это судить.

А только дядя Лева на поминках сильно струсил. Как тут же выяснилось, он трусил будущего праха тети Муси, который следовало получать через неделю. Дядя Лева отвел меня в сторону и начал издалека. Он сказал, что всегда относился ко мне, как к родному, что он уже окончательно стал стар, что у него расстроены нервы, что он многое видел в жизни и жизнь обошлась с ним неласково. Далее он попросил меня забрать урну с прахом покойной и «пока подержать у себя дома». До оказии. До того времени, когда я или еще кто-нибудь не поедем на родину, в наш город К., и не свезем туда урну, ибо это и было основное желание покойной — «лежать в родной земле». Пьяненький дядя Лева врал и не глядел мне в глаза, но сообщил, что все расходы по кремации уже оплачены, и что я человек молодой, а он стар, болеет, нервы у него изношены, и что он просит об этом как о личном одолжении.

Через неделю я отправился в крематорий № 2, где за столом, под табличкой «ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ НИШ», сидел рыжий малый в черном сатиновом халате и каракулевой шапке пирожком. Он бессмысленно глядел в стекло, что лежало на столе, прикрывая табель-календарь, вырезанный из какого-то западного журнала. Рядом стояла небольшая очередь, но не к нему, а к окошку с надписью «ВЫДАЧА ПРАХА». Там орудовала, и точнее слова не подберешь, миловидная дама, вся в золоте, красивая, пухлая, в модных одеждах. У окошка внезапно разыгрался скандал. Одна шумела, что ей дали «не тот прах». Выдавальщица сначала закричала, чтобы не мололи ерунду, «поскольку это исключается автоматически». Но потом, увидев действительное несовпадение номеров в квитанции и выданной урне, слегка смутилась и ушла искать настоящий прах. Рыжий малый внезапно распахнул уличные двери и, напустив холоду, стал что-то быстро мести веником. Я уверен, что он заметал зеленых чертей. Потом он обратился к очереди:

— Ну, у вас, значит, все в порядке?

— Где же в порядке, если вы прах перепутали, мерзавцы?! — завизжала близкая к истерике женщина.

— Ну и хорошо, что все в порядке,— резюмировал малый. Вернулся на свое рабочее место и открыл дверцу стенного шкафчика, где я углядел у него початую и заканчивающуюся пол-литру водки. Он и выпил из стакана. Я разинул рот от удивления. Пришла толстуха, сказала, что все действительно в порядке и прах перепутала не она, а ее сменщица, которая «сильно пьет». Дала адрес, куда посоветовала обратиться немедленно, потому что перепутанный прах увезли лишь сегодня утром, «вот-вот перед вами», и, наверное, не успели еще захоронить.

Без каких бы то ни было скандалов я получил урну с прахом тети Муси и, сличив номера, убедился, что действительно получил урну с прахом тети Муси. Уходя, я вновь залюбовался рыжим смотрителем, который разложил на столе большой лист ватмана с фотографиями, где веселые девчата в джинсах, а также мужики и богато одетые бабы сгребали граблями мусор, жгли его, подметали асфальт и мыли окна. И прилежно выводил поверх фотографий красной тушью плакатного пера «МЫ НА СУББОТНИКЕ». Я от души пожелал ему успеха. Он мне не ответил. С этого дня я решил ходить в церковь. Я думал, что если мне сначала будет совестно креститься и подпевать, то я буду хотя бы стоять в стороне, слушая, как трещат догорающие свечи, бормочет служитель культа и вздыхают граждане, верящие в православные обряды. Урну я свез в город К., а дядю Леву с тех пор не видел.

— Алена! Алена! Дрянь ты эдакая! — услышал вдруг медитирующий чей-то страшный голос. Он обернулся. Какая-то растрепанная женщина в дубленке искала свою дочку, которая, играя, пряталась меж высоких штабелей минеральной воды, в залежах капусты, средь ровно уходящих вдаль мириад консервных банок.

— Гражданка, не надо так кричать. Вы испугаете девочку. Таким своим криком вы можете испугать не только детей, но и взрослых,— мягко обратился я.

Женщина, прищурившись, ничего мне не ответила, а девочка приблизилась и, враждебно на меня посмотрев, высунула маленький красный язык.

Тут и моя очередь подошла. Я отдал за товары 17 руб. 54 коп. и остался этим весьма доволен. Ведь теперь у нас с женой будет в доме изрядный запас еды и нам не нужно будет завтра снова стоять в очереди. В доме воцарится мир, согласие, покой и начнется новая, светлая жизнь, близкая к наилучшему устройству.

«Господи, дай силы жить и не уставать к вечеру!» — прошептал я и направился к выходу.

«НЕИЗБЫВЕН ГОРЕЧИ РОДНИК...» *

Фото из семейного архива Л. И. Хайндравы.

Наступило время, когда в нашу литературу возвращается многое, прежде по разным причинам неизвестное читателям. Культура неделима, хозяйское отношение к ее богатствам предполагает сегодня такой возврат. Даже тогда, когда судьба художника оказалась сложной и неоднозначной, когда семь десятилетий назад он заблуждался относительно будущего своей страны и выбрал путь, который непросто объяснить привычными прописями и формулами. Что ж, для нас, наверное, важнее сейчас то, что как поэт он остался честен и верен себе. Как, впрочем, наряду с искренностью важна мера таланта и мастерства.

Имя поэта Арсения Ивановича Митропольского, взявшего псевдоним Несмелов, пожалуй, ничего не говорит современному читателю. Родился в Москве, в 1891 году. Умер — по словам знавшего его грузинского писателя Л. И. Хайндравы — в 1945-м, вскоре после возвращения в СССР, на пограничной с Маньчжурией станции Гродеково. Между этими датами — воспитание в кадетском корпусе, участие в боях первой мировой войны в составе гренадерского Фанагорийского полка. Потом, в гражданскую,— офицер белой гвардии; воевал в Сибири и на Дальнем Востоке. В 1925-м из Владивостока эмигрировал в Китай, жил в Харбине. Кроме эмигрантов, здесь проживала большая колония советских рабочих и служащих Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Писатель С. Г. Скиталец (Петров) так описал Харбин тех лет: «Облик города, несмотря на преобладание китайского населения, русский: на первом плане русский язык, русская торговля, русский театр, русская пресса...»

В этой прессе (впрочем, до начала 30-х годов и в советских изданиях — журналах «Сибирские огни», «Дальневосточное обозрение» и др.) часто появлялись стихи, поэмы, проза Несмелова. Всего же за тридцать лет работы вышло пятнадцать книг; первая — в Москве, в 1915 году. Есть большой соблазн выстраивать биографию из поэтического наследия.

И все же впрямую этого делать, пожалуй, не следует. Даже небольшая подборка стихов Несмелова, предлагаемая читателю, дает представление о ярком поэте с неповторимым голосом, с личной, трагически выстраданной темой, куда органически вплетены вехи жизненного пути. Однако проецировать творчество на судьбу всегда опасно. Тем более в данном случае, когда интонация, что называется, витала в воздухе времени и породила достаточно мощную поэтическую линию — от Н. Гумилева до Н. Тихонова. Мотив поражения и изгнанничества у Несмелова не только питался биографией, но находил опору в культурной традиции, автору весьма знакомой. Выражая общую тему поколения, поэт одновременно «встраивался» в исторически определенный и непрерывный стиховой контекст.

Поэзия Несмелова — прежде всего поэзия военного человека. Уже несколько десятилетий в городском фольклоре бытует так называемая «белогвардейщина» — умелые, а чаще неумелые стилизации, исполняемые якобы от лица «беляка», глушащего вином свою злобу и тоску по оставленной Родине. В стихах Несмелова есть то, чего, естественно, лишены песни вроде «Поручика Голицына», распеваемые с наигранным чувством,— настоящая боль, подлинная ностальгия...

Стихам Несмелова свойственны многие признаки «военной поэтики»: балладный строй, романтический пафос, «рискованные» метафоры, столкновение контрастных образов, поданных с резкой отчетливостью кинокадра. Его поэзия прокламирует героическое самостояние личности, отчаянное мужество, сменяющееся мужеством отчаяния.

Впрочем, военной тематикой она не исчерпывается. Есть лирика, лексически заставляющая подчас вспомнить Пастернака; есть камерные обращения к природе; есть развернутые в стихе историософские рассуждения. То сбивчивая, то одическая речь — в разнообразии несмеловских интонаций можно обнаружить родственное многим его знаменитым современникам.

Давно стали историей социальные бури, определившие судьбу и стихи поэта. Расколотая этими бурями русская культура сегодня, на исходе XX столетия, тяготеет к воссоединению. В осознании ее сложной цельности творчество Арсения Несмелова представляется необходимым звеном.

* Публикация и вступительная заметка А. М. Ганкина и Р. М. Янгирова.

Арсений НЕСМЕЛОВ

Бандит

Когда пришли, он выпрыгнул в окно.
И вот судьба в истрепанный блокнот
Кровавых подвигов внесла еще удачу.

Переодевшись и обрив усы,
Мазнув у глаз две темных полосы,
Он бросился к любовнице, на дачу.

Здесь сосчитал он деньги и патроны
(Над дачей каркали осенние вороны)
И вычистил заржавленный Воблей.

Потом зевнул, задумавшись устало,
И женщине, напудренной и вялой,
Толкнул стакан и приказал: — Налей!

Когда же ночью застучали в двери,
Согнувшись и вися на револьвере,
Он ждал шести и для себя — седьмой.

Оскаленный, он хмуро тверд был в этом
И вот стрелял в окно по силуэтам,
Весь в белом, лунной обведен каймой.

Когда ж граната прыгнула в стекло,
И черным дымом все заволокло,
И он упал от грохота и блеска,—

Прижались лица бледные к стеклу,
И женщина визжала на полу,
И факелом горела занавеска.

На водоразделе

Воет одинокая волчиха
На мерцанье нашего костра.
Серая, не сетуй, замолчи-ка,—
Мы пробудем только до утра.
Мы бежим, отбитые от стан,
Горечь пьем из полного ковша,
И душа у нас совсем пустая,
Злая, беспощадная душа.
Всходит месяц колдовской иконой —
Красный факел тлеющей тайги.
Вне пощады мы и вне закона,—
Злую силу дарят нам враги.
Ненавидеть нам не разучиться,
Не остыть от злобы огневой...
Воет одинокая волчица,
Слушает волчицу часовой.
Тошно сердцу от звериных жалоб,
Неизбывен горечи родник...
Не волчиха, родина, пожалуй,
Плачет о детенышах своих.

Голод

Удушье смрада в памяти не смыл
Веселый запах выпавшего снега,
По улице тянулись две тесьмы,
Две колеи: проехала телега.

И из ее окоченевших рук,
Обглоданных — несъеденными — псами,
Тянулись сучья... Мыкался вокруг
Мужик с обледенелыми усами.

Американец поглядел в упор:
У мужика под латаным тулупом
Топорщился и оседал топор
Тяжелым обличающим уступом.

У черных изб солома снята с крыш,
Черта дороги вытянулась в нитку.
И девочка, похожая на мышь,
Скользнула, пискнув, в черную калитку.

Встреча вторая

Василий Васильич Казанцев.
И огненно вспомнилось мне —
Усищев протуберанцы,
Кожанка и цейс на ремне.

Ведь это же — бесповоротно,
И образ тот, время, не тронь.
Василий Васильевич — ротный:
«За мной — перебежка — огонь!»

— Василий Васильича? Прямо.
Вот, видите, стол у окна...
Над счетами (согнут упрямо,
И лысина, точно луна)

Почтенный бухгалтер.— Бессильно
Шагнул и мгновенно остыл...
Поручик Казанцев?.. Василий?..
Но где же твои цейс и усы?

Какая-то шутка, насмешка,
С ума посходили вы все!..
Казанцев под пулями мешкал
Со мной на ирбитском шоссе.

Нас дерзкие дни не скосили,—
Забуду ли пули ожог! —
И вдруг шевиотовый, синий,
Наполненный скукой мешок.

Грознейшей из всех революций
Мы пулей ответили: нет!
И вдруг этот куцый, кургузый,
Уже располневший субъект.

Года революции, где вы?
Кому ваш грядущий сигнал? —
— Вам в счетный, так это налево...
Он тоже меня не узнал!

Смешно! Постарели и вымрем
В безлюдьи осеннем, нагом,
Но все же, конторская мымра,
Сам Ленин был нашим врагом!

Около Цицикара

На дороге, с ее горба,
Ковыляя, скрипит арба.
Под ярмом опустил кадык
До земли белолобый бык.

А за ним ускоряет шаг
И погонщик, по пояс наг.
От загара его плечо
Так коричнево горячо.

Степь закатом озарена.
Облака, как янтарь зерна.
Как зерна золотистый град,
Что струился в арбу с лопат.

Терпеливо погружено,
Ляжет в красный вагон оно,
И закружит железный вихрь,
Закачает до стран чужих.

До чудесных далеких стран,
Где и угольщик — капитан,

Где не знают, как черный бык
Опускает к земле кадык.

Как со склона, с его горба,
Подгоняет быка арба.

Так и тысячи лет назад
Шли они, опустив глаза,
Наклонив над дорогою лбы,
Человек и тяжелый бык.

☆ ☆ ☆

Ушли квириты, надышавшись вздором,
Досужих сплетен и речами с ростр,—
Тень поползла на опустевший Форум,
Зажглась звезда, и взор ее был остр.

Несли рабы патриция к пенатам
Друзей, позвавших на веселый пир.
Кричал осел. Шла девушка с солдатом.
С нимфеи улыбался ей сатир.

Палач пытал раба в корнифицине.
Выл пес в Субуре, тощий, как шакал.
Со стоиком в таверне спорил циник.
Плешивый кесарь юношу ласкал.

Жизнь билась жирной мухой, в паутине
Трепещущей. Жизнь жаждала чудес.
Приезжий иудей на Авентине
Шептал, что Бог был распят и воскрес.

Священный огнь на Вестином престоле
Ослабевал, стелился долу дым,
И боги покидали Капитолий,
Испуганные шепотом ночным.

Флейта и барабан

У губ твоих, у рук твоих... у глаз,
В их погребах, в решетчатом их вырезе,—
Сияние, молчание и мгла,
И эту мглу — о, сволочи! — не выразить!

У глаз твоих, у рук твоих... у губ,
Как императорское нетерпение,
На пурпуре, сияющем в снегу!
Закристаллизовавшееся пение!

У губ твоих, у глаз твоих. У рук,—
Они не шевельнулись и осилили,
И вылились в согласную игру:
О лебеде, о Лидии и лилии!

На лыжах звука, но без языка,
Но шепотом, горя, и в смертный час почти
Рыдает сумасшедший музыкант
О Лидии, о лилии и ласточке!

И только медно-красный барабан
В скольжении согласных не участвует,
И им аккомпанирует судьба:
— У рук твоих!
— У губ твоих!
— У глаз твоих!

Ираклию Луарсабовичу Андроникову — 85 лет

Он любил? Она любила
Лермонтова Михаила?
Было там ли, было так ли? —
Лишь Андроников Ираклий
Знает лучше самого...
Но не знает и Андроников,
Сколько у него поклонников
И как любим мы его!

Дружеский шарж
И. ОФФЕНГЕНДЕНА

Александр
АРХАНГЕЛЬСКИЙ

ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!

К вопросу о творческом поведении

Приходится слышать порою (и уныло соглашаться): в отличие от той, давней, «шестидесятнической», которую мы не застали, новая общественная волна не вынесла на поверхность молодых «звездных» имен. Тогда по всем уголкам необъятной Родины из уст в уста передавалось: молодежная проза... предисловие к тому Пастернака в «Библиотеке поэта»... рассадинские статьи в «Юности» ...лакшинские и виноградовские в «Новом мире»... «Мастера»... «Один день...» «...Со мною вот что происходит»... Нынче брось клич: ау, молодые!..— как аукнется, так и откликнется: «звук осторожный и глухой» (если, конечно, мы не условимся звать «начинающими» вполне зрелых С. Каледина, автора нашумевшего «Смиренного кладбища», прекрасного рассказчика Е. Попова и изначально профессиональную Т. Толстую). Нужно вариться во внутрилитературном котле, чтобы знать действительную расстановку сил среди своих литературных сверстников. А иначе даже хорошие, яркие, свежие публикации (ну вот, добросовестно перечислю: рассказ А. Дмитриева в «Знамени» № 5, 1987; цикл стихов Олеси Николаевой в «Дружбе народов» № 3, 1988; горько-смешная новелла В. Пьецуха в «Огоньке» № 3, 1988; фрагмент поэмы А. Парщикова «Деньги» — в «Волге» № 10, 1987 г. ... продолжать?) сверкнут для вас искрами — и погаснут в необъятной мгле современного литературного процесса.

Между тем литературная среда бурлит. Имена молодых писателей сыплются из уст ветеранов как из рога изобилия.

Механизм прорыва внутрь плотной живой стенки (которая за спиной прорвавшегося тут же смыкается, и обратного хода нет!) проиллюстрировать нетрудно. Примеры сами идут под руку. Кто из нас знал стихи поэта Валерия Хатюшина, пока он не создал одну за другой несколько набатных статей, где предупредил кого следует об изъянах (не столько поэтических, сколько общественно-политических), поразивших стихи его сверстников? Боюсь, что никто. Зато теперь его имя «как притча на устах у всех». Стихи, правда, по-прежнему в тени, но вряд ли они занимают сейчас В. Хатюшина. Перед ним стоит гораздо более ответственная задача: постоянно подогревать внутрицеховой интерес к себе. И приходится ему, сверяясь по компасу с суждениями старших товарищей, своих заочных учителей, привносить в произведения оппонентов то, о чем хочется поспорить, но чего в этих произведениях отродясь не бывало. То есть наказывать впрок.

Так досталось на орехи Сергею Чупринину — критику, который поместил в «Новом мире» тонко-ироничную рецензию на книгу прозы А. Вознесенского «Прорабы духа», где — не в лоб, умно и строго — говорилось о том, что поэт в последние годы создал мир, интересный лишь для четырнадцатилетнего подростка, вечного мальчика, которому (а кому же еще!) может польстить вопрос: «Вы спали в кровати Пикассо?» Однако В. Хатюшин ничего не заметил и отчитал С. Чупринина за излишние восторги. Мало того, он провел сложнейшую криминалистическую работу и установил, что «прораб» в переводе на русский язык означает «старший мастер». А это звание, как понимает всякий здравомыслящий гражданин, спроста не дается; мастер масонской ложи — большой человек. Читатель, по справедливому мнению В. Хатюшина, «в газетах... читал о таинственных «мастерах», вовсе не причастных к гражданскому строительству. Эти «мастера»... теперь узнаются многими. Потому и целесообразно было дать им другое имя — «прорабы»,— не меняющее содержательной сути, но затрудняющее их разоблачение». К проницательным наблюдениям В. Хатюшина следует добавить: в газете «Советская Россия» — той самой, что напечатала статью химика Н. Андреевой,— даже рубрику такую завели: «Прорабы перестройки». Теперь-то нам ясно, кто ее строит, какие такие «мастера»,— и все это благодаря бдительному поэту.

Всерьез возражать В. Хатюшину вряд ли стоит: пусть тот, кто прочтет сначала чупрининскую рецензию («Новый мир», 1986, № 1), а затем хатюшинскую реплику («Москва», 1987, № 6), сам улыбнется казусу. Сейчас важно другое — понять — почему нынче журнальная схватка интереснее для поэта, нежели лирика? Почему и стихи все чаще становятся лишь рифмованными декларациями, ритмичными (как речевки хунвейбинов) репликами в споре? Почему абсолютному большинству младопишущих нужнее (и, главное, важнее) организовать общество, схватиться в печатной драке: кого-то завалить с помощью власть имеющих наставников на приемной комиссии в СП СССР, а кого-то и «протащить» в Союз; внедрить в сознание читающей публики список перспективных имен — словом, сделать что угодно, лишь бы не написать повесть, рассказ, стихотворение, историко-литературный труд. А если и написать, то нечто прямолинейно-аллегорическое, чтобы «художественность» даже случайно не затмила полемического смысла? Не всех, не всех имею в виду; список исключений велик: повести С. Бардина и П. Краснова, стихи О. Николаевой и Евг. Блажеевского, филологические штудии В. Кошелева и А. Зорина, А. Немзера и Б. Тарасова...— но почему, почему они — исключение, а не правило? Почему вокруг большинства из них (исключая разве что литературоведов, и то не всех) гужуется стайка, группка ничего не создавших литвышибал, а то и попросту штурмовиков в черных майках? И с каких это пор в великой, величайшей русской литературе художественную истину принято отстаивать с помощью булавочных уколов, полудоносов и смолы с перьями? Спорили мы всегда, об этом еще Достоевский писал, но спорили — текстами. Вы мне прокламацию и топор — я вам «Отцов и детей» или «Бесов». Вы мне мелочный упрек — я вам гениальную строфу в «Евгении Онегине». А когда наставала пора выходить с открытым забралом — тут уж звучала органная по мощи, хоральная по звучанию «Пушкинская речь», хотя бы на день, да примирявшая мыслящую Россию, пробуждавшая в ней творческую атмосферу «тихого и безмолвного жития»...

Но то литераторы, возразят мне. А критики? Отвечу вопросом: по чьим статьям изучаем мы теперь теорию литературы? По журнальным обзорам Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Не учим — а могли бы — и по работам Хомякова, Шевырева, Аксаковых, Киреевского... А что можно узнать по статьям самых активных представителей «тридцатилетней» критики 80-х годов нашего столетия — Александра Казинцева и Ларисы Барановой-Гонченко? То лишь, что их молодой коллега Андрей Мальгин есть литературный разбойник, а главный редактор журнала «Наш современник» С. Викулов (чьим заместителем Казинцев служит с недавних пор) безошибочен в суждениях; что строка «Мой дар убог и голос мой не громок» принадлежит не Баратынскому, как нас учили в школе, а Тютчеву; что поэты-метафористы вненациональны по своему пафосу и стихи А. Парщикова антинародны, зато речь Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина по поводу объявления войны «не только дань традиции, но и ее ответное духоподъемное воздействие на умы... всего народа в целом» (статья Л. Барановой-Гонченко все в той же «Москве», 1987, № 6, стр. 175). Не густо.

Страшное магнитное поле, создаваемое критиками, властно втягивает в свои пределы художественно одаренные, а значит, особо впечатлительные натуры, парализуя их волю и не отпуская ни на миг. Писал, скажем, Владимир Карпец очень неплохие стихи, горько-нежные, отечестволюбивые, не всегда свежие по образности, но неизменно искренние (одну из его подборок и мне случилось как-то поддержать в «Комсомольской правде», чему радуюсь), но сила тяготения литературной среды неодолима, и вот он уже выступает в качестве исследователя-пропагандиста русской литературы XIX века, путая имена, даты, факты, населяя русскую историю призраками масонов, уродцев-иностранцев... Тут единственно возможное чувство — беспросветное сожаление, какое возникает всякий раз при виде человека, фанатично взявшегося не за свое дело: безграмотно подготовившего к печати книгу лирики Федора Глинки (М., «Советская

Россия», 1986). Писал бы стихи — хорошо же получалось! Нет, рядом многомудрые критики Л. Баранова-Гонченко и А. Казинцев, они успокоиться не дадут. Они почву взрыхлят, семена посеют, урожая дождутся, соберут его, в закрома спрячут, а все шишки достанутся на долю доверчивого «шишковиста», искренне ослепленного идеей сиономасонского заговора[1]. О типологически сходном явлении написал в ответе на анкету «Дружбы народов», 1988, № 1, В. В. Кожинов: «Лысенко был, в сущности, тупым орудием в руках таких «теоретиков», как Деборин и Презент». Можно предположить, что возразят мне те, о ком только что шла речь. Внутренний раскол молодых писателей, скажут они, борьба, превращающая нас в пропагандистов и агитаторов групповых идей, временное замыкание в круг профессионалов ради достижения сосредоточенности и единства — дело благое. По одну сторону — те, кто любит все русское, кто готов строить культуру на чисто национальных основаниях, на идеях крестьянской общины и традиционной нравственности. По другую — те, кто поклоняется Западу, зовет к смешению традиций и утрате национальной специфики, молится на город. Их споры судьбоносны; каждый должен ответить на вопрос: с кем вы, мастера культуры?

Отвечаю — ни с кем. «С волками площадей отказываюсь выть» — так воскликнула М. Цветаева, ибо была «одна за всех противу всех». Ни с кем — потому что можно всем сердцем любить город и стоять на сугубо национальной почве, памятуя, что культура Руси изначально (до XIII века) складывалась как городская, ремесленническая и лишь потом включила в себя «крестьянское» начало, быть горожанином — и глубоко чтить крестьянский труд. Можно молча любить Россию и, не делая ее кумиром, относиться к ней тихо и нежно — как к матери. Можно любить Россию и не ненавидеть Америку. Читать «Огонек» и злиться на то, что печатается здесь пошлая «Любовница президента». Отказать этой «любовнице» во взаимности и порадоваться огоньковскому выступлению С. Аверинцева. Или статье В. Поликарпова о Федоре Раскольникове. Или памфлету Н. Ильиной... Да много что можно!

А нельзя — нельзя не замечать, что спор между «западниками» и «славянофилами» был живым явлением лет сто назад, ныне же противостояние снято поступательным развитием русской культуры. Каждый имеет право (если не обязанность) тяготеть к одному из двух «полюсов», но полностью отрешиться от власти другого без утраты чистоты и трезвомыслия нам уже не дано (о чем хорошо сказал на страницах «Юности» С. Аверинцев). Ибо имеющий действительно крепкие городские корни никогда не станет порочить деревню, а о почве постоянно говорят лишь те, у кого она уходит из-под ног. Так что успокоимся и с наслаждением перечитаем «Царь-рыбу» и «Большого Жанно», а после попытаемся создать что-нибудь сами, поднявшись до литературной высоты.

Правда, с этим не спешат. И тут мы подходим к главному пункту размышлений о том, почему глухая стена выросла между читателем и младописателями, почему последние предпочитают окололитературную жизнь самой литературе.

Потому что мало кто решается выйти из широкой и всезащитной тени своих непосредственных предшественников. Это очень верно почувствовал уважаемый наш критик Андрей Михайлович Турков (уж его-то в «групповщине» не заподозришь!), когда в своей отповеди молодогвардейскому «круглому столу», где Л. Баранова-Гонченко со товарищи одергивали демократию, точно назвал незримого регента хора начинающих — поэта Станислава Куняева. Вот истинное наше горе. Куда как трудно пришлось Валентину Распутину, Василию Белову, Федору Абрамову, Виктору Астафьеву в конце 60-х! Им никто не протаптывал путь, они шли через бурелом. Зато и отклик на их книги был велик... Теперь айсберг перевернулся — там, где раньше царил бурелом, ныне асфальтовые дорожки, по которым прогуливаются последователи. Так, роман за романом публикует в «Нашем современнике» Сергей Алексеев, недавно удостоенный премии имени Ленинского комсомола. Нам бы и радоваться: нашелся человек, который часто сидит за письменным столом и творит литературу. Но, присмотревшись, замечаем: романы его скорее «идеологичны», чем художественны, что с упреком отметил В. В. Кожинов, споря с антихристианской, атеистически-языческой концепцией романа С. Алексеева «Слово» («Современник»,1986 г.).

Новый роман — «Рой» (М., «Молодая гвардия», 1988) — рассказывает о судьбе русских переселенцев в Сибири, инстинктивно тоскующих по «прародине», которой второе и третье поколения живущих здесь никогда в жизни не видели. Единственное, что связывает с нею,— название: Стремянка. Стремянцы разводят в Сибири пчел, наблюдают за их жизнью, рассуждают о ней и извлекают из нее уроки для себя. Потому самое страшное для них — отделиться от роя, смысл жизни они видят в том, чтобы роиться. Где? В сельской общине, конечно. Сыновья одного из героев, живущие в городе, ненавидят городскую жизнь лютой ненавистью: «город высосал из деревни интеллект», «надо жить там, где тебе пуп резали».

То, что звенело живой тоской в прозе родоначальников «деревенской прозы», здесь сгущается до состояния категорического, слишком категорического императива, жесткой и даже жестокой этической программы. На «эстетику» ни времени, ни сил не остается, и приходится брать взаймы жанровые и сюжетные матрицы прозы «учителей». Многое в романе «Рой» узнаваемо; видно, откуда С. Алексеев «отрочился». Здесь и борец с браконьерами Тимофей, гибнущий от их рук, как бы сошедший со страниц астафьевской «Царь-рыбы»; оттуда же позаимствованы «сцены с медведем»; судьба старца Алешки, некогда буяна и богохульника, ныне страшащегося смерти, словно бы изъята из «Плотницких рассказов» В. Белова; всякий, кто помнит беловский же рассказ «За тремя волоками», будет поражен сходством, читая в «Рое» о человеке, оторвавшемся от своей земли, вдруг решившем съездить посмотреть на древнюю родину и попавшем на горькое пепелище...

Нечто подобное — и в противоположном стане. Примеры опять же под рукой. Вышел в 1985 году литературно-художественный сборник «Круг» (Л., «Советский писатель»). Объединил он литераторов-нонконформистов, представителей нашего младоавангарда, западников по самой строчечной сути — на Западе они в основном прежде и печатались. Сразу же возникло вокруг него очередное литературное сражение — литературное, не читательское. Уж какие страсти кипели! Сборник, если считать по негласной шкале, заслужил самую высокую оценку — его составителей журнал «Наш современник» обвинил в неблагонадежности. Но вот прошло три года, и мы с напряжением пытаемся хоть что-то из вошедшего в «Круг» припомнить, да плохо получается. Тогда берем в руки само издание, перелистываем — ах да, читали. Но до чего же все это знакомо по «тамиздатовским» книгам тех, кого авторы «Круга» матрицируют!

А как же, спросят меня, «учитель, воспитай ученика», «учитель! перед именем твоим...», «мой учитель был улицей, беретом, домом...»? Что, наследовать предшественникам невозможно? Отнюдь. Только прежде договоримся, что значит наследовать. А значит это — давать на заданные учителем вопросы свои ответы. Слушать его, благоговеть перед ним, наслаждаться красотой его личности и постигать его неповторимость. Перенимать от него мужество первого шага.

Нужно выйти из тени на свет, под палящее солнце русской литературы. И быть готовым к самым трудным испытаниям. Тут, кстати, и опыт предшественников изучить бы не худо, разобравшись, кто, как и почему из них, предшественников, менялся в разные периоды общественного бытия. Как знать: не пригодится ли? И разве не важно понять, ценой каких нравственных усилий прошли испытания тяжким временем Б. Окуджава и В. Астафьев, А. Битов и В. Быков, И. Дедков и А. Турков, В. Корнилов и Н. Тряпкин, А. Адамович и В. Богомолов (список можно продолжить). Или, скажем, почему гремевший прогрессизмом в 60-е годы Ф. Ф. Кузнецов спустя десятилетие перешел в иной стан, а теперь даже выдвинулся в члены-корреспонденты АН СССР, не написав ни одной строго научной монографии. Почему В. В. Кожинов, начинавший как замечательный теоретик, в 70-е годы стал активным практиком литературной борьбы. А критик Ст. Рассадин, напротив, предпочел уйти в историю литературы, чтобы избежать компромиссов с современностью. А Лев Аннинский в совершенстве овладел методом словесной эквилибристики, ускользая от цепких объятий эпохи...

А те, что далече? Но бог им судья, а мы обратим взор на себя самих. Вот распахнулись перед нами двери культуры, история дала шанс свободно войти в них. Но не слышно толчеи у дверей. Тут тихо, пустынно. Шум и гвалт далеко, далеко позади. Почему же никто не хочет идти вперед? Ведь плата за вход ничтожно мала — хороший рассказ, повесть, поэма, исследование. «Не могу,— слышим в ответ.— Платить нечем». И это — увы! — чистейшая правда.

[1] На «проколы» в изысканиях Карпеца указали молодой литературовед О. Проскурин («Литературное обозрение», 1987, № 9) и критик В. Андреевский («Новый мир», 1988, № 2).

ПРОЗРЕНИЕ

По идее, нет ничего необычного в том, что настоящий художник создает свой необычный художественный мир. Мы к этому как бы заранее готовы, заранее настроены на то, что увидим нечто, не укладывающееся в наши привычные представления. А иначе для чего вообще нужен Художник, то есть человек, так видящий и воплощающий мир, как никто ни до, ни после него. И все-таки, несмотря на это умозрительное предчувствие, мир, открывающийся в графических работах молодой художницы из Йошкар-Олы Любови Ямской, поражает.

И высочайшая одухотворенность, и фантастическая пластика, и композиционные находки — все это есть в ее работах, и те, для кого в искусстве важно прежде всего мастерство, будут удовлетворены. Не скажу, что для меня мастерство не важно, но поражает меня не это. Мастер может и не быть Художником, и, к сожалению, такое случается не столь уж редко. Но не зрение, а прозрение отличает Художника от простых смертных. Любовь Ямская от природы наделена этим уникальным даром. В ее работах соединяется несоединимое, говорят камни, оживают тени, колокола оплакивают горизонт, женщина-церковь смотрит в вечность. Каждый графический лист — метафора, притча, миф, каждый по-своему поэтичен и музыкален. И в каждом — некое невыразимое словами прозрение.

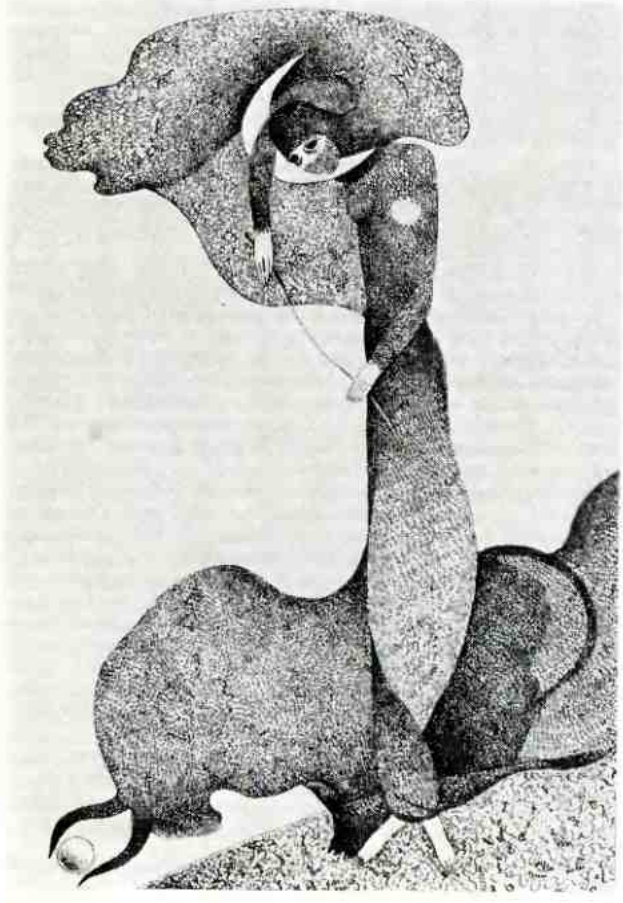
Мир Любови Ямской полярен: черное и белое, мир и война, смерть и рождение, любовь и ненависть, добро и зло. Но эти полярности неразъединимы, одни не существуют без других, в этом великое таинство жизни. Невидимые «обычному» взгляду связи, став зримыми, переворачивают наши устоявшиеся представления, прозрение становится всего лишь зрением, и требуется новое прозрение, чтобы двигаться дальше.

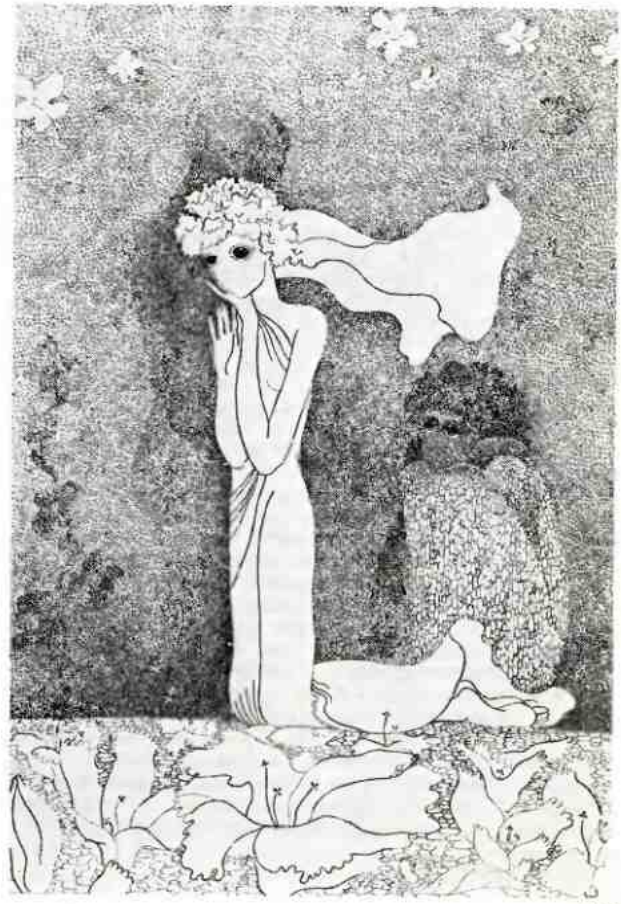
Художник не существует вне времени, и каждый художник своим прозрением преображает свое время. Ибо становится другим увиденное по-другому. Работы Любови Ямской открывают, как мне кажется, еще не вполне осознанную глубинную трагичность нашего времени. Не тот всем известный газетный набор — термояд, экология, демография и т. д.,— а то, что за ним, что в первооснове, то, что «не снится нашим мудрецам». Впрочем, это уже философия.

Художественное мышление Любови Ямской космично по своей природе, едва ли не каждая ее графическая композиция — это космос, спроецированный на ватманский лист. Космос, в котором присутствует все: прошлое и будущее, душа и физический вакуум, пространство и время, предчувствие и память.

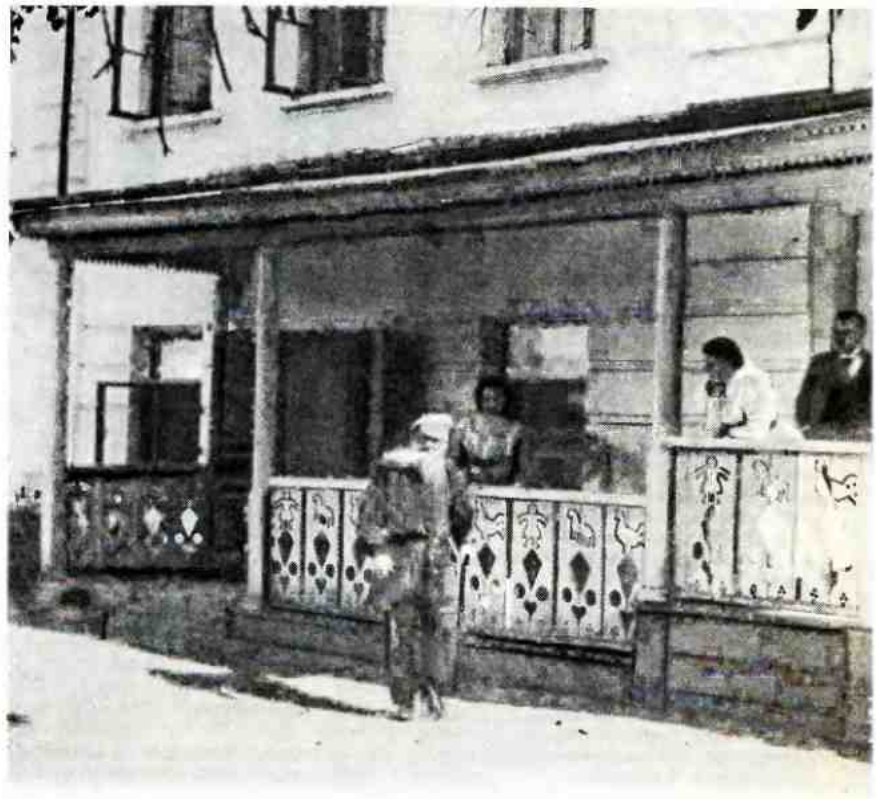
Виктор КОРКИЯ

Этот номер проиллюстрирован графическими работами Л. Ямской.





Интервью с ЛЬВОМ ТОЛСТЫМ



Лев Толстой — один из тех писателей-классиков, о которых мы, кажется, знаем все: все тексты его собраны и изданы, равно как и письма, которые удалось разыскать; мемуары о нем выходили неоднократно. Находка каждой его новой строки — событие для литературоведов. Но тридцать лет назад мне случайно пришла в голову мысль, которую я вправе назвать теперь счастливой: порыться в пожелтелых газетных листах конца прошлого века в поисках неизвестных биографических сведений о Толстом. Так, будучи аспирантом университета, я невзначай обнаружил целый неисследованный пласт связанных с Толстым фактов, его мыслей, наблюдений и оценок.

У Толстого было правило: он принимал любого постучавшегося в его дверь за помощью или советом. Не считал возможным выпроваживать и журналистов, как бы назойливы порой ни были их вопросы. Оттого в газетах и журналах конца прошлого и начала нынешнего века можно найти немало интервью, бесед с Толстым или репортажей о встрече с «великим старцем». Три десятилетия по крупицам собирал я, листая старые подшивки газет, комплекты когда-то издававшихся журналов, эти материалы — их обнаружилось, чего я никак не предполагал вначале, более 150! Сто шесть из них после отбора «на достоверность» и научного комментирования вошли в недавно вышедший сборник «Интервью и беседы с Львом Толстым»[1].

Однако за порогом этого тома остались интервью и беседы с Толстым зарубежных его гостей — они должны составить еще одну книгу. Ясную Поляну и дом в Хамовническом переулке в Москве последние четверть века жизни Толстого, когда его слава стала всемирной, посещали десятки, если не сотни людей с разных концов света — из Европы, Азии и Америки. Многие из них по возвращении на родину писали потом об этих встречах в своих газетах и журналах. Но разыскивать этот зарубежный материал в море газетных страниц на разных языках — ныне нелегкая задача. В этой работе мне помогали исследователи и журналисты Болгарии, Венгрии, Франции, Японии, Соединенных Штатов Америки, Финляндии и других стран. Они шли по указанному мною следу, разыскивали этот материал в своих национальных библиотеках, фотографировали или ксерокопировали его, пересылали мне, а советские переводчики переводили статьи на русский язык. Благодаря этой совместной работе мною собрано более 50 интервью Толстого на различных языках — понятно, что я испытываю к ним самую искреннюю признательность.

Два из этих, никогда не публиковавшихся по-русски репортажей и предлагаю вниманию читателей «Юности». Это два дня, два мига из долгой жизни Толстого, запечатленные его посетителями — журналистами из Швейцарии и Венгрии. Есть закон восприятия, согласно которому первое, пусть даже мимолетное впечатление — самое сильное. Репортажи журналистов, проделавших долгий путь в Россию, чтобы увидеть и услышать Толстого,— это как мгновенные фотографические снимки или яркие наброски с натуры. Несмотря на всю их беглость, фрагментарность, порою случайность, в них достаточно зорко запечатлена подлинность внешнего облика Толстого, обстановки, которая его окружала, услышаны мысли, которыми он нашел нужным делиться с журналистами.

Эти мысли часто непривычны, парадоксальны, порою Толстой опровергает сам себя, но никогда не бывает пресен или банален в разговоре. И в главном всегда верен себе — защите крестьянского народа, здравого смысла в философии, здорового вкуса в искусстве.

Два публикуемых интервью разделяет восемь лет. В 1897 году швейцарец Эд. Клапаред (он был у Толстого между 15 и 20 августа) находит писателя увлеченным работой над трактатом «Об искусстве» (будущий труд «Что такое искусство?»). Он видит его на прогулке и на теннисной площадке бодрым, полным оптимизма и с удовольствием вспоминающим о своем посещении в молодые годы Швейцарии. (В Женеве Толстой жил в марте — апреле и июне 1857 года, побывал там и в августе 1860-го. В Швейцарии место действия его рассказа «Люцерн».)

Венгр Густав Шерени навещает Ясную Поляну 2 августа 1905 года — в пору революционного брожения в России, не оправившейся от поражения в войне с Японией. Толстой был несколько раздосадован настойчивыми расспросами молодого журналиста о текущей политике и ошеломил его ответом о немецком кайзере Вильгельме: «Он большой дурак и очень наглый... То же, что он делает, не имеет никакого влияния на русский народ». Шерени не решился привести эту оценку в своем интервью, но его сохранила для нас запись Д. П. Маковицкого[1]. *Вместе с тем Маковицкий свидетельствует, что Толстой был с молодым венгром «доброжелателен, добродушен, особенно к концу разговора».*

Публикуемые интервью — лишь небольшая часть того объемного портрета, какой возникает в восприятии современников писателя.

В. ЛАКШИН,
доктор филологических наук

[1] М., «Современник», 1986.

[1] «Яснополянские записки». «Литературное наследство», т. 90.

Эд. КЛАПАРЕД

ДЕНЬ, ПРОВЕДЕННЫЙ У ТОЛСТОГО

(Газета «Смен литерер». 1897, 8 ноября)

В Москве только что закончился съезд медиков. Пышные празднества, увенчавшие собою дни напряженного труда, завершились, пора было возвращаться на родину. Каждый выбирал путь по своему вкусу — через Финляндию, Кавказ или Константинополь. Что же касается наших планов, они были и скромнее, и дерзновеннее: причины личного свойства побуждали нас к встрече с графом Львом Толстым; нам было хорошо известно, что он высоко ценит человека, память о котором дорога моей спутнице, и мы сочли своим долгом навестить Толстого и побеседовать с ним. Мы отправились в Ясную Поляну не из любопытства, но по зову сердца(...).

Лакей спешит в дом предупредить хозяина о нашем прибытии. Толстой теперь не ходит за плугом — уже несколько лет, как он, по настоянию врача, оставил тяжелую работу в поле. Писатель вышел из кабинета, приблизился и приветствовал нас, сердечно протянув нам обе руки. Одет он был очень просто: в серую домотканую блузу, перетянутую черным кожаным поясом, темные брюки и низкие башмаки. Приметы внешности Толстого — чисто русские, типичные; лицо его обрамлено длинной седой бородой, из-под густых бровей сияют голубовато-серые живые глаза, высокий лоб выдает в нем мыслителя. Роста Толстой среднего, сложен весьма пропорционально, осанка у него прекрасная, голова посажена плотно, плечи широки. Волосы его едва тронула седина, и, хотя философу из Ясной Поляны уже 69 лет, своей юношеской бодростью он словно бросает вызов времени.

Обменявшись любезными приветствиями, мы все поднимаемся на широкую деревянную галерею, которая служит одновременно верандой и столовой: на столе дымится самовар, напоминая, что мы действительно в России,— немудрено и забыть об этом, ведь в нынешнем году стоит такая жара. Граф указывает нам наши места и предлагает угощаться.

Но вот и госпожа Толстая со старшей дочерью. Они слегка удивлены при виде двух незнакомых людей, которые сидят на их местах и пьют чай из их чашек... Вскоре все разъясняется, мы тут же знакомимся. Русские обладают невиданным даром гостеприимства. Едва ступив на порог, уже чувствуешь себя как дома: они умеют ободрить и обласкать гостя, не теряя при этом естественности и простоты. У них нет места затверженным оборотам светской речи, ужимкам и жеманству; нет и сдержанности, обязательной у других народов в общении с малознакомыми людьми: каждый безгранично рад принять незнакомца, которого привело в его дом Провидение.

Семья Толстых ведет в Ясной самое здоровое и мирное существование, какое только можно вообразить; вдали от городов, от шума света она безмятежно наслаждается очарованием жизни, окружив обожаемого всеми отца, который своим примером указывает путь к счастью. Труд объединяет членов семьи, и каждый вносит свою лепту в общее дело, творя добро. Госпожа Толстая — высокообразованная женщина; у нее хватает сил и энергии следить за благосостоянием семейства, к тому же она обладает невероятным тактом и умом — их требует от нее оригинальность мужа; вполне понятно, что дочери, особенно старшая, почитают литературные труды отца и готовы отдать все свободные часы в его распоряжение. Кажется, девизом ежедневных дел стало изречение «Mens sana in corpore sano» [1]; впрочем, физические упражнения нисколько не мешают занятиям духовным. Граф встает очень рано и все утро проводит в кабинете. Затем прерывает работу и, как обычно (делает он это регулярно, с весны и до поздней осени), отправляется в «паломничество» к речушке, которая течет невдалеке, за большим лесом, огибая пышный зеленый луг, где пасутся коровы. Домишко, крытый соломой, представляет собою купальню, дно тут глубокое, и нет лучше места для упражнений в плавании... Остальные члены семьи, в свою очередь, тоже добираются до речки, но если граф всегда идет пешком (дорога туда и обратно занимает около часа), то его жена и дочери нередко берут особый деревенский «экипаж» — его теперь не увидишь нигде, кроме русской провинции. В нем лишь одна продольная скамейка без спинки, пассажиры усаживаются спиной друг к другу, свесив ноги по обе стороны. Чтобы сохранить равновесие, нужно иметь привычку к такой езде, да и лошади без дороги то и дело спотыкаются.

В два часа звонят к обеду, и все собираются на галерее. За стол, кроме нас, садится еще человек десять, в том числе уроженка кантона Во и немка — гувернантки младших детей. Толстой, что редко бывает с людьми, посвятившими жизнь защите своих идей, удивительно терпим. Если к себе он строг, склонен даже к стоицизму, то к другим весьма снисходителен: это проявляется как в мелочах, так и в серьезных вопросах. Он убежденный вегетарианец, но вовсе не принуждает домашних обходиться без мяса: пока он делит со старшей дочерью, своей верной последовательницей, блюдо жареных грибов, мы, недостойные, поглощаем сочное жаркое... Более того — на столе бутылка красного вина! Вероятно, вино подали просто из уважения к нам, ибо никто из членов семьи и домочадцев к бутылке не прикоснулся: среди многочисленных графинов с водой и квасом она явно выглядела лишней.

Граф интересуется всем, пристально следя из своего уединения за событиями в Европе: ничто не ускользает от его взгляда, и он бережно хранит в памяти все новости, словно редкие документы. Уже очень давно отшельник из Ясной никуда не выезжал, но прекрасно помнит, как посетил Монтрё лет сорок назад. Тогда же он побывал и в Женеве.

— Существует ли еще «Отель де Берг»? — спросил Толстой.— Я останавливался там... как сейчас, вижу его... он стоял перед островом Руссо.

И вдруг прибавил:

— Кто же теперь у власти в Женеве — радикалы или консерваторы? Мне хотелось бы знать. Помню, когда я жил в Женеве, в то время главой был некий сторонник развития промышленности... как же его звали? Ах да, Фази. И что же было потом?

Я вкратце изложил основные события истории.

— А социалистов в правительстве у вас, при демократии, наверное, нет?

— Почему же, есть.

— Организуют ли они забастовки?

Я рассказал о забастовке железнодорожников, которая повергла страну в прискорбное состояние, лишив ее транспортных связей. Беседа на эту тему, казалось, весьма интересную хозяину дома, продолжалась еще какое-то время. Но мы хотели бы услышать рассказ Толстого о себе, задать хотя бы один из тысячи вопросов, возникавших у нас при чтении его книг... Все усилия были тщетны — стоило нам заговорить о самом писателе, как он скромно переводил разговор на другую тему:

— В чем именно состоит различие между вашими радикалами и консерваторами?

Довольно трудно объяснить эту тонкость иностранцу, незнакомому с политикой нашего небольшого государства. Я сообщил Толстому о стремлении партии радикалов к централизации управления и в качестве примера упомянул о национализированных железных дорогах.

— Почему же,— прервала меня госпожа Толстая, которая внимательно слушала наш разговор,— почему вы считаете, что государство не должно владеть крупными предприятиями?

Ответил ей сам Толстой:

— Передача собственности в руки государства — идеально логичный шаг. Но поскольку действительность не идеальна и государственные чиновники — существа не совершенные, усиление финансовой мощи тех, кто ставит интересы своих политических союзников выше интересов страны, весьма опасно. Разве не так?

Затем Толстой заговорил о нашей системе народного образования и задал нам массу вопросов, касающихся ее особенностей: в каком возрасте дети идут в начальную школу, сколько лет отведено на обязательное обучение. По его мнению, бессмысленно учить древним языкам тех, кто не намерен продолжать образование, зато современным языкам следует уделять в классе больше внимания.

[1] В здоровом теле — здоровый дух (лат.).

После обеда мы отправляемся смотреть дом, заглядываем в одну-две комнаты и убеждаемся, что там царит истинная простота. В коридоре, рядом с прихожей, высятся книжные шкафы: разумеется, в кабинете им не хватило места. Кабинет с белёными стенами и сводчатым, словно в церкви, потолком, похож на келью и в самом деле невелик. Вдоль одной стены — полки, тесно уставленные книгами, напротив — два окна, они выходят в парк. Наше внимание, конечно, привлек рабочий стол, где лежат рукописи. Сейчас Толстой заканчивает большое произведение, которое долго писал; вскоре работа будет напечатана. Она посвящена проблемам эстетики: мне кажется, не стоит делать из этого тайну. У стола стоит кресло, обитое черной кожей, и маленький шезлонг. На круглом столике — колода карт: Толстой иногда раскладывает пасьянсы, чтобы дать себе отдых; рядом — корзинка с фруктами, напоминающими о вегетарианских вкусах хозяина. Наконец, у двери на гвоздиках коекакая одежда, на полу несколько пар башмаков. Абсолютный покой царит в этом святилище, где кроткий апостол из Тулы написал бóльшую часть своих многочисленных сочинений.

Оставаться здесь долго мы не смеем, и, едва удовлетворив вполне понятное любопытство, переходим в другую комнату. Тут стоит пишущая машинка, на которой старшая дочь Толстого перепечатывает рукописи отца, а также ответы на письма — и эта обязанность возложена на нее.

Гостиная просторна, светла, белёные стены украшает лишь старинная картина, краски которой потемнели от времени: несомненно, ее повесил здесь один из предков писателя; в углах комнаты поставлены два бюста Толстого. Мебель очень проста, стулья плетеные; нет ни драпировок, ни ковров; единственная роскошь, если можно так сказать,— это два рояля.

Граф страстно любит музыку, но более охотно посвящает часы досуга физическим упражнениям. Каждый день после обеда Толстой час-два играет в теннис на площадке, устроенной под сенью деревьев: такую нагрузку он считает необходимой для своего здоровья. Дети Толстого — достойные противники в игре, но не всегда им удается одержать победу. Нужно признать, что семидесятилетний патриарх из Ясной сохранил гибкость членов, которой могут позавидовать многие «молодящиеся» мужчины. Мы были свидетелями того, как он играл, не сходя с места, целых два часа, хотя его партнеры несколько раз сменяли друг друга. Если слишком сильно посланный мяч улетал в заросли травы или попадал в кучу пожелтевших листьев на дорожке парка, Толстой быстрее всех бросался его искать, шарил по земле... и сразу находил.

Толстой полагает, что самые здоровые гимнастические упражнения — отнюдь не те, что делаются при помощи различных аппаратов и приспособлений. Он, как известно, превыше всего ставит физический труд, и не столько непременное изготовление каких-нибудь вещей, сколько выполнение множества мелких дел, которые обычно поручают слугам: пойти в лес по дрова, посадить куст и тому подобное. И в этом я убедился сам. Небо с утра было ясным, но днем вдруг потемнело, и когда посыпались крупные капли грозового ливня, граф решил снять теннисную сетку. Он сам принялся сворачивать ее, выдернул опоры, к которым она крепилась. Хотя Толстой был в одной рубашке и с непокрытой головой, он неторопливо, не обращая внимания на сильный дождь, обмотал сетку вокруг опор и только потом вернулся в дом. Тут из кустов показался крестьянин и, утирая слезы, поспешил за ним. Несчастный поджидал нас, чтобы обратиться к графу с мольбой о помощи: его лачуга сгорела дотла. Выслушав печальную новость, Толстой успокоил его, сказав, что сам пойдет на место происшествия и решит, как помочь беде.

Толстой для местных жителей словно отец, и не только для крестьян из Ясной Поляны, расположенной у въезда в его усадьбу, но из всех окрестных деревень, даже самых отдаленных.

День промелькнул слишком быстро, настала пора прощаться, хотя нам хотелось задать графу еще сотни вопросов. Но, как я уже сказал, мы приехали не из любопытства, и мне ни в коем случае не подобало играть роль репортера[1].

Проведя в гостеприимном доме всего один день, не стоит выносить о хозяине скороспелые суждения, однако вполне позволительно составить впечатление о нем. Русский писатель показался нам человеком искренним, необыкновенно естественным и добрым. Трогательное восхищение домашних главой семьи не имеет ничего общего с чувством, которое мог бы вызвать упрямый старик-оригинал, приносящий всё в жертву ложным теориям и закрывающий глаза на истинное положение вещей; Толстой — человек действия. Но он страдает оттого, что в бескрайней России все больше ощущает себя «прокаженным»: друзья покидают его, боясь себя скомпрометировать; разве не перевели недавно в другое место тульского губернатора, достойного человека, питавшего к графу дружеское расположение? Всю корреспонденцию Толстого аккуратно вскрывают по приказу полиции и, когда жена писателя находится в отъезде, перехватывают ее письма к мужу. Безобидные сказки, написанные для развлечения и наставления крестьян, цензура сразу запретила. Еще случай: газета опубликовала за подписью Толстого нелепую статью, к которой он не имел ни малейшего отношения.

Писатель терпеливо переносит эти притеснения, являющиеся скорее делом рук самих чиновников, нежели правительства.

Иногда ходят слухи, что Толстой, мол, впал в истерическое состояние или что силы его угасают: напротив, мы увидели человека крепкого, ладного, здорового и полного сил. Г-н Ломброзо [1], побывавший в Ясной Поляне несколькими днями раньше нас, наивно признался госпоже Толстой, что ее муж вовсе не такой странный, как он полагал. Вот и доказательство: бывает трудно поставить диагноз, даже сидя у постели больного, а прогнозы, которые строят на расстоянии нескольких тысяч километров, по меньшей мере проблематичны. Приходится признать, что учение о симптомах еще недостаточно разработано, и мы не можем судить о творчестве писателя, основываясь на знании одной только его натуры. Удалось ли постичь тайну творчества Льва Толстого тем, кто нападает на него якобы во имя науки?

Перевод с французского Светланы Истратовой.

[1] В оригинале — по-английски, курсивом.

Густав ШЕРЕНИ

ПОСЕЩЕНИЕ ГРАФА ТОЛСТОГО

(Газета «Будапешти хирлап». 1905)

Тула, 16 августа

В эти грустные и тягостные для России дни я подумал, что было бы интересно встретиться с графом Львом Николаевичем Толстым, яснополянским отшельником, который, обособившись от мира, то мрачно, то с надеждой взирает на тучи, что сгустились над Россией и никак не хотят рассеяться.

Вчера с рассветом я отправился из Москвы в Тулу и разыскал там барона Мантейфеля, директора тульского банка, в котором жена Толстого хранит деньги. В редакции «Русских ведомостей» я слыхал, что великий россиянин уже оправился от своей последней болезни, но прежде чем ехать к нему, я все же хотел быть в этом точно уверенным. И когда я поделился своими намерениями с приветливым и любезным директором банка, он стал меня отговаривать.

— Не надо вам ехать, уж поверьте мне. Только зря намучаетесь в дороге. Граф не примет вас, не надейтесь, всего несколько дней назад корреспондент одной крупной берлинской газеты так и не попал в Ясную Поляну. Ее сиятельство известили, что муж ее еще слаб после болезни и никого не принимает.

При столь малой надежде на встречу неудивительно, что я заколебался: не вернуться ли мне обратно или все же проехать эти четырнадцать верст, хотя, быть может, и напрасно?.. Но решил рискнуть: а вдруг мне улыбнется удача? И через полтора часа я уже подъезжал к усадьбе старого

[1] Чезаре Ломброзо (1835—1909) — известный итальянский врач и криминолог.

русского писателя и мыслителя, к скромному двухэтажному зданию с побеленными стенами и зеленой крышей.

Было пять часов пополудни, Толстого дома я не застал, несколько часов назад он отправился верхом в ближайший лес. Графини тоже не было в имении, она, как я узнал, уехала в Москву. Меня принял их домашний врач, Душан Маковицкий, последователь Толстого, выходец из Венгрии, тоже вегетарианец и необыкновенно интересный человек. Лечить людей он считает своей священной обязанностью — как это важно для людей его профессии! За прием он берет столько, чтобы ему хватило на пропитание на день, не больше. Утром, например, больные платят ему за прием по две копейки — и набирается сумма, в которую примерно обходится его завтрак, днем Душан берет по четыре-пять копеек, а вечером снова по две.

Когда я заговорил с ним о цели моего приезда, он тоже высказал предположение, что граф мне откажет. Толстому это наскучило: каждый иностранец, приезжающий в Россию, заявляется к нему в гости, чтобы поглазеть на него как на диковинное чудо. И это бы еще полбеды, но гостеприимством Льва Николаевича (так запросто называют здесь графа) многие злоупотребляют. Две-три фразы — и появляется книга для автографов, и уже гость просит автограф или даже несколько слов на память. Граф хочет со всем этим покончить. Он старый, больной человек, но что самое главное, он неутомимый труженик, который и в старости продолжает работать. Этот год в его жизни — один из самых плодотворных, хотя беспрерывные гости и докучают ему.

— Другими словами, мне ехать обратно? — спросил я уныло. Ни за что на свете я не хотел бы быть в тягость графу, к которому испытываю глубокое уважение...

— Раз вы уж здесь, я предложил бы вам дождаться его. Все будет зависеть от его настроения и от того, осенили ли графа во время верховой езды какие-нибудь новые мысли и не захочет ли он записать их. Если позволите, я бы посоветовал вам: изложите ваши вопросы коротко, потому что вы можете рассчитывать на пять — восемь минут беседы, не больше.

Только я собрался ответить ему, как в соседней комнате — библиотеке — услышал торопливые четкие шаги, приближающиеся к нам. Врач подмигнул мне: вот он, решающий момент. Сердце мое забилось, я вскочил. Минуту спустя я уже стоял перед величайшим сыном России. На Толстом была простая белая крестьянская рубаха и черные ворсистые шерстяные брюки, мятые, с налипшими травинками — вероятно, Толстой сидел в них на земле. На ногах пыльные грубого покроя сапоги. Но во всем облике подвижного старца, в его кротких и в то же время горящих внутренним огнем голубых глазах, в густых нависших бровях и взлохмаченной гриве волос было что-то такое, от чего сразу становилось ясно: под мужицкой рубахой бьется сердце самого выдающегося сына русской земли, и в этой седой голове за глубоко посаженными глазами кроется божественная мастерская чувств, мыслей, идей мирового значения. Личность великого человека поневоле излучает такое превосходство, что стоять рядом с ним и оставаться беспристрастным даже в течение пяти минут невозможно. Я смотрел в его ласкающие, лучистые глаза и не произносил ни слова, я не встречал в своей жизни никого, кто бы смотрел так, как Толстой.

Я представился, он внимательно глядел на меня, будто анатомировал или взвешивал, потом надтреснутым старческим голосом спросил, что мне угодно. Я сказал, он немного подумал и ответил мне по-немецки:

— Если вы не торопитесь, пообедайте сегодня с нами. За обедом мы и поговорим. А теперь я на час ухожу в свою комнату. До свидания.

От удивления, в которое повергло меня это неожиданное приглашение, я не сразу пришел в себя. Чуть сгорбленная фигура Толстого уже скрылась, когда врач поздравил меня и спросил, не хочу ли я прогуляться с ним по парку.

Само собой разумеется, мы говорили о Толстом, Толстом-человеке и Толстом-пророке. Врач сказал, что граф, которому на днях исполнится семьдесят семь лет, исключительно трудоспособен. Сейчас его занимает внутреннее положение России, и потому работы этого года — общественного или экономического характера. У него уже готовы, но еще не опубликованы статьи: «О современных событиях», «Единое на потребу», «Как освободиться рабочему народу», а также «Великий грех», эта статья уже вышла в «Тайме» и в «Курьере Европы», но русскому журналу две недели назад цензура запретила ее печатать.

Распорядок дня графа предельно прост. Он встает в восемь часов и первое, что делает,— приводит в порядок свою спальню: он считает унизительным, чтобы его обслуживали другие, особенно если речь идет о том, что каждый человек непременно должен делать сам. Потом умывается, одевается и идет в свой рабочий кабинет, там он завтракает, но то и дело отрывается от еды, чтобы записать ту или иную осенившую его мысль. До полудня он успевает еще сделать гимнастику, потом — легкий обед, после которого он гуляет по парку или едет верхом к своему любимому пригорку и оттуда смотрит на яснополянские леса, их посадили здесь славяне после татарского нашествия, чтобы оборонять русские земли от половцев. Вернувшись домой, граф примерно час спит, потом — уже по-настоящему — обедает в кругу семьи, выслушивает просителей — крестьян из ближайших деревень, которые приходят в имение за советом или за помощью. Доктор решительно опроверг слухи о том, будто Толстой только на словах проповедует любовь к ближнему. Никогда еще тот, кто в самом деле беден, не уходил от Толстого с пустыми руками, хотя у самого у него состояния нет, все принадлежит жене. А злобные слухи распускают те, кто, ссылаясь на его принципы, хотят выманить у Толстого деньги, и кому граф поэтому отказывает.

Одно английское издательство, между прочим, недавно предложило Толстому миллион рублей за монопольное право печатать его произведения. Известно: все, что пишет Толстой, могут издавать любой и каждый, не выплачивая писателю гонорара. Толстой считает, что творения человеческого ума должны принадлежать всем людям, ими может пользоваться весь мир, без каких-либо условий и ограничений. Его жена, которая тоже много работает и пишет, согласна с ним в этом.

За беседой быстро и незаметно пролетело время, было уже шесть часов, и из имения донесся до нас звук колокола, зовущего к обеду. Когда мы подошли к веранде, увитой виноградом, на которой летом обедала семья писателя, Толстой уже сидел там среди домочадцев и дожидался нас. Он как раз раздавал милостыню нищим, а когда увидел нас, пошел навстречу и снова тепло и радушно пригласил меня к столу и усадил по правую руку от себя. На веранде уже был сын Толстого Андрей (он недавно — больной — вернулся с фронта) и молодой человек с Кавказа, который прочел произведения Толстого и стал его последователем. Позднее пришла незамужняя дочь Толстого, выглядевшая старше своих двадцати лет.

Когда подали суп с капустой — русские щи (Толстой вегетарианец, но повар-француз готовит и мясные блюда для семьи и гостей), за столом уже велась оживленная беседа. Толстой предложил мне задавать вопросы и отвечал на них просто и непринужденно. И пока он говорил, никто не дотрагивался до еды, все жадно смотрели ему в рот, боясь упустить хотя слово. Прежде всего я почтительно попросил Толстого предупредить меня, если он не захочет отвечать на какой-либо вопрос, и я, разумеется, не стану упоминать об этом в статье, на что Толстой решительно возразил:

— Вы можете спрашивать меня о чем угодно. Я отвечу в соответствии со своими убеждениями, потому что мой главный принцип — истина, и человек в ответе только перед Богом. Я не боюсь никого на свете и буду говорить правду, даже если меня снова предадут анафеме те, чья вера в Бога, вера в любовь слабее, чем моя.

На мой вопрос, что он думает по поводу внутренних событий, Толстой сказал, что нынешняя политика его не интересует, он занят будущим. К тому же, добавил он, от царизма он и не ждет ничего и народам ничего хорошего не предрекает до тех пор, пока они живут в рамках государства, где несколько человек, обладая властью, подчиняют себе все и вся, даже если это государство и республика.

— Разрешите мне, господин граф,— сказал я,— задать в этой связи один вопрос. Правда ли, что вы отрицаете патриотизм и считаете его варварством?

— Да, правда,— подумав, ответил Толстой.— Я следил за оборонительной войной буров против прославившейся своим либерализмом Англии и пришел к убеждению, что британский империализм ненамного лучше царизма. Я гляжу на колонизаторскую Америку, на захватчика-кайзера, который рвется к мировому господству на суше и на море, подавляя другие народы... Милитаризм, прикрываясь флагом отечества, сгоняет народ в армию, лишает людей человеческого достоинства. Да еще принуждает гордиться военными мундирами, которые он напяливает на своих рабов. Я выступаю против таких деяний государств и «отечеств». Вы видели мой

парк, там все травы, цветы, деревья растут так, как сотворил их господь бог и как ему это угодно... Вот и человек должен быть так же свободен на земле, как растения.

— Ваше сиятельство, вы хотите, чтобы мы, согласно учению Руссо, вернулись назад к природе?

...Я не хочу впадать в крайность, знаю, что человек — существо общественное, надо, чтобы он жил в союзе с другими, но не в системе современного государства, которое для него только бремя.

— Разрешите мне рискнуть высказать мнение, что патриотизм — самое священное человеческое чувство и нет смысла подвергать его осуждению, потому что в реальной жизни мы еще долгое время не сможем обходиться без него. С таким прошлым, какое у него есть, патриотизм не может рухнуть в один день. Во имя патриотизма свершались самые благородные дела и достигали немалых успехов, благодаря ему греки спасли цивилизацию от тирании персов, патриотизму Рим обязан своим величием, а Англия — свободой. В течение тысячелетней истории человеческого рода мораль больших и малых народов, муки порабощенных и подвиги победителей — все это было вызвано к жизни патриотизмом. Я приверженец любви к родине и не отношу патриотизм к тем понятиям, которые устарели.

— Люди, конечно, не замечают отвратительного себялюбия, которое есть в патриотизме, а его в нем достаточно. Отгородить какую-то территорию от прочих людей, потому что эти люди говорят на другом языке, неверно, так как все мы — братья. Уже брезжат новые времена, своими старческими глазами я вижу этот рассвет. Отечество и государство — это то, что принадлежит к минувшим мрачным векам, новое столетие должно принести единение человечеству. Патриотизм служит только богатым и властительным себялюбцам, которые, опираясь на вооруженную силу, притесняют бедных. Всеобщая любовь к людям — вот что меня воодушевляет, всеобщая свобода, труд и прогресс! Пусть народы поймут друг друга, протянут друг другу руки и станут братьями.

— Если бы на земле была только одна нация, патриотизм не был бы нужен, но наций много, и человек любит прежде всего свою нацию... И к обществу, из которого он вышел и в котором живет, он относится с любовью. Будем врагами государства, но не отечества, в любви к нему эгоизм самого благородного свойства.

— В вас безусловно говорит венгр, я знаю, венгры — патриоты, но это означает, что вы находитесь в начале своего развития. Несколько лет назад я писал об этом... Впрочем, не будем говорить больше на эту тему, потому что вы, венгры, никогда не поймете меня.

— Мне было бы любопытно узнать у вашего сиятельства, что думаете вы, выдающийся русский мыслитель, о сегодняшнем внешнем положении России. Меня и всех венгров, например, очень интересует ваше мнение о противоборстве славянского и немецкого народов. Нам судьба предопределила быть между этими двумя народами, и наша будущая история будет развиваться параллельно с историей либо одного, либо другого народа. Чтобы подчеркнуть, что именно меня интересует, мне хотелось бы спросить у вас: каково мнение вашего сиятельства о личности кайзера Вильгельма II и считаете ли вы искренней ту дружбу, которую он так часто афишировал во время войны?

При этом вопросе лицо гениального славянского мыслителя вспыхнуло. Откинувшись на спинку стула и закрыв глаза, он, словно пророчествуя, сказал:

— Друзья или враги мы с Германией и с этим... кайзером (Толстой употребил исключительно сильное выражение, и хотя я получил разрешение писать обо всем, я все же решил не приводить его здесь), для меня и для русских совершенно безразлично. Россия будет жить! — воскликнул мудрый старец, сверкая глазами,— потому что она должна жить. Потому что она могучая, великая, ей и предназначено быть великой. Германского народа уже и в помине не будет, а славяне будут жить и благодаря своему уму и духу будут признаны всем миром...

Обед закончился около семи часов. Толстой выпил еще бокал кавказского вина цвета крови, и, пока он пил, я подумал: вот и в нем сколько этой характерной для славян противоречивости. Врагу патриотизма оказалось достаточно одной искры, чтобы вызвать вспышку патриотизма и чтобы в этом священном огне засветился, загорелся он сам, несмотря на спокойствие и мудрость, несмотря на консерватизм своих семидесяти семи лет.

Перевод с венгерского Ларисы Васильевой.

Наша публикация

Судьба поэта Александра Ивановича Введенского (1904—1941) трагична: он практически неведом читателям своей родной страны. Более или менее известны его стихи для детей («Может, это серый кот виноват? Или это черный пес виноват?»), но самое интересное — «взрослое» творчество Введенского — доходило до печати всего лишь считанное количество раз (при жизни — дважды по небольшому отрывку в сборниках ленинградского Союза поэтов). Виною тому, видимо, не столько то, что Введенского, как и многих талантливых людей той эпохи, пришлось реабилитировать посмертно, сколько новизна поэтического слова в сочетании с «последней прямотой» экзистенциального вопрошания.

Близкий друг Даниила Хармса, Введенский вместе с ним, Н. Заболоцким, К. Вагиновым вошел в Объединение реального искусства — ОБЭРИУ, удивлявшее литературный Ленинград на рубеже 20—30-х годов театрализованными поэтическими вечерами, феерическими авангардными представлениями. Введенского, однако, мало занимала эта внешняя, игровая сторона обэриутства. В его системе «реального искусства» равенство, взаимопревращение слова и вещи не метафора, а реальный магический акт:

и тут, за кончик буквы взяв,
я поднимаю слово «шкаф»,
теперь я ставлю шкаф на место,
он вещества крутое тесто.

Постфутуристическая молодость Введенского — «поиски смысла в бессмыслице». В отличие от фонетической зауми футуристов это уже заумь «семантическая»: ранние стихи Введенского напоминают экспериментальные тексты по исследованию проблемы смысла:

лежу однажды бездыханный
и образ вижу сонной бездны
вдруг вижу стрелок наслажденье
иль ярких птичек колыханье
панахи добрые девиц
и Мономах в кулак свистит
могильный холм растет зеленый
зеленый он растет зеленый
быть может круглый нет зеленый
медаль чиновника на нем...
(«Минин и Пожарский», 1926)

Фиксируя работу «сумеречного» сознания — на грани света и тьмы, яви и сна, жизни и смерти, Введенский обнажает структуру ассоциативных связей, корни человеческих представлений о смысле слова и вещи. Обнаруживаются постоянные, заложенные глубоко в сознании первичные символы-знаки, или, по терминологии, употреблявшейся в кругу друзей Введенского, «иероглифы». Они пронизывают тексты Введенского насквозь и всю полноту значения обретают лишь в широком контексте его творчества. Так, «вода», очевидно, означает небытие, «волна» — всеобщую относительность, «человек на коне» — мысль о смерти, «тарелка» — повседневную суету, «орел» — духовное начало и т. д. Опираясь на эти сквозные «иероглифы» сознания, Введенский идет по пути последовательного самообъяснения: от «зауми» к «неслыханной простоте».

Несмотря на молодой еще возраст (все тот же роковой 37-й), он предчувствовал и прочувствовал свой конец. Чем ближе к этому концу, тем сильнее тоска по «настоящему» чуду вселенского инобытия («Ковер Гортензия». см.: «В мире книг», 1987, № 6), осознание невозможности взаимопонимания, взаимопроникновения человеческих существ, глубокая стоическая печаль несбывшейся жизни. Введенский писал «запоем», где попало, щедро дарил и терял свои рукописи, и только благодаря ныне покойным его друзьям — Я. С. Друскину и Т. А. Липавской,— несмотря на репрессии, блокаду и десятилетия, мы располагаем сегодня его произведениями. Уцелела, очевидно, едва лишь пятая-шестая часть написанного. Убеждена, что творчество Введенского должно стать достоянием наших читателей, любителей поэзии, ее истории!

Анна Герасимова.

Александр ВВЕДЕНСКИЙ

ЗЕРКАЛО И МУЗЫКАНТ

Посвящается Н. А. Заболоцкому.

В комнате зеркало. Перед зеркалом музыкант Прокофьев. В зеркале Иван Иванович.

МУЗЫКАНТ ПРОКОФЬЕВ.
Иван Иванович, ты хмур,
ты хмур, печален и невесел,
как тучка, голову повесил,
Иван Иванович, ты амур.
ИВАН ИВАНОВИЧ *(осваиваясь)*.
Река или божок?
Если река,
то я водянист,
если божок,
то разумом чист.
МУЗЫКАНТ ПРОКОФЬЕВ.
Ты бог конечно. Посмотри,
желтеют твердые цветочки
с безумным камешком внутри.
Они забавные кружочки,
значки бесчисленных светил.
ИВАН ИВАНОВИЧ.
А ты их посетил?
МУЗЫКАНТ ПРОКОФЬЕВ.
А как же? Посещал не раз,
положим мысленно...
ИВАН ИВАНОВИЧ.
И что же?
МУЗЫКАНТ ПРОКОФЬЕВ.
Да там все то же,
как у нас.
Допустим выглянет звезда
из своего гнезда
и залетает будто муха.
Я мигом напрягаю ухо,
я тихо в зверя превращаюсь
и обонянье напрягаю.
Вот в неподвижность я пришел,
и сел на стол,
и стал как столб,
чтоб уловить звезды дыханье
и неба скучное рыданье.
Потом присел на табурет
и созерцал небес портрет.
ИВАН ИВАНОВИЧ.
И какова была картина?
МУЗЫКАНТ ПРОКОФЬЕВ.
Весьма печальна и темна,
непостижима для меня, умна.
Смотри — в могильном коридоре
глухое воет море,
и лодка скачет как блоха,
конечности болят у лодки.
О лодка, лодка, ты плоха,
ты вся больна от ног до глотки.
А в лодке стынет человек,
он ищет мысли в голове,
чтоб все понять и объяснить
и чтоб узнать движенья нить.
Как звать тебя существо? —
спрошу спокойно его.
Ответит: звали Иваном,
а умер я под диваном.

ИВАН ИВАНОВИЧ.
Скажи, скажи, какой несчастный,
какая скучная кончина,
о, как мне жаль тебя, мужчина,
ты весь как будто сок ненастный.
я слышу голос твой вокальный.
Я плачу — херувим зеркальный.

ВБЕГАЮЩАЯ МАТЬ.
Иван Иванович ты божок,
ударь в тарелку дунь в рожок,
в стекле, испуганном и плотном,
тебя мы видим все бесплотным,
ты не имеешь толщины,
как дети, люди и чины.
МУЗЫКАНТ ПРОКОФЬЕВ.
Однако, подойдя к окошку,
я вижу ночь и хмурую дорожку,
и на дорожках этих узких
я вижу разных птичек русских.
Вот это зяблик, это ворон,
вот соловей с березы сорван.
Вот потрясающий, как филин,
сидит на дереве Томилин
и думает, что он сова,
и составляет он слова.
ИВАН ИВАНОВИЧ.
Да, это я умею,
хотя подчас немею,
не в силах выразить восторга
пред поведеньем Наркомторга.
Глядите все:
цветы стоят на расстоянии,
деревья мокрые в росе
фигуры гнут как девы Тани,
услышьте все:
из-под земли несутся ноты,
бегут бобры, спешат еноты,
все звери покидают норы,
минорные заводят разговоры,
и на своем животном языке
ругают Бога сидя на песке:
ты, Бог наш, плох
ты, шар наш, худ,
от толстых блох
свирепый зуд.
Сердиты мы, владыка всех владык,
и в дикой ярости надуем свой кадык.
ВХОДЯЩАЯ БАБУШКА.
Собранье этих атеистов
напоминает мне моря
ругательств умных сатанистов,
их мысли, будто якоря,
застряли в сомкнутых канавах
и в человеческих тяжелых нравах.
Представим все отсутствие земли,
представим вновь отсутствие всех тел,
тогда войдут бездушные нули
в сей человеческий отдел.
Побледнеет, как ланита,
минеральная планета,
вверх покатится источник
и заплачет, загрохочет,
скажет голосом песочник
что он сыпаться не хочет,
что он больше не песок,
всадник мира и кусок.
ИВАН ИВАНОВИЧ.
Странно это все у вас,
на столе пылает квас,
все сомненья разобьем,
в мире царствует объем.
Окончательный закон
встал над вами, как балкон.
Говорил философ Кант:
я хотя не музыкант,
но, однако, понимаю
мыслей чудную игру,
часто мысли вынимаю
и гуляю на пиру.
Суп наперченый вкушаю,
ветчину и рыбу ем,
мысли, мысли, не мешаю
вам пастися между тем.
Между тем пасутся мысли
с математикой вдвоем,
мы физически прокисли,
давит нас большой объем,
а они и там и тут
бессловесные растут.
МУЗЫКАНТ ПРОКОФЬЕВ.
Неужели мы так всесильны?
ИВАН ИВАНОВИЧ.
Да, по чести вам скажу.
Я, допустим, из красильной
нынче утром выхожу,
я носил туда свой фрак,
чтоб он мне напомнил мрак.
По земле едва шагаю,
за собой не успеваю,
а они вдруг понеслись.
— Мысли — я сказал — вы — рысь!
Мысли вы быстры как свет.
Но услышал и ответ:
— Голова у нас болит,
Бог носиться не велит,
мир немного поредел,
а в пяти шагах — предел.
МУЗЫКАНТ ПРОКОФЬЕВ.
Чем же думать?
Чем же жить?
Что же кушать?
Что же пить?
ИВАН ИВАНОВИЧ.
Кушай польку,
пей цветы,
думай столько,
сколько ты.

Ноябрь 1929.

Взгляд на обратную сторону Луны

В нескольких номерах журнала состоялся не только «Испытательный стенд», но и целый испытательный полигон, вдобавок с лабораторией. «Двадцатые годы» В. Шаламова, «Вертеп», в № 1— собственно «Стенд» и письма с «просьбой разъяснить вышеуказанные стихи». Все это неотделимо друг от друга. Этот блок не только показывает уровень современной поэзии и современного читателя, но и сравнивает их с уровнем 20-х годов. Что ж, пока сравнение не в пользу нашего времени, но мы ведь только начинаем... Причем начинаем почти на пустом месте. Спасибо «Юности», «Огоньку», «Новому миру», «Знамени» — они возвращают нам забытые имена. Спасибо им, но как же я завидую тем, кто идет за нами. Они не будут ломать голову, кто такой Хлебников. Хармс, Сельвинский (пишу первые пришедшие на ум имена). И наверняка будут знать историю русской поэзии не только по глыбам, но и по камешкам... Хотя как их отличить — глыбы от камешков? Поэзию будут знать по стихам... Все это в будущем, а пока — «Испытательный стенд».

Скажу сразу, что я придерживаюсь основной, на мой взгляд, аксиомы искусства — каждый из художников имеет право на свое видение мира. И если я вижу что-то не так, как, например, О. Ильницкая, то я не буду спорить, что мое видение правильное, а ее — нет. И, спотыкаясь на строчках Дм. Пригова «И даже эта птица козодой...», я склонен относить это скорее к своей непонятливости, чем к небрежности или незнанию автора. Может быть, он хотел, чтобы на его строчках спотыкались? Или я не умею читать его стихи?

Если говорить однозначно, то я — за. За весь «Стенд». Он учит взгляду на обратную сторону Луны. Неужели вы ее никогда не видели? Прочтите «Стенд», и вы сможете описать ее не хуже, чем свое отражение в зеркале. Трудно, очень трудно разбирать «Стенд» по авторам, авторов — по стихотворениям, стихи — по строчкам, строчки — по словам, а те — по буквам. Это удел лиц, «просящих разъяснить вышеуказанные стихи». Любая поэзия — образна. Даже Хлебников, этот суперновато, складывавший новые слова из букв, шел от образа. «Бобэоби пелись губы...» — это всего лишь изображение полуоткрытого женского рта. В центре стихотворения — образ, нет образа — нет поэзии, есть лишь рифмованные строчки. Но у каждого из нас своя система образов, свое восприятие мира, поэтому что-то мы принимаем сразу, что-то после упорной работы (и над стихом, и над собой), что-то не принимаем совсем. По-моему, процесс закономерный, не все же любят жареных лягушек, а, говорят, что это вкусно.

Существует извечное противоречие между мыслью и словом. Иногда самые высокие мысли мы вынуждены выражать банальными словами передовиц и плакатов. «Стенд» пробивает брешь в стене банальности, он дает возможность увидеть голубое небо, вдохнуть чистого воздуха и, может быть, помечтать о звездах.

Игорь Афанасьев, 22 года, г. Саратов

За державу обидно...

Желание написать возникло после замечания редакции: молодежь не откликнулась на очерк «Остановите пулю». Признаться, мне в диковинку само деление на молодежь и «не», особенно если речь идет о гражданской позиции. Возраст не индульгенция, можно до пенсии оставаться недорослем, а можно и должно в ранней юности стать Гражданином, тут нет середины, и все ведают, что творят. Мне 36, так что относите, куда угодно — хоть на погост. Но прежде прошу внимательно выслушать, я попытаюсь изложить свою личную точку зрения на происходящее.

С мародерами сталкивался неоднократно еще с 1975—1976 годов. Мнение о них однозначное — подлежат уничтожению, не только по законам военного времени, но и по общечеловеческим. Но мародеры далеко не самая большая наша беда, эту мразь извести проще, чем кажется, надо только взяться.

С куда большей бедой, на мой взгляд, я столкнулся в августе 86-го. Вел группу по местам боев, нашли безымянную могилу — холмик с пробитой осколком каской да семь гильз от ПТР на бруствере рядом. Стал писать письма — в ответ молчок, стал ходить — смотрят, как на идиота. Год ушел на выяснение номера дивизии, а заодно и моей личности. Тем временем мародеры продолжали перекапывать район, и к октябрю 87-го могила перестала существовать.

Обращался и в прессу. Пытался связаться с местными «красными следопытами» (о них часто и взахлеб пишет наша газета) — эти так законспирировались, что ни с каким миноискателем не найти. Поневоле возникнет мысль об их мифичности, коли в областной газете не могут связно сказать, «был ли мальчик»?

Не подумайте, что славы ищу или благ,— за державу обидно, за тех, кто, нас защитив, себя защитить уже не может.

Поняв, что бороться с мародерами всерьез никто не собирается, воюю с ними один — уничтожаю тайники со снаряжением и лопатами, жгу землянки, подрываю собранные ими боеприпасы. Правда, бывают огорчения. В прошлом году пока за одной группой следил, другие поймали и основательно избили. Но беспокоят не битые ребра и не рука, по которой немецким прикладом ударили. И их становится все больше, методы расправы все жестче, подлее, если хотите. В затушенных кострищах все чаще оказывается всякая дрянь типа запалов и винтовочных патронов, а самодельные мины из лимонок и вовсе не детские шалости. Впрочем, все это лирика, есть дела поважнее.

Что делать со всеми этими минами, снарядами, если до ближайших властей как до неба? Где пройти «курс начальной саперной подготовки»? И последнее, на мой взгляд, самое важное: по району водят плановые группы, ходят те же «красные следопыты» и школьники «по местам боев...», экскурсии.

А ни в одной из школ учителя, видимо, понятия не имеют, как выглядят эти самые «взрывоопасные предметы». (Впрочем, кое-где уже знают, после взрыва в одной из школ Горячего Ключа.) Да и журналистская братия по недомыслию или из благих побуждений вносит свою лепту — прошлым летом прочитал в «Советской Кубани» маршрут выходного дня на гору Кочканова с подробным описанием пути и окопов с воронками. Они бы еще лопаты посоветовали захватить. На этой горе гранаты как дрова собирать можно. Существует еще один обычай — все найденные в округе железяки пионеры стаскивают к подножию ближайшего обелиска или памятного знака, вот тут уж совсем необходимо проследить, что несут. В прошлом году осматривал гору металла у одного обелиска и обнаружил немецкий 75-миллиметровый снаряд, выпущенный из пехотного орудия. Корпус его от удара раскололся, дистанционная трубка торчит наружу, и все это, к моему ужасу, выкрашено свежим суриком, как и обломки касок, саперных лопат и минных упаковок. Сколько еще пальцев и глаз нужно потерять, чтобы начальство зашевелилось.

И еще одна большая беда может случиться: бюрократы всех мастей пытаются тихо задушить попытку горных туристов и альпинистов создать своими силами мемориал «Оборонная тропа» через перевал Марух на Западном Кавказе. Часть работ там уже выполнена, за два сезона там работали полторы тысячи человек из тридцати городов страны. Как видите, ее не так уж мало, молодежи, помнящей о павших и старающейся, чтобы другие не забывали. Но она разобщена, нет координатора, а комсомол тут не помощник, его сводки да отчеты — скорее ушат холодной воды на живое дело.

Ю. С. Рукин, г. Ворошиловград

Бдительность исчезла!

Вы, конечно, не будете сожалеть о том, что в моем лице вы потеряли очередного подписчика на ваш журнал. Однако и мне не нужны такие материалы в нем, где одна «чернота».

Нет в журнале ни романтики, ни фантазии. Нет в нем ничего, что могло бы научить юность хорошему вкусу в музыке, литературе, искусстве, поэзии. На страницы журнала вытащены одни прошлые «обиженные» — Мандельштам, Цветаева, Ахматова, «Великий» Борис Слуцкий (как назвал его Евтушенко). К ним примыкает, конечно, и Высоцкий со своими затюремными «плачущими» и «ноющими» песенками-побасенками, «герой нашего времени». В почете Шатров, Рыбаков, Вознесенский и т. п.— конъюнктурщики, которые спят и видят сенсацию, но не утруждают себя истинной перестройкой, а лишь бы было больше «грязного белья» (простите за резкость).

Перестройка и демократизация ведь не предполагают разложение нашего строя. Однако сейчас создается такая идеологическая база (со стороны определенной части «интеллигенции»), что дальнейшим укреплением социализма даже не «пахнет». Такая категория, как бдительность, исчезла. А это очень опасно.

Г. И. Кувшинов, г. Ленинград

Гласность не имеет возраста

Прочитал в «Литературной газете» в рубрике «Журналы: месяц за месяцем» беглую критику Владимиром Куницыным рассказа молодого автора А. Богословского «До порогов», напечатанного в журнале «Юность». И вот с тех пор все время меня точит червь сомнения: а прав ли Куницын?

Сейчас можно сколько угодно оценивать и пытаться осмыслить тайны культа Сталина и его времени. Выдвигать любые гипотезы и теории, и, наверное, каждая из них будет достаточно обоснована. Но наша сегодняшняя гласность не имеет возраста. И неважно, что «не все опубликовано из написанного непосредственными свидетелями и пострадавшими», это вовсе не отнимает права у любого писателя любого возраста высказываться по этой теме.

Сколько бы ни было мнений о причинах культа Сталина и разнузданной волне — да что там волне! разливе! — репрессий, неумно отбрасывать утверждение об «одураченном народе» (кавычки В. Куницына). Несмотря на широкую гласность, мы до сих пор не знаем, сколько их было — репрессированных, в том числе расстрелянных. Но чтобы репрессировать и расстрелять такое количество людей, нужны были десятки тысяч палачей, оперуполномоченных, следователей, «судей» и «прокуроров», членов разных там «троек» и т. п. Где брали всех этих исполнителей? На Луне? А остальной народ? Он не был «одурачен»? (кавычки В. Куницына).

Некоторые наши сограждане, как страус, спрятали голову в песок еще в тридцатых годах и до сих пор никак не вытащат ее оттуда, продолжая бубнить, что народ одурачить нельзя, народ — он умный, народ все понимает, народ — он не прав не бывает.

М. А. Иванов, г. Одесса

«В гостях у сказки»

Прочитали сегодня в «Юности» (№ 5) подборку писем «Сколько дней до приказа?». И некоторые письма нас задели за живое. Дело в том, что повесть Ю. Полякова мы прочитали сразу после увольнения в запас. И нам эта повесть жутко не понравилась. Почему? Да неправда все это! Все гораздо хуже. Читаешь повесть и делаешь вывод: в описываемой воинской части за «дедовщину» ратовал один Зуб, а все остальные дембеля — такие либералы, что прямо диву даешься. Офицеры, прапорщики — такие все хорошие, благородные, заботливые... А ведь такой офицер солдату и личико искровенить может похлеще дембеля. И объедаться тушенкой из солдатского сухпая на учениях может, когда солдаты сдят один раз в день (и то далеко не до отвала). И жить в палатке с настилом может, и спать на кровати с матрасом, простынями и одеялом, когда неделю идут дожди, заливает водой, а пехота живет в вырытых в земле двухместных могилах, накрытых плащ-палатками. Как вы думаете, много там воды накапливается?

Это все — правда, и далеко не самая ужасная. Передачу «Служу Советскому Союзу!» у нас в корпусе действительно называли «В гостях у сказки». И «дедовство» есть (по крайней мере было в 1987 году, когда мы увольнялись в запас), да еще такое, что описанное Поляковым — детский сад, да и только... А как салаги режут себе вены, вешаются, убегают из-за «дедовства»... Всякое бывало, что в этом письме и не напишешь.

Разумеется, мы нисколько не удивимся, если вы никак не отреагируете на это письмо. Правильно. Зачем тащить на страницы журнала казарменную грязь? Естественно, лучше напечатать письма М. Гавюка, А. Дунова, А. Чуйко и прочих словоблудов, которые либо не видят правды, либо не желают видеть.

А про М. Тухтина мы вообще молчим. Ты, салага! Жаль, что мы не можем поговорить непосредственно, глаза в глаза. Что ты видел в жизни, что дало тебе право столь безапелляционно судить об армии? Парень, ты знаешь, что такое идти в атаку при 45° с гранатометом в голых руках (рукавиц новых не завезли), что такое есть гнилое мясо и тухлую рыбу, что такое изо дня в день весь первый год драться и получать по морде, защищая и защитив, наконец, свое лицо, свое имя, свое достоинство? Что ты знаешь, парень? Единственное, что мы можем тебе пожелать: дай тебе, судьба, более легкой службы.

Группа демобилизованных из Забайкальского военного округа

«Враг народа» в Юровке

Мы — земляки «Матери Марии». Наше село основал ее дед Д. В. Пиленко, названо оно Юровкой в честь ее отца — Ю. Д. Пиленко. Оба они похоронены здесь, на территории нынешнего совхоза «Первомайский», в одном километре от центра совхоза. И могила, и памятник до сих пор сохранились. Летом планируем их реставрировать...

Именно Е. Ю. Кузьмина-Караваева, легендарная «Мать Мария», подарила в феврале 1917 года имение деда местным крестьянам. То есть ее родина, ее корни здесь, у нас. Естественно, что при создании музея села мы хотим рассказать и об этой семье, об этой женщине (ваш журнал в статье И. Е. Богат писал о ней (№ 4, 1986). Однако руководство Анапского городского музея дало нам понять, что об этом говорить нельзя. Там уже несколько лет ведется кампания злобной клеветы на «Мать Марию» — она и «эсерка», и «контра», и «враг народа»... Ее дед — вообще бандит — вырезал местное население при покорении Кавказа. Кстати, то же самое говорят в музее и о А. В. Суворове — тоже бандит, преступник, «огнем и мечом прошел по Кавказу» (??). Его не чтить, а судить бы надо!! А если будем своевольничать, на нас натравят ГК КПСС и заставят все разломать и уничтожить. Ни больше ни меньше.

В музее г. Анапы, кстати, о «Матери Марии» нет ни строчки. (А ведь она для Анапы много сделала!) Так кто же прав — Верховный Совет СССР, наградивший ее боевым орденом, центральная пресса и ЦТ, уже не раз с гордостью о ней рассказавшие, писатели, которые пишут о ней десятки книг, или Анапский музей, с его грязными домыслами, слухами, недомолвками?

Грехно В. Н., директор Юровской средней школы № 8

Бюллетень «Амнистия»

Считаю, что каждый честный человек, прочитав повесть Л. Разгона «Непридуманное» (№ 5, 1988), обязан откликнуться на нее словами горечи и возмущения. Именно возмущения, поскольку даже сейчас, во времена гласности, остаются неизвестными даты и места гибели миллионов советских людей. Если архивы (а ведь без бумажки у нас ничего не делается) уничтожены, надо честно об этом сказать — когда и по чьему распоряжению. Если все это цело, то вот мое предложение.

Необходимо начать издание информационного листка под названием, например, «Амнистия», в котором в алфавитном порядке и по годам следует помещать фамилию, имя, отчество амнистированного заключенного, год его рождения, место и дату ареста, место и дату смерти (или освобождения), фамилию, имя, отчество следователя, причину смерти (умер под следствием, болезнь, несчастный случай, казнен), в последнем случае — фамилию, имя, отчество сотрудника (-ов), приведшего приговор в исполнение.

Издавать подобный бюллетень, безусловно, можно было бы за счет частных пожертвований, но мне кажется, что моральный долг КГБ — делать это из своего бюджета. По мере опубликования соответствующие архивы можно было бы уничтожать в присутствии представителей общественности. Прекратить это издание можно было бы только тогда, когда в архивах не останется ничего из этой темы.

Подобное издание должно стать тем памятником жертвам репрессий, о котором пишет теперь печать и говорят люди.

А. К. Запольский, г. Москва

В подмосковном городе Болшево, где расположен Дом творчества кинематографистов СССР, состоялся очередной семинар творческих работников, создающих сюжеты для Всесоюзного сатирического киножурнала «Фитиль».

Это серьезное мероприятие получилось довольно шумным. Почему? Во-первых, демонстрировались выпуски «Фитиля». А они начинаются — помните? — со взрыва ящичка. Во-вторых, кто что ни говори, журнал делается профессиональными остряками. Поэтому многие выступления и реплики сопровождались взрывами хохота.

Сегодня «Зеленый портфель» знакомит читателей с образцами веселой кинодраматургии — сюжетами для «Фитиля». Некоторые из них уже экранизированы. Но это не значит, что они широко известны — тираж «Фитиля», увы, маловат. Сказываются перебои с пленкой. Главная же цель, которую мы преследуем публикацией этой подборки,— вдохновить и мобилизовать новые творческие силы на сотрудничество с боевитым киножурналом.

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ

Ах, лето...

Юг. Жара. Черное море. Отдыхающие. Солнце. Кипарисы. Санаторий. Пляж. Кабинет. Надпись «Директор санатория».

В кабинет входят мужчина, женщина, двое детей.

МУЖЧИНА. Здравствуйте. *(Показывает документы.)* Я инспектор из управления лечебными учреждениями министерства. Будем проверять отдых, питание, по горячим следам, в разгар сезона.

ДИРЕКТОР. Хорошо. Устроим. Это люди ваши?

ИНСПЕКТОР. Люди мои. Они тоже будут проверять.

ДИРЕКТОР. Трудновато, но устроим.

ЖЕНЩИНА. Гриша, может, сначала обрушимся на кухню, а потом ударим по палатам?

ИНСПЕКТОР. Проверяем. Записывайте. *(Женщина записывает.)* Закуски. Раз. Первые блюда. Два. Вторые блюда. Три. Десерт. Четыре. Каждому дегустатору по комплекту.

Едят. Директор подает.

ИНСПЕКТОР. Так. Проверили. Не разбегаться. Проверяем условия на пляже. Температура и сыпучесть песка. Подготовка воды. Состояние горизонта.

Пляж. Загорают. Директор в костюме под зонтом, присутствует.

ДЕВОЧКА *(шепотом)*. Пап, я хочу проверить морской велосипед.

ИНСПЕКТОР. Проверяем инвентарь. Морские велосипеды в разгар сезона. Гребучесть, скорость хода на обгоне. Грузоподъемность. Маневренность. Проверяющая Балашова Е. М. Только не перевернись.

Морские велосипеды. Появляется мальчик с мячом.

ИНСПЕКТОР. Забываешься. Сиди возле меня.

МАЛЬЧИК *(хныча)*. Я еще хочу проверить. Я хочу проверить мороженое.

ИНСПЕКТОР. Ты вспотел и простудишься.

МАЛЬЧИК. Ну, я еще чуть-чуть проверю мороженое.

ИНСПЕКТОР. Беги. Только тщательно и недолго.

ДЕВОЧКА. Танцы. Папа. Может, танцплощадку поднять по документам и лично?

ИНСПЕКТОР. Проверяем. Качество аппаратуры. Крепкость ограждения. Ямистость на асфальте. Но до одиннадцати.

ДЕВОЧКА. А как же. Я же на работе.

Танцы. Музыка. Красота... Машина с сиреной. В машине загорелые, отдохнувшие инспектора. Усталый директор. Машина подкатывает прямо к вагону. Все выходят. Оказывается, это «неотложка» с красным крестом. Санаторная.

ДИРЕКТОР. Ну... Жаль, что так рано уезжаете. Может, еще проверите?

ИНСПЕКТОР. А мы нагрянем внезапно — двадцать четвертого июля в шестнадцать тридцать, рейс тридцать четыре двадцать семь.

Сергей ГЕОРГИЕВ

Зверские штаты

Зоопарк. Вдоль клеток идут двое мужчин.

— Это не зоопарк! Это неизвестно что! — ругается первый.— И как вы только ориентируетесь во всей этой неразберихе! Здесь же черт ногу сломит!

— Поэтому вас и пригласили,— отвечает второй.— Считаем, без науки нам не разобраться. Сами понимаете, со штатным расписанием шутки плохи...

Они останавливаются у клетки с волком. На клетке надпись «Слон».

— Ну, это уже слишком! Сюда же

люди ходят! — возмущается первый.

— Видите ли, профессор, поскольку все вакансии хищников были заняты, пришлось его как травоядного оформить... Тем более слона еще не завезли, а волков в переизбытке...

Переходят к клетке с зайцем. Табличка «Орел-стервятник».

— Допустим, там вы сохраняли единицу. А здесь-то? — хватается за голову профессор.

— Здесь особый случай. Во время уборки клетки недосмотрели, и орел улетел... У-у, стервятник! А мясо ему каждый день положено. Могли мы от мяса отказаться?! Вот зайчишку и оформили... Между нами: прекрасно справляется с обязанностями...

— Насколько науке известно, заяц мяса не ест!

— Зато удав ест. Который гепард.

— А где гепард?

— Гепарда оформили тюленем...

В клетке козел. Надпись «Бурый медведь».

— Погодите, погодите! — кипятится профессор.— А здесь что произошло? Неужели козел задрал медведя?!

— Нет, нет! Зимой медведь все равно спит, а вакансия гуляет... Козла оформили на полставки. Весной медведь проснется — проведем его как пресмыкающееся.

— Да это же антинаучно! — взорвался профессор.

— Вот мы и пригласили вас, чтобы привести животных в соответствие с документами... Чтобы и волки были сыты, и мы целы.

— Я должен посмотреть.— Профессор берет у спутника папку с документами, качая головой, уходит по дорожке.

К спутнику профессора подходит служитель с метлой.

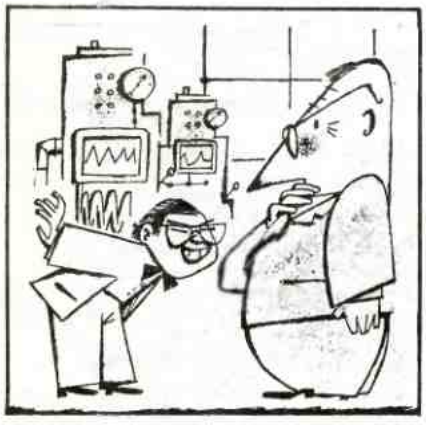
— Кто это такой строгий?

— Профессор. Взяли, чтобы помог разобраться со штатным расписанием.

— Нам же вроде профессор не положен...

— Изыскали возможность... Освободилась тут одна ставочка.

Смотрят вслед профессору, который скрывается за дверью с табличкой «Бегемот».



Михаил ГРОМОВ

Бережливость

Столовая. В кабинет директора входит женщина в белом халате.

— Петр Никитич, дайте листик бумаги — меню напечатать.

— Я ж тебе позавчера давал,— недовольно отвечает директор.

— Так позавчера позавчерашнее и напечатали,— резонно возражает женщина.

— А на обратной стороне?

— На обратной стороне — вчерашнее.

— Ох, не бережете вы бумагу,— выговаривает директор.— А в магазине напротив селедку не во что заворачивать... Отвернись.

Женщина отворачивается. Директор открывает сейф и из пачки бумаги достает четыре листа. Один из них протягивает женщине.

— Держи.

— Спасибо, Петр Никитич,— отвечает женщина и собирается уходить.

— Стой! — останавливает ее директор.— А это тебе на отчет по использованию той бумаги. В трех экземплярах.

Михаил ЯКОВЛЕВ

Заграничное средство

— Сергей Иваныч,— в кабинет директора заглянул Илюхин,— тут вас товарищ ищет.— И пропустил вперед японца. Узкие глаза, характерный оскал зубов. Обвешан фотоаппаратурой.

— Мисаки-сан из фирмы «Мисаки», которая нам в прошлом году станки продала,— пояснил Илюхин.

— Очень приятно,— пробасил директор.

Японец радостно закивал в ответ.

— Интересуется,— кивнул в сторону японца Илюхин,— как они работают в наших условиях.

— Хорошо работают,— успокоил японца Сергей Иванович.

— Мисаки-сан будет на совещании, а через три дня хочет посмотреть на работу своих станков.

Японец быстро закивал:

— Через тырй дынй.

— С ума сошел, Илюхин? — широко улыбаясь японцу, занервничал директор.— Какие тыри дыня? Они же у нас во дворе нераспакованные. А чтобы их установить, надо цех останавливать.

— Остановите.— Илюхин кивнул на японца.— Он не отвяжется.

— У меня же план — поставки смежникам.

— Потом нагоните. На японских станках.

Директор еще раз улыбнулся японцу и вздохнул:

— Придется всех поднимать. Я перед иностранцем в грязь лицом не собираюсь...

Титр «ПРОШЛО ТЫРИ ДЫНЯ»

В кабинет директора снова заглянул Илюхин.

— Ну, где же твой японец? — спросил Сергей Иванович.

— Да вот.— Илюхин впустил в кабинет японца.— Установили?

— Установили.

— И наладили? — с тревогой поинтересовался из-за спины японца Илюхин.

— Наладили. Этой ночью.

— Молодцы,— неожиданно сказал японец.— Ведь можете, когда захотите.

Сергей Иванович опешил:

— Он что — по-русски понимает?

Японец отстегнул прищепки за ушами, отчего глаза сразу перестали быть раскосыми, вытащил вставную «японскую» челюсть и спокойно сказал:

— Я только по-русски... Это вы понимаете только по-японски.

Аркадий ХАЙТ

Чужой среди своих

В кабинет заведующей мебельным магазином входит посетитель.

ЗАВЕДУЮЩАЯ. Что вы хотите?

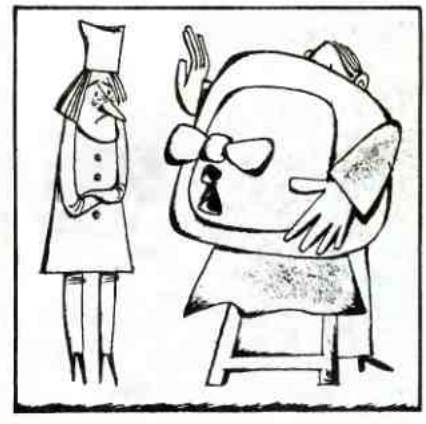
ПОСЕТИТЕЛЬ. Видите ли, я недавно квартиру получил. Вот я и хотел узнать, нельзя ли мне гарнитур приобрести, в порядке исключения.

ЗАВЕДУЮЩАЯ. А почему мы для вас должны делать исключение? У нас, дорогой товарищ, все равны. Возьмите открытку, запишитесь и ждите в порядке общей очереди.

ПОСЕТИТЕЛЬ. Это я знаю... Но Сергей Андреевич говорил, что вы можете помочь.

ЗАВЕДУЮЩАЯ. Так вы от Сергея Андреевича? Что ж вы сразу не сказали? Ладно, что-нибудь придумаем... Румынский вам подойдет?

ПОСЕТИТЕЛЬ. Я хотел бы югославский.



ЗАВЕДУЮЩАЯ. Нет, это никак нельзя. У нас, кто от Сергея Андреевича, все равны. Только румынский. Почему я должна делать для вас исключение?
ПОСЕТИТЕЛЬ. Странно. Серафима Юрьевна ясно намекала, что у вас есть югославский.
ЗАВЕДУЮЩАЯ. Серафима Юрьевна, говорите? Это меняет дело. Серафима Юрьевна далеко не Сергей Андреевич. Сделаем вам югославский, в порядке исключения. Полированный, со светлой обивкой. У нас, кто от Серафимы Юрьевны, все со светлой и полированные.
ПОСЕТИТЕЛЬ. Но Иван Кузьмич сказал, будто можно и неполированный.
ЗАВЕДУЮЩАЯ. Сам Иван Кузьмич?.. Голубчик, да что же вы все ходите вокруг да около? Вот вам квитанция, идите в кассу. Неполированный, с темной обивкой. У нас, кто от Ивана Кузьмича, все равны... Что вы на меня смотрите?
ПОСЕТИТЕЛЬ. Эх вы! И не стыдно вам?
ЗАВЕДУЮЩАЯ. Слушайте, не морочьте мне голову. Вы берете гарнитур или нет?
ПОСЕТИТЕЛЬ. Не нужен мне ваш гарнитур. Я статью пишу о продаже мебели в магазинах.
ЗАВЕДУЮЩАЯ. Постойте, так вы журналист? Значит, от Петра Петровича из газеты? Что же вы сразу не сказали?! Тогда вам полагается финский. У нас, кто от Петра Петровича, все равны.

Михаил ЛИПСКЕРОВ

Чудо-машина

В зале установлена очень сложная ЭВМ. К ней подходят два человека — Первый и Второй.
ПЕРВЫЙ. Вот, Сергей Николаевич, фирма «Электроник уорлд корпорейшн» предлагает купить.
ВТОРОЙ. Что может делать?
ПЕРВЫЙ. Практически все. Может рассчитать затраты труда, схему грузопотока, спроектировать любой узел или даже целый агрегат.
ВТОРОЙ. Неужто?
ПЕРВЫЙ. Точно. Что желаете?
ВТОРОЙ. Ну это... пусть гайку двенадцать на восемнадцать рассчитает.
ПЕРВЫЙ. Это ей пара пустяков. *(Что-то набирает на клавишах, и на дисплее машины появляются цифры.)*
ВТОРОЙ. Ну, а поперечный узел для продольного станка?
ПЕРВЫЙ *(с самодовольной улыбкой стучит по клавишам, и на дисплее опять появляются цифры).* А?! Какова?!
ВТОРОЙ *(чешет затылок).* Теперь пусть рассчитает параметры для швангерцупа корубдирных втулок трансшвеллерного дистрибиллятора.
ПЕРВЫЙ. Чего?
ВТОРОЙ. Швангерцупа корубдирных втулок.
ПЕРВЫЙ. А что это такое?
ВТОРОЙ. Это уж пусть твоя корпорейшн скажет!
Первый нажимает на клавиши. На дисплее появляются цифры.
Во дает! А теперь — модель вечного двигателя второго рода с обратным ходом! Ну, давай!
ПЕРВЫЙ. Но это же невозможно!
ВТОРОЙ. Сам говорил, что она все может. Давай, жми!
ПЕРВЫЙ *(с недоумением нажимает на клавиши. На дисплее появляются цифры).* О! Чудо-машина!
ВТОРОЙ. Так, так, так... А из чего этот самый двигатель делать надо? Ну-ка, пусть скажет...
Первый нажимает на клавиши. На дисплее появляется надпись: «СТАЛЬ ГОСТ 248/624».
ВТОРОЙ. Ага! Дай теперь я. *(Отстраняет Первого, нажимает на клавиши. По экрану побежала рябь, машина задымила и отключилась.)* То-то!
ПЕРВЫЙ. Сергей Николаевич, что вы в нее заложили?!
ВТОРОЙ. Я у нее спросил, где взять эту сталь, если фондов нет, смежники задерживают, а железная дорога не дает вагонов... Нет, в наших условиях такая машина работать не сможет!
Машина вздрагивает, и на дисплее появляется надпись:
«НЕ СМОГУ!»

В НОМЕРЕ:

Проза

Евгений ПОПОВ. Тетя Муся и дядя Лева. *Рассказ* **(74).**

Наследие

Евгения ГИНЗБУРГ. Крутой маршрут. *Хроника времен культа личности* **(35).**

Арсений НЕСМЕЛОВ. «Неизбывен горечи родник»... (80).

Поэзия

Булат ОКУДЖАВА (2). Илья ФАЛИКОВ (33). Нина ШЕВЦОВА (17). ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД. Татьяна ВАСИЛЬЕВА, Сергей СОЛОВЬЕВ, Вера ВОЛКОНСКАЯ, Аркадий ДРАГОМОЩЕНКО, Илья КУТИК, Тимур КИБИРОВ, Ольга РОЖАНСКАЯ, Константин КЕДРОВ, Виталий КАЛЬПИДИ, Виктория ВОЛЧЕНКО, Сергей ЧЕТВЕРТКОВ (68).

Публицистика

Юрий ЩЕРБАК. Чернобыль. Документальная повесть (5).
Наталья ШАНГЫРЬ. Оттого, что в кузнице не было гвоздя (19).

Критика

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Осторожно, двери закрываются! (83).
В. ЛАКШИН. Интервью с Львом Толстым Эд. КЛАПАРЕД. День, проведенный у Толстого. Густав ШЕРЕНИ. Посещение графа Толстого (86).

Культура и искусство

Мариника БАБАНАЗАРОВА. Приезжайте в Нукус (32).
Виктор КОРКИЯ. Прозрение (85)

Наша публикация

Александр ВВЕДЕНСКИЙ. Зеркало и музыкант (90).

Почта «Юности» **(92).**

Зеленый портфель **(94).**

Оформление обложки А. Сальникова
Главный художник О. Кокин
Художник Ю. Цыаевский
Технический редактор Д. Мазур

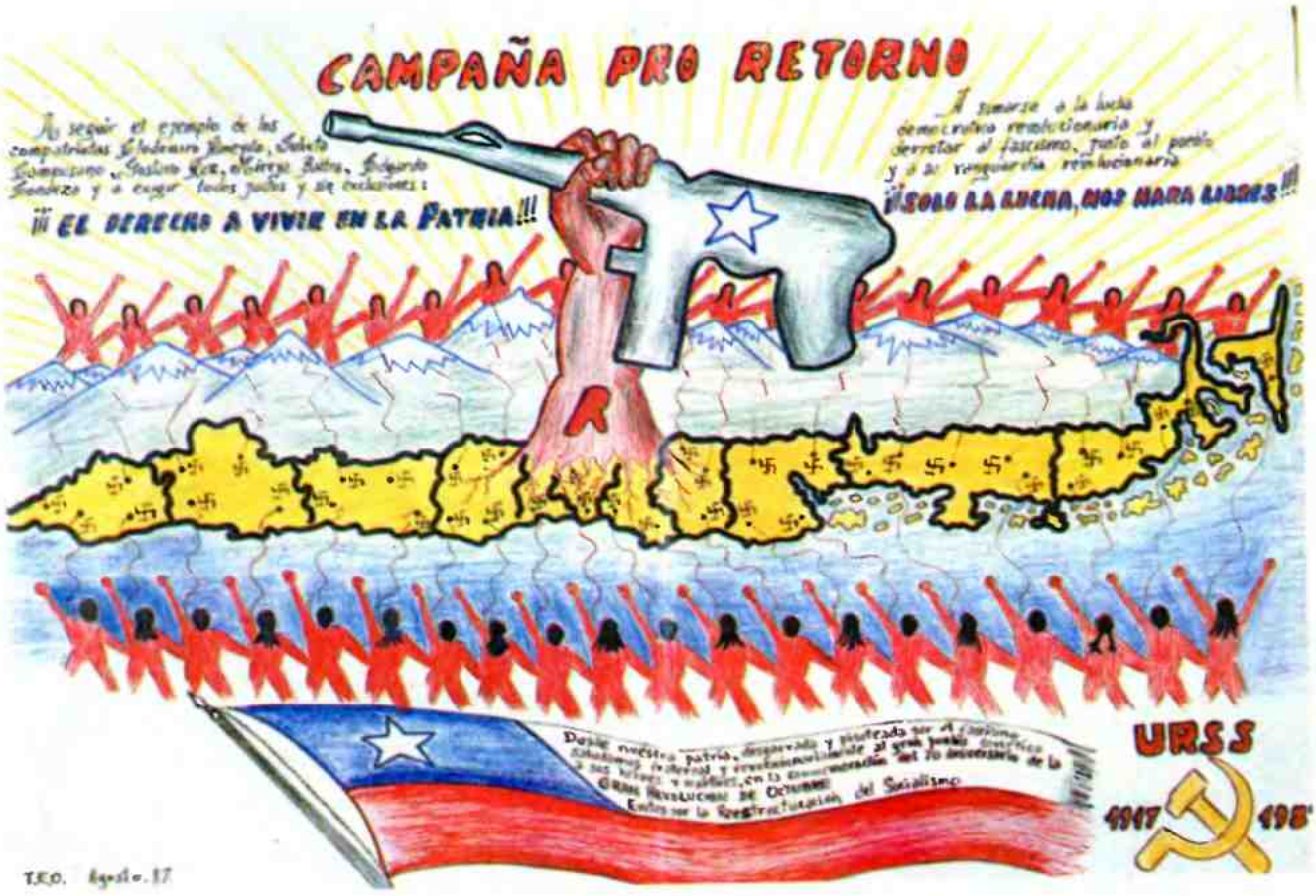
Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6, ул. Горького, д. 32/1

Телефон для справок — 251-31-22

Сдано в набор 16.06.88 г.
Подп. к печ. 07.07.88. А 02036
Формат 84×60¼. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 11,68. Усл. кр.-отт. 19,53.
Уч.-изд. л. 17,75. Тираж 3 100 000 экз.
Заказ № 2642.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда» 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24

© Издательство ЦК КПСС «Правда», «Юность», 1988 г.



ДОРОГА ДЛИНОЮ В ГОД

«С нашей Родины, истерзанной фашизмом, мы посылаем братский революционный привет».

Эти рисунки юных чилийцев Лео и Хосе (они просили, по понятным причинам, не называть полных имен и адресов) проделали к нам трудный путь. Из подполья, через Швецию, через руки многих надежных людей. Поэтому рисунки, посвященные 70-летию нашей революции, опоздали на год.

«Жертвам и героизму советского народа» посвящен рисунок-плакат Лео. Разбитые оковы фашизма, космос, имена Ленина, Горького, Гагарина (на лучах звезды) — вот с чем ассоциируется у Лео наша страна.

Хосе тоже называет свой рисунок плакатом. «Вливайтесь в революционно-демократическую борьбу!», «Следуйте примеру патриотов!», «Требуйте права жить на родине!» — гласят подписи к рисунку.

Недавно мир отмечал 80-летие со дня рождения Сальвадора Альенде. Публикацию этих рисунков мы посвящаем его памяти.

Е. ЩЕРБАКОВА

ЮНОСТЬ, 1988, № 9, 1 — 96
Индекс 71120
Цена 70 коп.